

A. Kuprin

А. КУПРИНЪ.

Собраніе Сочиненій.

Со вступительной статьей Евгенія Аничкова.

первый томъ.

Складъ изданій:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГЛАГОЛЪ»

А. КУПРИНЪ.

молохъ.



«МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО». 1921.

3467 K8A1

1921

Авторскія права закрѣплены.

Alle Rechte vorbehalten.

Tous droits réservés.

Copyright by the "Moscow Edition" Society.

2.1

Купринъ.

Есть писатели, извъстность которыхъ совершенно не то, что слава. Слава всегда приходить сразу, а они, напротивъ, не несуть новыхъ лозунговъ, не провозглашають ни эстетическихъ, ни моральныхъ паралоксовъ; ихъ имя не связывается съ какимъ нибудь обошедшимъ изъ усть въ уста хлесткимъ словомъ или образомъ. Нътъ, извъстность ихъ растетъ постепенно. Все чаще и чаще имя ихъ сочетается въ памяти читателей съ чъмъ-то довольно смутнымъ, но пріятнымъ, что проникло въ душу, захватило или просто понравилось. И читаютъ. Читаютъ, не задаваясь ни художественными, ни моральными исканіями. Школу опредълить трудно; манеру не выразишь одной, двумя фразами. Потомъ когда-нибудь выяснится . . . Это значить, что читали для самихъ произведеній, а не поповоду вызванныхъ ими споровъ. Такой успъхъ часто прочнъе славы. Съ Купринымъ было именно такъ.

Родился Александръ Ивановичъ Купринъ въ 1870 г.

I.

Семилътнее пребываніе Куприна во 2-ой московской военной гимназіи (потомъ кадетскомъ корпусъ) можно представить себъ по повъсти "На переломъ" изъ кадетской жизни 80-ыхъ годовъ. Въ семействъ Зененко

изъ разсказа "Молохъ" можно, повидимому, найти черты, схожія съ его собственной семьей. Отецъ Куприна былъ скромный провинціальный врачъ, а мать происходила изъ малоизвъстнаго и тоже весьма скромнаго княжескаго рода.

Охота писать проснулась рано. Еще юнкеромъ Московскаго Александровскаго Военнаго училища, онъ помфстиль въ одномъ юмористическомъ журналф очеркъ "Последній дебють". Это, конечно, быль первый опыть, и темъ большая была радость для юного автора. Не утерпълъ и подълился ею со своимъ воспитателемъ, за что попалъ подъ арестъ. Однако и мысли о томъ, чтобы оставить военную службу не было. Выйдя въ офицеры въ пъхотный полкъ, стоявшій въ Житоміръ, Купринъ мечтаетъ объ академіи и при первой возможности выдерживаетъ экзаменъ при округв. Но туть и кончилась карьера. Держать экзамены въ самоё Академію Генеральнаго штаба въ Петербургъ, Купринъ посланъ не былъ. Пришло формальное запрещение командующаго Кіевскимъ Военнымъ округомъ. Какая-то шумная и бурная исторія стряслась надъ молодымъ офиперомъ. Онъ попалъ въ запасъ и оказался штатскимъ.

Вотъ первое проявление его неугомонной, почти до дикости бурной, но нъжной и не терпящей ничего грубаго и пошлаго натуры.

Начались скитанія, исканія занятій и, конечно, — въдь онъ уже испыталъ ядовитую радость видъть свое произведеніе въ печати, — писательство. Жилъ больше въ Кіевъ и сотрудничалъ въ тамошнихъ газетахъ, сочинялъ фельетоны для "Жизни и искусства" и "Кіевскаго Слова". Участвовалъ въ спортивныхъ обществахъ и велъ жизнь того запутавшагося, гульного забубеннаго люда, что слоняется по ресторанамъ второго разбора, по кафейнямъ и меблированнымъ комнатамъ, а то и гораздо хуже. Жизнь открылась пестрая,

неприглядная, подчасъ грязная и пьяная. Остроумныя выходки, шутки и кутежи стали разъ на всегда потребностью. И тёло, и душа были отравлены черезъ нъсколько лътъ такого прожиганія жизни, безпутнаго и безтолковаго. Можетъ быть сгустивши краски, въ разсказъ "Ръка жизни" изобразилъ самого себя Купринъ въ эти бурные годы молодости.

Судя по очерку "Мой паспортъ" и по знанію безчисленнаго множества медвъжьихъ угловъ преимущественно южной Россіи, не мало пропадаль и пробивался Купринъ и по самымъ маленькимъ городкамъ и мъстечкамъ. При этомъ не обощлось безъ исканія сценической карьеры. Очеркъ "Когда я былъ актеромъ" уже явно автобіографическій. Онъ дышеть искренностью. И съ этими совершенно несомнънными неусиъхами на сценъ, конечно, связано то, что никогда Купринъ не сталъ драматургомъ. Ничего кромъ незначительной пьесы: "Клоунъ" не написалъ. Даже никогда не ходилъ въ театръ, а самая мысль о томъ, что тотъ или другой знакомый пишеть для театра, всегда бывала ему непріятна. Хотя и состояль часто въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ актерами, но никогда иначе, какъ пренебрежительнымъ выраженіемъ: босыя лица, не называлъ ихъ.

Какъ бы то ни было, но не прошло и нъсколькихъ лътъ, какъ въ Кіевъ было напечатано два небольшихъ сборника "Кіевскіе типы" (1896 г.) и "Миніатюры" (1897 г.).

И тогда сдълалъ Купринъ первое серьезное и сразу же удачное литературное усиліе. Старательно, долго, на этотъ разъ какъ бы на бъло, онъ написалъ большой разсказъ "Молохъ" и послалъ его въ Русское Богатство. Разсказъ былъ принятъ. Художественнымъ отдъломъ Русскаго Богатства руководилъ тогда В. Г. Короленко, всегда очень душевно относившійся къ молодымъ писателямъ, и въ этомъ именно журналъ многіе

изъ нихъ, начиная съ Горькаго, пріобрѣли писательскую извѣстность. Вся тогдашняя молодежь, если не увлекалась новыми вѣяніями, была подъ вліяніемъ Чехова. Такъ было и съ Купринымъ. Манера Короленко ничего не говорила. Онъ казался отсталымъ, слащавымъ, можетъ быть, даже не совсѣмъ искреннимъ. Но что же дѣлать? Хоть критикъ Русскаго Богатства и душа журнала Н. К. Михайловскій не признавалъ Чехова, а руководилъ художественнымъ отдѣломъ В. К. Короленко, пройти въ люди это былъ самый подходящій способъ. "Молохъ" и носитъ на себѣ черты, въ которыхъ чувствуется усиліе угодить именно этой редакціи. Такъ-же точно было и съ "Челкашемъ" Горькаго.

"Молохъ" не только первое, если не художественное, то литературное усиліе Куприна и первый его большой успѣхъ, это еще начало новой жизни. Закончился Кіевскій періодъ. Въ 1902 году Купринъ уже въ Петроградѣ, безъ споровъ признанный талантливымъ, много обѣщающій писатель, и все внѣшнее говорило за то, что онъ безъ усилій станетъ тѣмъ, что называется маститымъ, со временемъ, можетъ быть, и академикомъ.

II.

Петроградъ встрѣтилъ Куприна привѣтливо и ласково. Открылся сразу. И гнѣздо свилось.

Купринъ женился на дочери знаменитаго віоленчелиста Давыдова. Его вдова, Александра Аркадіевна, основательница Міра Божьяго (впослѣдствіи Современный Міръ) незадолго передъ этимъ умерла; уже нѣсколько лѣтъ какъ не было въ живыхъ и ихъ старшей дочери Лидіи, вышедшей замужъ за извѣстнаго экономиста М.П.Туганъ-Барановскаго. Сынъ Давыдовыхъ былъ боленъ и съ литературой ничего общаго не имѣлъ. Издательницей и собственницей прочно стоявшаго въ

то время на ногахъ Міра Божьяго оказалась вторая дочь Давыдовыхъ Марія Карловна. Она и стала женою Куприна. Красивая, умная, живая, не по лътамъ дъловитая, она была одновременно и украшеніемъ и настоящимъ вдохновителемъ редакціи.

Какое это было хорошее время. Молодое и полное жизни. Что-то всколыхнулось. Началось, заблистало; играли всъми переливами надежды и художественныя мечты, и политическія увлеченія. Двъ новыхъ литературныхъ школы только что возникло: символисты съ Бальмонтомъ и Брюсовымъ во главъ, и школа Чехова, такъ тогда было принято говорить, — Максимъ Горькій, Леонидъ Андреевъ, Купринъ, Иванъ Бунинъ. Объ яркія, смълыя, ищущія. А тамъ въ Москвъ уже создавадся "Художественный Театръ". Споры народниковъ и марксистовъ приходили къ концу, и теперь въ политикъ и общественности оба направленія жили, каждое по своему, напряженно и трепетно, развиваясь и пріобрътая вліяніе, и въ средъ интеллегенціи, и въ массахъ. Все было ново: и мысли, и увлеченія, и модныя теоріи, и точно дразнясь, змъиными извивами переплетало все это вмъстъ, сверкая и подчасъ кривляясь, своеобразное русское ницшеанство, одинаковое у Бальмонта и у Горькаго. Молодое было время, потому что молоды были въ тъ годы всъ тъ, кому выпало на долю играть роль за послъдующіе четверть въка.

Подходилъ грозный 1905 годъ: Цусима и 9-ое января.

Когда редакція Міра Божія на Разъвзжей въ просторной столовой принимала у себя сотрудниковъ и друзей, бывало оживленно. Громче другихъ спорили публицисты. Міръ Божій, редакторомъ котораго былъ Ангелъ Богдановичъ, держался ближе къ марксистамъ, и сыпались горячія ръчи на злобы дня о возникавшей еще новой группъ "Освобожденіе", вообще обо всемъ томъ, что дълалось въ охваченной волненіемъ Россіи, на разныя политическія темы. Прежде всего какъ, когда же наконець дана будеть конституція? Delenda Carthago! Конець самодержавію. На этомъ всѣ были согласны, и върилось, что сбудется, если не миромъ, то революціоннымъ путемъ. Но не было при этомъ узости. Гораздо интереснѣе бывали разговоры т. ск. не офиціальные, частные, не на эти, ставшія обязательными — такъ тогда считалось — для серьезнаго общественнаго органа темы. Тутъ душою становилась сама хозяйка дома, играли живые глаза съ темными густыми рѣсницами, веселое и молодое остроуміе. А другой редакторъ журнала Ө. Д. Батюшковъ, тоже болѣе склонный къ литературѣ чѣмъ къ политикъ, своей рѣдкой благовоспитанностью, мягкостью и постоянной добротой придавалъ еще большую, особенную обаятельность пятницамъ Міра Божія.

Не только талантъ, но и горячее, нѣжное сердце и тонкія чувства Куприна лучше другихъ оцѣнилъ именно Θ . Д. Батюшковъ и очень скоро дружески полюбилъ его.

А Куприну въ этой новой для него средъ было не совсъмъ по душъ. О томъ, чтобы онъ удовлетворился своимъ положеніемъ хозяина дома, нечего было и говорить. Ничего подобнаго не допустила бы его тонкая деликатность. Политическіе разговоры публицистовъ, смотръвшихъ на него, недавняго провинціала, не университетскаго и вообще не "интеллигента", немного покровительственно, какъ на самородокъ, Куприну съ своей стороны казались наивными, а разсужденія ихъ скучно-трафаретными. Онъ однако старался пріосаниться, сбросить съ себя нъкоторую приниженность, слъдствіе своихъ кіевскихъ похожденій и неудачъ, и — трогательная подробность — въ платьъ и манеръ себя держать захотълось подражать Батюшкову, который, конечно, вовсе не заботился о своей внъшности, но и уйдя весь въ ли-

тературный міръ, оставался и не могъ перестать быть свътскимъ человъкомъ, что проявлялось въ каждомъ словъ и каждомъ движеніи. Оттого въ первые годы еще не сказались необузданность и грубыя причуды. Только, что было дълать въ этой кампаніи, какъ бы она не ласкала его? Куприну поручили отдълъ, и публицисты считали это для него за честь. Но въдь, что это значило? Читать множество бездарныхъ разсказовъ, даже хуже, — корректировать прозу Потапенко!

Идиллія Куприна, обезпеченнаго, занявшаго прочное місто въ литературной сутолоків, мужа красивой и интересной литературной молодой дамы, не смогла успоконть. Опять кабачки, ночныя приключенія, неугомонное исканіе знакомствъ со всякимъ бродячимъ людомъ неопреділенныхъ профессій, съ клоунами изъ цирка, кутилами, — актерами — и не прошло нізсколько літть совсівмъ отдільную отъ Міра Божія, свою безшабашную жизнь повель онъ въ нанятой спеціально для этой цірли, отдільной холостой квартирків, на одной лістниців съ редакціей.

Полное противоръчіе съ другой четой, въ тъ же годы занявшей положеніе въ литературномъ міръ Петрограда. Близкая пріятельница Маріи Карловны по Высшимъ Женскимъ курсамъ, тоже красивая и умная, со средствами и живымъ интересомъ къ напряженной умственной жизни, вышла замужъ за проф. М. И. Ростовцева. Ихъ нарядная квартира на Большой Морской тоже сдълалась центромъ. Но это гнъздо свилось прочно разъ на всегда, пока не разрушила его революція, и шагъ за шагомъ, отвоевывая себъ положеніе, успъхъ, извъстность, все шире развивалъ свою ученолитературную дъятельность упорный въ трудъ и увъренный въ своихъ силахъ М. И. Ростовцевъ, пока не оказался на высяхъ академической карьеры. И ждать было нельзя этого отъ Куприна.

Издавна такъ повелось, что начинающему беллетристу ищуть опредъленія, хочется приложить къ нему какую-то формулу, которая выразила бы главную особенность его таланта. Такъ возникають репутаціи. Самое простое представить разсказчика или романиста бытописателемъ какой нибудь опредъленной среды. Онъ де знаетъ ее, и этимъ вносить въ литературу новое и интересное. Въ самомъ дълъ: Станюковичъ — Морскіе разсказы, Маминъ - Сибирякъ — Уралъ, Короленко, Сфрошевскій, Танъ — Сибирь и ссылка, Горькій романтизмъ босячества, Потапенко - духовенство, Бунинъ, а за нимъ Зайцевъ и Алексъй Толстой последнее разложение помещичьяго сословия, Семень Юшкевичъ — еврейство. Купринъ былъ нъсколько лътъ офицеромъ. Отсюда ясно, о чемъ онъ долженъ писать. Такъ ръшила новая литературная среда, обласкавшая его и давшая ему самое нобходимое для каждаго художника на его тернистомъ жизненномъ пути — признаніе. Разсказы Куприна, собранные въ первомъ вышедшемъ въ столицъ сборникъ и изданные шумъвшимъ тогда издательствомъ "Знаніе", пестрять очерками изъ офицерскаго армейскаго быта.

Влекло къ другому, и совершенно другія темы удавались лучше, выливались въ гораздо болѣе яркіе образы. Но поддался, и слѣдствіемъ этого велѣнія литературныхъ круговъ, уже на высотѣ извѣстности, но послѣ множества передрягъ и неугомонныхъ похожденій, былъ написанъ "Поединокъ".

"Поединокъ" былъ, можетъ быть, высшимъ достиженіемъ. Вопервыхъ не разсказъ, а большая повъсть, во вторыхъ тотъ старый предразсудокъ, отъ котораго никакъ не хотъла отстать литературная традиція — идея. Антимилитаризмъ былъ въ модъ. И не только у насъ. Имълъ успъхъ въ Германіи довольно пустой романъ:

"Die kleine Garnison". "Поединокъ" отвътилъ какимъ-то ожиданіямъ, и тогда, къ ужасу его самого, Купринъ сталь прежде всего авторомъ "Поединка". Ужаснулся однако, можетъ быть не сразу, потому что поддался таки средъ. Тутъ сказалась ярче всего эта прирожденная робость, слъдствіе внутренней деликатности, которая такъ странно вяжется въ характеръ Куприна со смълостью, своенравіемъ и все больше и больше завлекавшими въ свою съть капризами. Но главная черта Куприна, его лучшее достоинство, это врожденный вкусъ, нестерпимая боль отъ всего пошлаго, что такъ остроумно вылилось въ шуточномъ разсказъ "Послъднее Слово". Сознаніе того, что не только въ ея успъхъ, но и въ самой повъсти есть доля аляповатости и трафаретности, даже мелкой тенденціозности, быстро охладило автора. къ своему нъсколько подневольному созданію.

Главная особенность писательства Куприна, его нелитературность. Литераторомъ онъ никогда не сдѣлался. Менѣе всего въ томъ дурномъ смыслѣ, какъ понималъ это слово Тургеневъ. Не только литературной кухней, но и типографской краской отъ него никогда не пахло. Невольно даже спрашиваешь себя, перешло ли бы писательское любительство юности въ призваніе, если-бы духъ мятежный не всталъ поперекъ дороги, которая вела въ генеральный штабъ и дальше къ карьерѣ?

Любилъ все веселое, яркое, особенное, сильное, спортъ, собакъ, лошадей и атлетовъ, клоуновъ, борцовъ, жокеевъ, не удержался, чтобы не полетать хоть бы на шарѣ. Любилъ маленькіе кабачки, потому что въ нихъ чаще всего встрѣчаются не люди скучной, пошлой и деревянной обыденщины, а по крайней мѣрѣ такіе, которые изъ нея выкинуты, и отсюда-то эти ночныя приключенія, уклоны, продѣлки и шутки, странныя знакомства, тяготѣніе къ тому, что считается подонками не только общества, но и человѣчества: продажныя женщины,

карманные воры, шулера и жажда, не утоляемая жажда найти интересное, яркое, сильное въ людяхъ, - если не самого капитана Рыбникова, такъ по крайней мъръ хоть какой нибудь "патологическій случай", хоть Сашку изъ "Гамбринуса", Назанскаго изъ "Поединка". А когда напілось или покажется, что напілось, тогда разсказать и остроумно и живо. Прежде всего хотвлось разсказать любимому человъку, а послъ и вообще людямъ, пріятелямъ, собутыльникамъ. И слушать любилъ; кто хорошо разсказываль, нравился, и даже нѣжно. Такова была дружба съ однимъ очень прославившимся, по второстененнымъ ресторанамъ, въ "Вѣнъ", старавшейся пріобръсти артистическій характеръ или, ступенью ниже, у "Давыдки" на Литейномъ, описанномъ въ "Капитанъ Рыбниковъ", неопредъленной профессии и немножко писателемъ Манычемъ. Столько же любилъ вообще интересныхъ людей. Такъ, первый, залюбовался молодымъ Арцыбашевымъ, котораго и провелъ въ Міръ Божій, а до конца уже трогательно, какъ къ человъку привязался къ Ив. Бунину. Подсмъивался и любилъ.

Отъ живого разсказа, отъ шутки, повъстничества, веселости всегда шелъ Купринъ къ творчеству.

Оттого, — и вотъ тутъ пом'вшала и душевная робость, и безшабашность жизни, — никогда не ставилъ себ'в Купринъ задачи создать искусство, свое, присущее своему пониманію и воображенію.

Переплетались, спорились, возникали, никли "новыя въянія" разныхъ направленій: символизмъ, стилизація, новыя формы драмы, интимность въ театръ и соборность широкихъ размаховъ поэзіи. Вновъ сначала были и Горькій, и Леонидъ Андреевъ, и иногда казалось, что между этими новыми реалистами и тъмъ, что по преимуществу звали новымъ искусствомъ нъть непролазной пропасти. Міръ Божій напечаталь нъсколько сти-

хотвореній Өедора Сологуба, допустиль хвалебную статью о Верлень. Мейерхольдъ въ театръ В. О. Комисаржевской ставиль "Жизнь Человъка". По отношенію къ Куприну тъ другіе т. е. декаденты и символисты, собиравшіеся на "башнь" т. е. въ квартирь поэга и ученаго Вячеслава Иванова, на Таврической, если стали нетерпимы къ Горькому и Леониду Андрееву, готовы были присоединить свое признаніе. Въ немъ не видъли анти-эстетизма, безвкусицы. Во всякомъ случав единственный изъ группы "Знаніе", кому посвятиль органь Валерія Брюсова В в сы сочувственную статью, быль Купринъ. Но самъ Купринъ оставался неумолимъ. Самому ему казалось, что грань межлу нимъ и людьми "новыхъ въяній" непреодолима. Что случилось, когда однажды онъ познакомился съ Андреемъ Бълымъ, онъ самъ разсказалъ. Чувствовалъ истинно яркое, но растерялся умственно и нервно смънся, самъ не понимая, какой это смъхъ: ироніи или веселаго сочувствія. А тогдашніе стихи Андрея Бълаго, которые онъ читалъ, напъвая, что позднъе и подхватили многіе, площаднъе всъхъ другихъ Игорь Съверянинъ, сами по себъ были ироничны, и самая напъвность ихъ подъ Чижика была иронична, когда звучали слова: "онъ быль жуликъ, я быль воръ, обходили мы соборъ" и т. д. въ томъ-же склапъ.

Купринъ робко сталъ жаться къ классикамъ, и что ни-на-есть классикамъ, точно искалъ защиты и поддержки.

Въ холостой квартиръ на той же лъстницъ, что и Міръ Божій, гдъ жена его устроила ему пріютъ для всъхъ его прихотей, на ночномъ столикъ рядомъ съ разными напитками, безъ которыхъ уже не могъ обходиться отравленный организмъ, всегда лежалъ томъ, другой Пушкина. Купринъ чувствовалъ со свойственнымъ ему чутьемъ истиннаго мастера слова, что рус-

ская річь, даже литературная, все боліве страдаеть оть наплыва въ писательскую среду южанъ и особенно одесситовъ, и вотъ онъ ополчается за "прекрасный русскій языкъ. Самого себя, чистоту своей річи поддерживаеть Пушкинымъ и отчасти Гоголемъ; у нихъ учится выразительности. Плёняеть раціонализмъ Пушкина, и онъ кажется "простотой." Въдь какъ будто бы, правда, чего проще писать такъ, какъ насъ всвхъ учать писать съ дътства, какъ написаны и стихи, и проза, знакомые съ юности. Простота въдь прежде всего тамъ же, гдв и привычка, затверженное. Только другая, болве сложная простота достигается, какъ это было и у самого Пушкина, нъкимъ преодолъніемъ новшествъ, нъкимъ стремленіемъ къ "прекрасной ясности", что уже последнимъ чеканомъ наслоится поверхъ осложнившихъ рѣчь исканій.

Купринъ не былъ эрудитомъ, не могъ имъ стать. Что могло быть у него общаго со всей той эстетической и художественной работой мысли новыхъ поэтовъ и писателей, руководимыхъ и поддерживаемыхъ въ трепетъ ихъ работы, ученымъ поэтомъ, Вячеславомъ Иваномъ, тамъ "на башнъ" по средамъ!?

Однажды Купринъ появился у Өедора Сологуба на Васильевскомъ Островъ, гдъ въ домъ трехкласснаго училища тоже собирались поэты "новыхъ въяній". Онъ тутъ высказалъ свое завътное: чего мудрствуете, читайте Пушкина. Странно вышло. До трогательности странно, такъ какъ тутъ было не мало не только чаще Куприна перечитывавшихъ Пушкина, но поистинъ вернувшихся къ нему, изучавшихъ его, усердно и упорно и именно путемъ этого "возврата къ Пушкину" добивавшихся "прекрасной ясности", провозглашенной тогда Кузминымъ въ полной согласности съ Валеріемъ Брюсовымъ.

Но тутъ и сила Куприна, въ смыслъ вліянія въ широкихъ кругахъ читающей публики. Этими широкими кругами онъ овладѣлъ и духовно жилъ съ ними, какъ бы уже достигши этого разъ на всегда, не теряя выдержанности вкуса, понятности, которой кружнымъ, долгимъ, иногда сбивающимся путемъ добивались поэты и разсказчики "новыхъ вѣяній". А если за то никогда не превозмогъ Купринъ доли трафаретности, то въ томъ другомъ станѣ вѣдь уже народилась особая своя трафаретность "дешеваго декадентства", предтечи "футуризма".

IV.

Группа "Знаніе" уже давно, и раньше чёмъ можно было ожидать, распалась. Каждый изъ входившихъ въ ея составъ, не говоря уже о Горькомъ и Леониде Андреевв, пошелъ своей собственной дорогой. Новымъ центромъ этой плеяды сталъ "Московскій художественный театръ". Вёдь въ эти годы онъ былъ прежде всего "чеховскимъ театромъ"; его руководители никакихъ иныхъ "новыхъ вёяній" не признавали. Да и не только Художественный театръ, но и вообще драма, все боле и боле властно влекли къ себе сверстниковъ этого ненавистника театра.

Купринъ остался одинъ.

И все болье развивалось, растраивалось гньздо. Долго не могло продолжаться супружество. Все тысные окружала его вы эти годы компанія мелкихы журналистовь, репортеровы и даже horribile dictu! актеровь, либо назвыстныхы своими кутежами, либо вовсе сбившихся сы кругу. И стала эта кучка называться "купринской компаніей", потому что извыстность его уже далеко расширилась за предылы литературныхы круговы. Вы ты годы за нысколько лыть до войны вошло вы моду еще гадкое и пошлое выраженіе: богама. Если когда-то писатель непремынно обязаны быль быть или представ-

дяться интеллигентомъ, чуть ли не революціонеромъ, то теперь говорилось: богома. И все стущались, все неугомоннъе становились похожденія уже не ночныя, а дальше продолжались до полудня, чтобы возобновиться со слъдующаго вечера. Такъ было и въ Петроградъ, и въ Крыму, и гдъ-нибудь въ провинціи, куда закидывало неутомимаго искателя веселыхъ и занимательных развлеченій. Въ этой сутолокь, среди проказъ по кабачкамъ и притонамъ, въ самомъ творчествъ Куприна всего опредъленнъе вырисовывались герои и перепетіи "Ямы". "Яма" была органически и логически необходима. Купринъ долженъ былъ стать авторомъ "Ямы". И передъ этимъ произведеніемъ суждено было поблекнуть всему, что написано до него о продажныхъ женщинахъ не только Гаршинымъ, - что тутъ и говорить, — но даже самимъ Достоевскимъ.

Но вовсе не одна "Яма", а тутъ же рядомъ въ тъже годы и "Гранатовый браслетъ".

"Яма" и "Гранатовый браслетъ", двъ точки качанія маятника, широко раскачивающагося маятника, показателя широты діапазона поистинъ нъжной души. Женщина въ самомъ страшномъ послъднемъ паденіи, слъдствіе самой кровожадной и отвратительной, мерзостной похоти людской и женщина на самыхъ высяхъ любовнаго обожанія. То и другое одинаково съ такой добротой прочувствовалъ Купринъ. Объихъ женщинъ выносило это горячее воображеніе и продумало писательское пониманіе такъ върно, такъ искренно, такъ умно, какъ никогда раньше.

Мало этого опять таки органически и по необходимой логикъ надо было, чтобы выросъ изъ сердца еще одинъ образъ женщины.

Любовь и похоть должны были слиться въ одну и единую жгучую и настоящую страсть, такую, чтобы опоэтизированіе ихъ объихъ достигло какой-то высшей

ступени, въчной лучезарности, красоты непревзойденной. Въдь всъ уклоны, всъ паденія, все что испыталь или видълъ Купринъ, воспринималъ умъ, который не могъ и не хотълъ очерствъть. Все внъшнее, пошлое онъ обходилъ или каялся въ немъ самому себъ. Въ тайникахъ сознанія оставалось все яснымъ, світлымъ, любящимъ. Теперь Купринъ обрюзгъ, забота о внъшности исчезла, капризно, задорно сталъ щеголять неряшествомъ. Бросилъ надъвать жилеть, даже зимой, не признавалъ накрахмаленныхъ воротниковъ, носилъ мятую шляпу. Можетъ быть рисовался всёмъ этимъ. Но все это было вызовомъ только одной пошлости, въ какой бы форм'в она не являлась. И воть именно въ эту пору своей бурной жизни пересоздалъ Купринъ по своему библейскій вічный образь Суламиви. Замысль былъ смълый и новый; для Куприна необычный. Онъ потребовалъ упорной и трудной работы За чтеніемъ "Ямы" подчасъ страшно за автора,

За чтеніемъ "Ямы" подчасъ страшно за автора, особенно, если подумать о его обычномъ времяпрепровожденіи; читая "Гранатовый браслетъ", дивишься изысканности въ описаніяхъ и чувству такта, когда выводится среда, казалось бы, такая чужая всему его складу, и писательскому, и самаго человъка. "Суламиеь" точно даетъ объясненіе. Яркость, роскошь, блескъ настоящей страсти, красивой и пламенной, страсти сильнаго тъла и могучаго духа, подъ знойнымъ небомъ, среди восточной сказочной царственности, выносило въ себъ уже созръвшее для спълаго плода, писательское воображеніе. Теперь вся проблема любви и страсти была художественно представлена, опредълена и опоэтизирована: и влюбленность, и похоть, объ разцвътшія и слившіяся въ одно чудо въчной, чарующей "Пъсни пъсней".

А мастерство? Вотъ тутъ возникаетъ любопытный чисто художественный вопросъ. Какъ разръшилъ его Купринъ?

XV

Не нужны были книги при созданіи всёхъ прочихъ, до "Суламиен" написанныхъ разсказовъ, очерковъ и повъстей. Все давала только жизнь: вся пестрота ихъ была пестротою встрфчъ, наблюденій, собственныхъ переживаній и чувствъ. Книги только вредили. Книги или то, что имъ самимъ или вообще вычитано изъ книгъ. Отсюда въдь длинныя разсужденія вродъ бреда Назанскаго изъ "Поединка". Въ "Суламини" безъ книгъ нельзя было бы написать ни строки, а найти, что нужно для изображенія Соломона: сказанія, камни самоцв'ятные, какъ описывали ихъ среднев вковые "лапидаріи", обстановку царства Соломонова, ту особую географическую археологію и этнографію, которой пестрить "Суламинь", царицу Савскую и мистеріи въ крам'в Изиды — въдь все это уже эрудиція, книгочійство, наука; во всемъ этомъ подстать изощриться бы и Валерію Брюсову. Да, пришлось испить изъ колодца, который презрилъ. Но любовно слёдя за писательствомъ своего друга, радуясь каждый разъ, какъ иногда даже въ его собственномъ имъніи, принадлежавшемъ некогда поэту Батюшкову, въ глуши Устюжскаго увада, Купринъ садился за серьезную работу, — помогалъ върный другъ, Ө. Д. Батюшковъ, своими знаніями профессора исторіи западно-европейскихъ литературъ. И съ удивительной воспріимчивостью, со вкусомъ и чувствомъ мъры возсоздалъ, на этотъ разъ изъ книгъ, Купринъ своего царя Соломона, болъе средневъкового, чвмъ библейскаго, но ожившаго такъ же ярко, какъ и другіе герои, взятые изъ жизни.

Если дружба съ Батюшковымъ облегчила задачу въ смыслъ освъдомленности, оставалась еще самая сложная и важная — стиль.

Пушкинская раціоналистическая простота не могла вязаться съ сложной, восточной знойностью замысла. Надо было найти стиль. Напрашивалось, какъ неотвра-

тимое требованіе, ніжое исканіе, а, разумівется, совершенно не по купрински было бы тутъ просто напросто выйти изъ затрудненія, у кого-то, какъ-то и что-то позаимствовавши. Годы ученичества давнымъ давно миновали. Нътъ, предстояло по своему выйти изъ положенія. И воть, увы, найденный выходъ оказался только выходомъ изъ трудности, а не преодоленіемъ ея, Это не упрекъ автору, а простая попытка объяснить то нъсколько странное впечатлъніе, какое остается отъ слога "Суламиеи". Читаешь, и кажется точно кто-то, очень опытный, превосходно владіющій языкомъ, писатель, перевель эту повъсть съ иностраннаго языка. Въ чемъ дъло? Слогъ остался вовсе не найденнымъ. Точно художество, которое авторъ обидъль и унизилъ, теперъ мститъ и дразнится. Однако не отомстило. Выходъ былъ всетаки найденъ. Въдь слогъ дъло только самаго подлинника. Все равно при переводъ блекнуть краски. А развъ наслаждение художествомъ, самое богатое, не дается путемъ переводовъ съ иностранных в языковъ. Этимъ какъ бы узаконяется особый своеобразный слогь, безличный и немного блёдный, слогъ хорошихъ переводовъ. Только черезъ него знаемъ мы Шекспира и самое Библію. Черезъ него и долженъ проникнуть читатель въ эту яркую, красочную, полубиблейскую, полу-среднев вковую сказку о любви царя Соломона къ Суламиеи.

V.

Война застала Куприна, когда возрастъ уже вывелъ его изъ списка офицеровъ запаса. Онъ числился въ отставкъ, т. е. въ ополченіи, былъ призванъ въ дружину, стоявщую въ Финляндіи, и черезъ нъсколько мъсяцевъ по бользни освобожденъ.

Уже нъсколько лътъ передъ этимъ свилось второе гнъздо. Купринъ женился на дъвушкъ, принявшей его

такимъ, какимъ онъ былъ, со всеми причудами, капризами, странностями и главное, со всёми тёми свойствами, какія органически слились съ писательствомъ, а стать женою писателя всегда въ той или иной мъръ - подвигъ. Поселились въ Гатчинъ, гдъ была пріобрътена дача, приспособленная и для зимы. Туть въ Гатчинъ, держась въ сторонъ отъ все бурнъе и страшнъе развивавшихся событій, пережиль Купринь революцію. Писаль уже мало. Новое настало. Нельзя требовать отъ писателя, чтобы безостановочно, не теряя связи съ нарождающимися иными теченіями и событіями, впопыхахъ онъ уносился все дальше отъ того, чъмъ жилъ, увлекался и мучился. Купринъ, это — своеобразная, сама по себъ, значительная полоса русской умственной жизни, и она останется на рубежъ двухъ эпохъ, принадлежа одинаково объимъ и въ тоже время ни той, ни другой. Да, въдь во всъ десятилътія своей писательской дъятельности Купринъ былъ какъ бы статикомъ, а вовсе не динамикомъ. Жизнь, которую онъ такъ любилъ, онъ бралъ такою, какъ она сложилась, не толкалъ ее, не воздъйствовалъ. И не могло быть иначе именно потому, что отъ жизни шелъ къ искусству, а вовсе не наоборотъ, вмъшиваясь въ трепетъ жизни силою художества.

Когда армія генерала Юденича вошла въ Гатчину, Купринъ былъ съ семьей дома. При отступленіи, онъ покинулъ Россію и оказался въ Парижѣ. Здѣсь нашель онъ своего стараго друга и сверстника на литературномъ поприщѣ, И. А. Бунина. В. Л. Бурцевъ, со свойственной ему отзывчивостью и любовью къ русскому художественному слову, постарался создать Куприну ують, который и на чужбинѣ, въ положеніи эмигранта, далъ бы возможность работать, избѣгнувъ лишеній.

Купринъ и раньше бывалъ заграницей и въ рядъ очерковъ описалъ свои встръчи и впечатлънія. По

духу они, конечно, тъ же, что и въ Россіи, но они всетаки новое и по своему своеобразно яркое, и въдь никогда не могъ Купринъ устоять передъ въчно маняшей его пестротой, все равно характерной или нътъ, лишь бы шумъло, блестъло, завлекало и бурлила въ этой неразберих в неугомонность жизни. Очень русскій, мало знающій иностранные языки, вовсе не человъкъ музеевъ, историческихъ воспоминаній, артистическихъ ръдкостей и тонкостей, черезъ жизнь - маленькіе кабачки, скачки, спортивныя площадки, черезъ всё тё мъста, гдъ гоношитъ и волнуется жизнь, только бы не буржувано размъренная и расчетливая, - Купринъ ближе увнаеть эту Европу, по которой раньше лишь бъгло скользнулъ его творческій взглядъ. А въдь Европа, которую мы всё привыкли противополагать Россіи, точно это не отдёльныя страны, разнящіяся между собою столько же, сколько каждая изъ нихъ разнится отъ Россіи, а какая-то одна, единообразная страна, эта загадочная Европа по особенному близка каждому много жившему на югъ, особенно въ Одессъ. Заносили запахъ ея торговыя суда, становившіяся на якор'в въ Одесскомъ порту. Теперь для Куприна эта Европа и въ самой столицъ ея, въ Парижъ, - новая арена. Проидеть ли онь по ней исключительно наблюдателемъ или вмъшается, станетъ участникомъ въсутулкъ международнаго художества? . . .

Евгеній Аничковъ.

содержаніе.

Вступительная статья						Я	Евгенія				Аничкова					0				
A.	И.	К	yn	(p)	H	Ď														I
Молохъ						e	٠		•		٠					.0			Α.,	- 1
Ночная	СМ	ĎЕ	ıa																	107
Болото																				141
Походъ				ď		2.	٠.	41	ı.			J.			: .					167
Одиноч	ecti	во													, •				4,	183
Ночлегт	5						٠		•	.9	٠	٠				٠,				199
Лъсная	гл	yı	шь			٠														221
На поко	Ť																			259

молохъ.



Заводскій гудокъ протяжно ревѣлъ, возвѣщая начало рабочаго дня. Густой, хриплый, непрерывный звукъ, казалось, выходилъ изъ-подъ земли и низко разстилался по ея поверхности. Мутный разсвѣть дождливаго августовскаго дня придавалъ ему суровый оттѣнокъ тоски и угрозы.

Гудокъ засталъ инженера Боброва за чаемъ. Въ послѣдніе дни Андрей Ильичъ особенно сильно страдалъ безсонницей. Вечеромъ, ложась въ постель съ тяжелой головой и поминутно вздрагивая точно отъ внезапныхъ толчковъ, онъ все-таки забывался довольно скоро безпокойнымъ нервнымъ сномъ, но просыпался задолго до свѣта совсѣмъ разбитый, обезсиленный и раздраженный.

Причиной этому, безъ сомнѣнія, было нравственное и физическое переутомленіе, а также давняя привычка къ подкожнымъ впрыскиваніямъ морфія, — привычка, съ которой Бобровъ на-дняхъ началъ упорную борьбу.

Теперь онъ сидълъ у окна и маленькими глотками прихлебывалъ чай, казавшійся ему травянистымъ и безвкуснымъ. По стекламъ зигзагами сбъгали капли. Лужи

на дворъ морщило и рябило отъ дождя. Изъ окна было видно небольшое квадратное озеро, окруженное, точно рамкой, косматыми ветлами, съ ихъ низкими, голыми стволами и сърой зеленью. Когда поднимался вътеръ, то на поверхности озера вздувались и бъжали, будто торопясь, мелкія, короткія волны, а листья ветелъ вдругъ подергивались серебристой съдиной. Блеклая трава безсильно приникала подъ дождемъ къ самой землъ. Дома ближайшей деревушки, деревья лъса, протянувшагося зубчатой темной лентой на горизонтъ, поле въ черныхъ и желтыхъ заплатахъ, — все вырисовывалось съро и неясно, точно въ туманъ.

Было семь часовъ, когда, надѣвъ на себя клеенчатый плащъ съ капюшономъ, Бобровъ вышелъ изъ дому. Какъ многіе нервные люди, онъ чувствовалъ себя очень нехорошо по утрамъ: тѣло было слабо, въ глазахъ ощущалась тупая боль, точно кто-то давилъ на нихъ сильно снаружи, во рту — непріятный вкусъ. Но всего больнѣе дѣйствовалъ на него тотъ внутренній, душевный разладъ, который онъ примѣчалъ въ себѣ съ недавняго времени. Товарищи Боброва, инженеры, глядѣвшіе на жизнь съ самой несложной, веселой и практической точки зрѣнія, навѣрно, осмѣяли бы то, что причиняло ему столько тайныхъ страданій, и ужъ во всякомъ случаѣ не поняли бы его. Съ каждымъ днемъ въ немъ все больше и больше нарастало отвращеніе, почти ужасъ къ службѣ на заводѣ.

По складу его ума, по его привычкамъ и вкусамъ ему лучше всего было посвятить себя кабинетнымъ занятіямъ, профессорской дъятельности или сельскому хозяйству. Инженерное дъло не удовлетворяло его, и, если бы не настоятельное желаніе матери, онъ оставилъ бы институтъ еще на третьемъ курсъ.

Его нъжная, почти женственная натура жестоко страдала отъ грубыхъ прикосновеній дъйствительности,

съ ея будничными, но суровыми нуждами. Онъ самъ себя сравнивалъ въ этомъ отношеніи съ человъкомъ, съ котораго заживо содрали кожу. Иногда мелочи, не замъченныя другими, причиняли ему глубокія и долгія огорченія.

Наружность у Боброва была скромная, неяркая... Онъ былъ невысокъ ростомъ и довольно худъ, но въ немъ чувствовалась нервная порывистая сила. Большой бълый прекрасный лобъ прежде всего обращалъ на себя вниманіе на его лицъ. Расширенные и при томъ неодинаковой величины зрачки были такъ велики, что глаза, вмъсто сърыхъ, казались черными. Густыя, неровныя брови сходились у переносья и придавали этимъ глазамъ строгое, пристальное и точно аскетическое выраженіе. Губы у Андрея Ильича были нервныя, тонкія, но не злыя, и немного несимметричныя: правый уголъ рта приходился немного выше лѣваго; усы и борода маленькіе, жидкіе, бълесоватые, совсъмъ мальчишескіе. Прелесть его, въ сущности, некрасиваго лица заключалась только въ улыбкъ. Когда Бобровъ смъялся, глаза его становились нѣжными и веселыми, и все лицо дѣлалось привлекательнымъ.

Пройдя полверсты, Бобровъ взобрался на пригорокъ. Прямо подъ его ногами открылась огромная панорама завода, раскинувшагося на пятьдесять квадратныхъ верстъ. Это былъ настоящій городъ изъ краснаго кирпича, съ лѣсомъ высоко торчащихъ въ воздухѣ закопченныхъ трубъ, — городъ, весь пропитанный запахомъ сѣры и желѣзнаго угара, оглушаемый вѣчнымъ, несмолкаемымъ грохотомъ. Четыре доменныя печи господствовали надъ заводомъ своими чудовищными трубами. Рядомъ съ ними возвышалось восемь кауперовъ, предназначенныхъ для циркуляціи нагрѣтаго воздуха, — восемь огромныхъ желѣзныхъ башенъ, увѣнчанныхъ круглыми куполами. Вокругъ доменныхъ печей разбро-

сались другія зданія: ремонтныя мастерскія, литейный дворъ, промывная, паровозная, рельсопрокатная, мартеновскія и пудлинговыя печи и т. д.

Заводъ спускался внизъ тремя громадными природными площадями. Во всѣхъ направленіяхъ сновали маленькіе паровозы. Показываясь на самой нижней ступени, они съ пронзительнымъ свистомъ летѣли наверхъ, исчезали на нѣсколько секундъ въ туннеляхъ, откуда вырывались, окутанные бѣлымъ паромъ, гремѣли по мостамъ и наконецъ, точно по воздуху, неслись по каменнымъ эстокадамъ, чтобы сбросить руду и коксъ въ самую трубу доменной печи.

Дальше, за этой природной террасой, глаза разбъгались на томъ хаосъ, который представляла собою мъстность, предназначенная для возведенія пятой и шестой доменныхъ печей. Казалось, какой-то страшный подземный переворотъ выбросилъ наружу эти безчисленныя груды щебня, кирпича разныхъ величинъ и цвътовъ, песчаныхъ пирамидъ, горъ плитняка, штабелей жельза и лъса. Все это было нагромождено какъ будто бы безъ толку, случайно. Сотни подводъ и тысячи людей суетились здъсь, точно муравьи на разоренномъ муравейникъ. Бълая тонкая и ъдкая известковая пыль стояла, какъ туманъ, въ воздухъ.

Еще дальше, на самомъ краю горизонта, около длиннаго товарнаго поъзда толпились рабочіе, разгружавшіе его. По наклоннымъ доскамъ, спущеннымъ изъ вагоновъ, непрерывнымъ потокомъ катились на землю кирпичи; со звономъ и дребезгомъ падало желъзо; летъли въ воздухъ, изгибаясь и пружинясь на лету, тонкія доски. Однъ подводы направлялись къ поъзду порожнякомъ, другія вереницей возвращались оттуда, нагруженныя до верху. Тысячи звуковъ смъшивались здъсь въ длинный скачущій гулъ: тонкіе, чистые и твердые звуки каменщичьихъ зубилъ, звонкіе удары клепальщи-

жовъ, чеканящихъ заклепы на котлахъ, тяжелый грохотъ паровыхъ молотовъ, могучіе вздохи и свистъ паровыхъ трубъ и изръдка глухіе подземные взрывы, заставлявшіе дрожать землю.

Это была страшная и захватывающая картина. Человъческій трудъ кипълъ здъсь, какъ огромный, сложный и точный механизмъ. Тысячи людей, инженеровъ, каменщиковъ, механиковъ, плотниковъ, слесарей, землекоповъ, столяровъ и кузнецовъ собрались сюда съразныхъ концовъ земли, чтобы, повинуясь желъзному закону борьбы за существованіе, отдать свои силы, здоровье, умъ и энергію за одинъ только шагъ впередъ промышленнаго прогресса.

Нынъшній день Бобровъ особенно нехорошо себя чувствовалъ. Иногда, хотя и очень рѣдко — раза три или четыре въ годъ у него являлось весьма странное, меланхолическое и вмъстъ съ тъмъ раздражительное настроеніе духа. Случалось это обыкновенно въ пасмурныя осеннія утра, или по вечерамъ, во время зимней ростепели. Все въ его глазахъ пріобрътало скучный и безцвътный видъ, человъческія лица казались мутными, некрасивыми или болъзненными, слова звучали откуда-то издали, не вызывая ничего, кромѣ скуки. Особенно раздрожали его сегодня, когда онъ обходилъ рельсопрокатный цехъ, блъдныя, выпачканныя углемъ и высушенныя огнемъ лица рабочихъ. Глядя на ихъ упорный трудъ въ то время, когда ихъ тъла обжигалъ жаръ раскаленныхъ желъзныхъ массъ, а изъ широкихъ дверей дулъ произительный осенній вътеръ, онъ самъ какъ будто бы испытывалъ часть ихъ физическихъ страданій. Ему тогда становилось стыдно и за свой выхоленный видъ, и за свое тонкое бѣлье, и за три тысячи своего годового жалованья...

Онъ стоялъ около сварочной печи, слѣдя за работой. Каждую минуту громадный пылающій зѣвъ печи широко раскрывался, чтобы поглощать одинъ за другимъ двадцатипудовые «пакеты» раскаленной добѣла стали, только-что вышедшіе изъ пламенныхъ печей. Черезъ четверть часа они, протянувшись съ страшнымъ грохотомъ черезъ десятки станковъ, уже складывались на другомъ концѣ мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами.

Кто-то тронулъ Боброва сзади за плечо. Онъ досадливо обернулся и увидълъ одного изъ сослуживцевъ — Свъжевскаго.

Этотъ Свѣжевскій съ его всегда немного согнутой фигурой, — не то крадущейся, не то кланяющейся, — съ его вѣчнымъ хихиканьемъ и потираньемъ холодныхъ, мокрыхъ рукъ, очень не нравился Боброву. Въ немъ было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Онъ вѣчно зналъ раньше всѣхъ заводскія сплетни и выкладывалъ ихъ съ особеннымъ удовольствіемъ передъ тѣмъ, кому онѣ были наиболѣе непріятны; въ разговорѣ же нервно суетился и ежеминутно притрогивался къ бокамъ, плечамъ, рукамъ и пуговицамъ собесѣдника.

- Что это васъ, батенька, такъ давно не видно? спросилъ Свъжевскій; онъ хихикалъ и мялъ въ своихъ рукахъ руку Андрея Ильича. Все сидите и книжки почитываете? Почитываете все?
- Здравствуйте, отозвался нехотя Бобровъ, отымая руку. Просто мнѣ нездоровилось это время.
- У Зиненко за вами всѣ соскучились, продолжалъ многозначительно Свѣжевскій. Отчего вы у нихъ не бываете? А тамъ третьяго-дня былъ директоръ и о васъ справлялся. Разговоръ зашелъ какъ-то

о доменныхъ работахъ, и онъ о васъ отзывался съ большой похвалой.

- Весьма польщенъ, насмѣшливо поклонился Бобровъ.
- Нътъ, серьезно... Говорилъ, что правленіе васъ очень цънитъ, какъ инженера, обладающаго большими знаніями, и что вы, если бы захотъли, могли бы пойти очень далеко. По его мнънію, намъ вовсе не слъдовало бы отдавать французамъ вырабатывать проектъ завода, если дома есть такіе свъдущіе люди, какъ Андрей Ильичъ. Только...

«Сейчасъ что-нибудь непріятное скажетъ», — подумалъ Бобровъ.

- Только, говоритъ, нехорошо, что вы такъ удаляетесь отъ общества и производите впечатлъніе замкнутаго человъка. Никакъ не поймешь, кто вы такой на самомъ дълъ, и не знаешь, какъ съ вами держаться. Ахъ, да! вдругъ хлопнулъ себя по лбу Свъжевскій: я вотъ болтаю, а самое важное позабылъ вамъ сказать... Директоръ просилъ всъхъ быть непремънно завтра къдвънадцати-часовому поъзду на вокзалъ.
 - Опять будемъ встръчать кого-нибудь?
 - Совершенно вфрно. Угадайте, кого?

Лицо Свъжевскаго приняло лукавое и торжествующее выраженіе. Онъ потираль руки и, повидимому, испытываль большое удовольствіе, готовясь сообщить интересную новость.

- Право, не знаю, кого... Да я и не мастеръвовсе угадывать, сказалъ Бобровъ.
- Нѣтъ, голубчикъ, отгадайте, пожалуйста... Ну, хоть такъ, наугадъ, кого-нибудь назовите...

Бобровъ замолчалъ и сталъ съ преувеличеннымъ вниманіемъ слъдить за дъйствіями парового крана. Свъжевскій замътиль это и засуетился еще больше прежняго.

— Ни за что не скажете... Ну, да я уже не буду васъ больше томить. Ждутъ самого Квашнина.

Фамилію онъ произнесъ съ такимъ откровеннымъ подобострастіемъ, что Боброву даже сдълалось противно.

- Что же вы тутъ находите особение важнаго? спросилъ небрежно Андрей Ильичъ.
- Какъ «что же особеннаго»? Помилуйте. Въдь онъ въ правленіи, что захочеть, то и дълаеть: его, какъ оракула, слушають. Вотъ и теперь: правленіе уполномочило его ускорить работы, то-есть, иными словами, онъ самъ себя уполномочиль къ этому. Вы увидите, какіе громы и молніи у насъ пойдуть, когда онъ пріъдеть. Въ прошломъ году онъ постройку осматривалъ это, кажется, до васъ еще было?.. Такъ директоръ и четверо инженеровъ полетъли со своихъ мъсть къ чорту. У васъ задувка *) скоро окончится?
 - Да, уже почти готова.
- Ну, это хорошо. При немъ значитъ, и открытіе отпразднуемъ и начало каменныхъ работъ. Вы Квашнина самого встрътили когда-нибудь?
 - Ни разу. Фамилію, конечно, слышалъ...
- А я такъ имѣлъ удовольствіе. Это жъ, я вамъ доложу, такой типъ, какихъ больше не увидите. Его весь Петербургъ знаетъ. Во-первыхъ, такъ толстъ, что у него руки на животѣ не сходятся. Не вѣрите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, гдѣ вся правая сторона отворяется на шарнирахъ. При этомъ огромнаго роста, рыжій, и голосъ, какъ труба іерихонская. Но что за умница! Ахъ, Боже мой!.. Во

^{*)} Задувкой доменной печи называется разогрѣваніе ея передъ началомъ работы до температуры плавленія руды, приблизительно до 1600° С. Самое дѣйствіе печи называется «кампаніей». Задувка продолжается иногда нѣсколько мѣсяцевъ.

всѣхъ акціонерныхъ обществахъ состоитъ членомъ правленія... получаетъ двѣсти тысячъ всего только за семь засѣданій въ годъ! За то уже, когда на общихъ собраніяхъ надо спасать ситуацію — лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчетъ онъ такъ доложитъ, что акціонерамъ черное бѣлымъ покажется, и они потомъ уже не знаютъ, какъ имъ выразить правленію свою благодарность. Главное: онъ никогда и съ дѣломъ-то вовсе не знакомъ, о которомъ говоритъ, и беретъ прямо апломбомъ. Вы завтра послушаете его, такъ, навѣрно, подумаете, что онъ всю жизнь только и дѣлалъ, что около доменныхъ печей возился, а онъ въ нихъ столько же понимаетъ, сколько я въ санскритскомъ языкѣ.

- На-ра-ра-рамъ! фальшиво и умышленно небрежно запълъ Бобровъ, отворачиваясь.
- Да вотъ... на что лучше... Знаете, какъ онъ принимаетъ въ Петербургъ? Сидитъ голый въ ваннъ по самое горло, только голова его рыжая надъ водою сіяетъ, и слушаетъ. А какой-нибудь тайный совътникъ стоитъ, почтительно передъ нимъ согнувшись, и докладываетъ... Обжора онъ ужасный... и, дъйствительно, умъетъ поъсть; во всъхъ лучшихъ ресторанахъ извъстны битки à la Квашнинъ. А ужъ насчетъ бабъя и не говорите. Три года тому назадъ съ нимъ прекомичный случай вышелъ...

И, видя, что Бобровъ собирается уйти, Свѣжевскій схватилъ его за пуговицу и умоляюще зашепталъ:

— Позвольте... это такъ смѣшно... позвольте, я сейчасъ... въ двухъ словахъ. Видите ли, какъ дѣло было. Пріѣзжаетъ осенью, года три тому назадъ, въ Петербургъ одинъ бѣдный молодой человѣкъ — чиновникъ, что ли, какой-то... я даже его фамилію знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочетъ этотъ молодой человѣкъ о спорномъ наслѣдствѣ и каждое

утро, возвращаясь изъ присутственныхъ мѣстъ, заходитъ въ Лѣтній садъ, посидѣть четверть часа на скамеечкъ... Ну-съ, хорошо. Сидитъ онъ три дня, четыре, пять и замъчаетъ, что ежедневно съ нимъ гуляетъ по саду какой-то рыжій господинъ необычайной толшины... Они знакомятся. Рыжій, который оказывается Квашнинымъ, разузнаетъ отъ молодого человъка всъ его обстоятельства, принимаетъ въ немъ участіе, жалфетъ... Однако фамиліи ему своей не говорить. Ну-съ, хорошо, Наконецъ, однажды рыжій предлагаетъ молодому человѣку: «А что, согласились ли бы вы жениться на одной особъ, но съ уговоромъ — сейчасъ же послъ свадьбы съ ней разъѣхаться и больше не видаться?» А молодой человъкъ какъ разъ въ это время чуть съ голоду не умиралъ. «Согласенъ, говоритъ, только смотря по тому, какое вознагражденіе, и деньги впередъ». Замътьте, тоже молодой человъкъ знаетъ, съ какого конца спаржу ъдятъ. Ну-съ, хорошо. .. Сговорились они. Черезъ недълю рыжій одъваетъ молодого человъка во фракъ и, чуть свътъ, везетъ куда-то за городъ, въ церковь. Народу никого; невъста уже дожидается, вся закутанная въ вуаль, однако видно, что хорошенькая и совствиъ молодая. Начинается вънчаніе. Только молодой человъкъ замъчаетъ, что его невъста стоитъ какая-то печальная. Онъ ее и спрашиваетъ шопотомъ: «Вы, кажется, противъ своей охоты сюда пріъхали?» А она говоритъ: «Да и вы, кажется, тоже?» Такъ они и объяснились между собой. Оказывается, что дъвушку принудила выйти замужъ ея же мать. Прямо-то отдать дочь Квашнину маменькъ все-таки мъшала совъсть... Ну-съ, хорошо... Стоятъ они, стоятъ... молодой человъкъ-то и говоритъ: «А давайте-ка удеремъ такую штуку: оба мы съ вами молоды, впереди еще для насъ можеть быть много хорошаго, давайте-ка оставимъ Квашнина на бобахъ». Дъвица ръшительная и съ быстрымъ соображеніемъ. «Хорошо, говоритъ, давайте». Окончилось вънчанье, выходять вст изъ церкви, Квашнинъ такъ и сіяетъ. А молодой человъкъ даже и деньги съ него впередъ получилъ, да и немалыя деньги, потому что Квашнинъ въ этихъ случаяхъ ни за какими капиталами не постоитъ. Подходитъ онъ къ молодымъ и поздравляетъ съ самымъ ироническимъ видомъ. Тѣ слушаютъ его, благодарятъ, посаженымъ папенькой называютъ, и вдругъ оба — прыгъ въ коляску. «Что такое? Куда?» — «Какъ куда? На вокзалъ, свадебную поъздку совершать. Кучеръ, пошелъ!..» — Такъ Василій Терентьевичъ и остался на мъстъ съ разинутымъ ртомъ... А то вотъ однажды... Что это? Вы уже уходите, Андрей Ильичъ? — прервалъ свою болтовню Свѣжевскій, видя, что Бобровъ съ ръшительнымъ видомъ поправляетъ на головъ шляпу и застегиваетъ пуговицы пальто.

— Извините, мнѣ некогда, — сухо отвѣтилъ Бобровъ. — А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше гдѣ-то слышалъ или читалъ... Мое почтеніе.

И, повернувшись спиной къ Свѣжевскому, озадаченному его рѣзкостью, онъ быстро вышелъ изъ мастерской.

III.

Вернувшись съ завода и наскоро пообѣдавъ, Бобровъ вышелъ на крыльцо. Кучеръ Митрофанъ, еще раньше получившій приказаніе осѣдлать «Фарватера», гнѣдую донскую лошадь, съ усиліемъ затягивалъ под-

пругу англійскаго сѣдла. Фарватеръ надувалъ животъ и нѣсколько разъ быстро изгибалъ шею, ловя зубами рукавъ митрофановой рубашки. Тогда Митрофанъ кричалъ на него сердитымъ и ненатуральнымъ басомъ: «Но-о! Балуй, идолъ!» и прибавлялъ, кряхтя отъ напряженія: «Ишь ты, животная».

Фарватеръ — жеребецъ средняго роста, съ массивною грудью, длиннымъ туловищемъ и поджарымъ, немного вислымъ задомъ, — легко и стройно держался на кръпкихъ мохнатыхъ ногахъ, съ надежными копытами и тонкой бабкой. Знатокъ остался бы недоволенъ его горбоносой мордой и длинной шеей съ острымъ, выдающимся кадыкомъ. Но Бобровъ находилъ, что эти особенности, характерныя для всякой донской лошади, составляютъ красоту Фарватера такъ же, какъ кривыя ноги у таксы и длинныя уши у сетера. Зато во всемъ заводъ не было лошади, которая могла бы обскакать Фарватера.

Хотя Митрофанъ и считалъ необходимымъ, какъ и всякій хорошій русскій кучеръ, обращаться съ лошадью сурово, отнюдь не позволяя ни себѣ ни ей никакихъ проявленій нѣжности, и поэтому называлъ ее и «каторжной», и «падалью», и «убивцею», и даже «Хамлетомъ», тѣмъ не менѣе онъ въ глубинѣ души страстнолюбилъ Фарватера. Эта любовь выражалась въ томъ, что донской жеребчикъ былъ и вычищенъ лучше и овса получалъ больше, чѣмъ другія казенныя лошади Боброва: «Ласточка» и «Черноморецъ».

- Поилъ ты его, Митрофанъ? спросилъ Бобровъ. Митрофанъ отвътилъ не сразу. У него была и еще одна повадка хорошаго кучера медлительность и степенность въ разговоръ.
- Попоилъ, Андрей Ильичъ, какъ же не попоимшито. Но, ты, озирайся, лѣшій! Я тебѣ поверчу морду-то! —

крикнулъ онъ сердито на лошадь. — Страсть, баринъ, какъ ему охота нынче подъ съдломъ итти. Не терпится.

Едва только Бобровъ подошелъ къ Фарватеру и, взявъ въ лѣвую руку поводья, обмоталъ вокругъ пальцевъ гривку, какъ началась исторія, повторявшаяся чуть ли не ежедневно. Фарватеръ, уже давно косившійся большимъ, сердитымъ глазомъ на подходившаго. Боброва, началъ плясать на мѣстѣ, выгибая шею и разбрасывая задними ногами комья грязи. Бобровъ прыгалъ около него на одной ногѣ, стараясь вдѣть ногу въ стремя.

— Пусти, пусти поводья, Митрофанъ! — крикнулъ онъ, поймавъ наконецъ стремя, и въ тотъ же моментъ, перебросивъ ногу черезъ крупъ, очутился въ съдлъ.

Почувствовавъ шенкеля всадника, Фарватеръ тотчасъ же смирился и, перемънивъ нъсколько разъ ногу, фыркая и мотая головой, взялъ отъ воротъ широкимъ, упругимъ галопомъ...

Быстрая взда, холодный ввтерь, свиствый въ уши, сввжій запахь осенняго, слегка мокраго поля очень скоро успокоили и оживили вялые нервы Боброва. Кромв того каждый разь, отправляясь къ Зиненкамь, онь испытываль пріятный и тревожный подъемъ духа.

Семья Зиненокъ состояла изъ отца, матери и пятерыхъ дочерей. Отецъ служилъ на заводъ и завъдывалъ складомъ. Этотъ лънивый и добродушный съ виду гигантъ былъ въ сущности очень пронырливымъ и каверзнымъ господиномъ. Онъ принадлежалъ къ числу тъхъ людей, которые, подъ видомъ высказыванія всякому въ глаза «истинной правды», грубо, но пріятно льстятъ начальству, откровенно ябедничаютъ на сослуживцевъ, а съ подчиненными обращаются самымъ безобразно-деспотическимъ образомъ. Онъ спорилъ изъ-за всякаго пустяка, не слушая возраженій и хрипло кричалъ; любилъ поъсть и питалъ слабость къ хоровому малорус-

скому пѣнію, при чемъ неизмѣнно фальшивилъ. Онъ, незамѣтно для самого себя, находился подъ башмакомъ у своей жены, — женщины маленькаго роста, болѣзненной и жеманной, съ крошечными сѣрыми глазками, до смѣшного близко поставленными къ переносью.

Дочерей звали: Мака, Бета, Шурочка, Нина и Кася. Каждой изъ нихъ въ семь было отведено свое амплуа. Мака, дъвица съ рыбьимъ профилемъ, пользовалась репутаціей ангельскаго характера. «Ужъ эта Мака — сама простота», — говорили про нее родители, когда она, во время прогулокъ и вечеровъ, стушевывалась на задній планъ, въ интересахъ младшихъ сестеръ (Макъ уже перевалило за тридцать).

Бета считалась умницей, носила пенсне и, какъ говорили, хотъла даже когда-то поступить на курсы. Она держала голову склоненной на бокъ и внизъ, какъ старая пристяжная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждомъ шагъ. Къ новымъ гостямъ она приставала со спорами о томъ, что женщины лучше и честнъе мужчинъ, или съ наивной игривостью просила: «Вы такой проницательный... ну вотъ, опредълите мой характеръ». Когда разговоръ переходилъ на одну изъ классическихъ домашнихъ темъ: «Кто выше: Лермонтовъ или Пушкинъ?» или: «Способствуетъ ли природа смягченію нравовъ?» — Бету выдвигали впередъ, какъ боевого слона.

Третья дочь, Шурочка, избрала спеціальностью игру въ дурачки со всъми холостыми инженерами поочереди. Какъ только узнавала она, что ея старый партнеръ собирается жениться, она, подавляя огорченіе и досаду, избирала себъ новаго. Конечно, игра велась съ милыми шутками и маленькимъ плънительнымъ плутовствомъ, при чемъ партнера называли «противнымъ» и били по рукамъ картами.

Нина считалась въ семь общей любимицей, избалованнымъ, но прелестнымъ ребенкомъ. Она была выродкомъ среди своихъ сестеръ, съ ихъ массивными фигурами и грубоватыми, вульгарными лицами. Можетъ-быть, одна только m-me Зиненко могла бы удовлетворительно объяснить откуда у Ниночки взялась эта нъжная, хрупкая фигурка, эти почти аристократическія руки, хорошенькое, смугловатое личико, все въ родинкахъ, маленькія розовыя уши и пышные, тонкіе, слегка выющіеся волосы. На нее родители возлагали большія надежды, и ей поэтому разръшалось все: и объъдаться конфетами, и мило картавить, и даже одъваться лучше сестеръ.

Самой младшей, Касъ, исполнилось недавно четырнадцать лътъ, но этотъ феноменальный ребенокъ переросъ на цълую голову свою мать, далеко превзойдя старшихъ сестеръ могучей рельефностью формъ. Ея фигура давно уже вызывала пристальные взоры заводской молодежи, совершенно лишенной, по отдаленности отъ города, женскаго общества, и Кася принимала эти взоры съ наивнымъ безстыдствомъ рано созръвшей дъвочки.

Это раздъленіе семейныхъ прелестей было хорошо извъстно на заводъ, и одинъ шутникъ сказалъ какъ-то, что, если ужъ жениться на Зиненкахъ, то непремънно на всъхъ пятерыхъ сразу. Инженеры и студенты-практиканты глядъли на домъ Зиненко какъ на гостиницу, толклись тамъ съ утра до ночи, много ъли, еще больше пили, но съ удивительной ловкостью избъгали брачныхъ сътей.

Въ этой семьъ Боброва недолюбливали. Мъщанскіе вкусы m-me Зиненко, стремившейся все подвести подълинію пошлаго и благополучно-скучнаго провинціальнаго приличія, оскорблялись поведеніемъ Андрея Ильича. Его желчныя остроты, когда онъ бывалъ въ духъ, встръчались съ широко раскрытыми глазами, и, наобо-

ротъ, когда онъ молчалъ цѣлыми вечерами, вслѣдствіе усталости и раздраженія, его подозрѣвали въ скрытности, въ гордости, въ молчаливомъ иронизированіи, даже — о! это было всего ужаснѣе! — даже подозрѣвали, что онъ «пишетъ въ журналы повѣсти и собираетъ для нихъ типы».

Бобровъ чувствовалъ эту глухую вражду, выражавшуюся въ небрежности за столомъ, въ удивительномъ пожиманіи плечей матери семейства, но все-таки продолжалъ бывать у Зиненокъ. Любилъ ли онъ Нину? На это онъ самъ не могъ бы отвътить. Когда онъ трое или четверо сутокъ не бывалъ въ ихъ домѣ, воспоминаніе о ней заставляло его сердце биться со сладкой и тревожной грустью. Онъ представлялъ себъ ея стройную, граціозную фигурку, улыбку ея темныхъ окруженныхъ тѣнью глазъ и запахъ ея тѣла, напоминавшій ему почему-то запахъ молодыхъ клейкихъ почекъ тополя.

Но стоило ему побывать у Зиненокъ три вечера подъ рядъ, какъ его начинало томить ихъ общество, ихъ фразы, — всегда однъ и тъ же въ одинаковыхъ случаяхъ, — шаблоныя и неестественныя выраженія ихъ лицъ. Между пятью «барышнями» и «ухаживавшими» за ними «кавалерами» (слова Зиненковскаго обихода) разъ навсегда установились пошло игривыя отношенія. И тъ и другіе дълали видъ, будто они составляютъ два враждующихъ лагеря. То и дѣло одинъ изъ кавалеровъ, шутя, похищалъ у барышни какую-нибудь вещь и увърялъ, что не отдастъ ея; барышни дулись, шептались между собой, называли шутника «противнымъ» и все время хохотали деревяннымъ, громкимъ, непріятнымъ хохотомъ. И это повторялось ежедневно, сегодня совершенно въ тъхъ же словахъ и съ тъми же жестами, какъ вчера. Бобровъ возвращался отъ Зиненокъ съ

головной болью и съ нервами, утомленными ихъ провинціальнымъ ломаньемъ.

Такимъ образомъ въ душѣ Боброва чередовалась тоска по Нинѣ, по нервному пожатію ея всегда горячихъ рукъ, съ отвращеніемъ къ скукѣ и манерности ея семьи. Бывали минуты, когда онъ уже совершенно готовился сдѣлать ей предложеніе. Тогда его не остановило бы даже сознаніе, что она, съ ея кокетствомъ дурного тона и душевной пустотой, устроитъ изъ семейной жизни адъ, что онъ и она думаютъ и говорятъ на разныхъ языкахъ. Но онъ не рѣшался и молчалъ.

Теперь, подъвзжая къ Шепетовкъ, онъ уже заранѣе зналъ, что и какъ тамъ будутъ говорить въ томъ или другомъ случаъ, даже представлялъ себъ выраженіе лицъ. Онъ зналъ, что когда съ ихъ террасы увидятъ его верхомъ на лошади, то сначала между барышнями, всегда находящимися въ ожиданіи «пріятныхъ кавалеровъ», подымется длинный споръ о томъ, кто это ъдетъ. Когда же онъ приблизится, то угадавшая начнетъ подпрыгивать, бить въ ладоши, прищелкивать языкомъ и задорно выкрикиваетъ: «А что? А что? Я угадала, я угадала!» Вслъдъ за тъмъ она побъжитъ къ Аннъ Аванасьевнъ. «Мама, Бобровъ ъдетъ, я первая угадала!» А мама, лъниво перетирая чайныя чашки, обратится къ Нинъ — непремънно къ Нинъ — такимъ тономъ, какъ будто бы она передаетъ что-то смѣшное и неожиданное: «Ниночка, знаешь, Бобровъ ѣдетъ». И уже послъ этого всъ онъ вмъстъ чрезвычайно и очень громко изумятся, увидя входящаго Андрея Ильича.

IV.

Фарватеръ шелъ, звучно фыркая и попрашивая поводьевъ. Вдали показался домъ Шепетовской экономіи.

Изъ густой зелени сиреней и акацій едва виднълись его бълыя стъны и красная крыша. Подъ горой небольшой прудъ выпукло подымался изъ окружавшихъ его зеленыхъ береговъ.

На крыльцѣ стояла женская фигура. Бобровъ издали узналъ въ ней Нину по ярко-желтой кофточкѣ, такъ красиво оттѣнявшей смуглый цвѣтъ ея лица, и тотчасъ же, подтянувъ Фарватеру поводья, выпрямился и высвободилъ носки ногъ, далеко залѣзшіе въ стремена.

— Вы опять на своемъ сокровищѣ пріѣхали? Ну, вотъ, просто видѣть не могу этого урода! — крикнула съ крыльца Нина веселымъ и капризнымъ голосомъ избалованнаго ребенка. У нея уже давно вошло въ привычку дразнить Боброва его лошадью, къ которой онъбылъ такъ привязанъ. Вообще, въ домѣ Зиненокъвѣчно кого-нибудь и чѣмъ-нибудь дразнили.

Бросивъ поводья подбѣжавшему заводскому конюху, Бобровъ похлопалъ крутую, потемнѣвшую отъ пота шею лошади и вошелъ вслѣдъ за Ниной въ гостиную. Анна Аванасьевна, сидѣвшая за самоваромъ, сдѣлала видъ, будто необычайно поражена пріѣздомъ Боброва.

— А-а-а! Андрей Ильичъ! Наконецъ-то вы къ намъпожаловали!.. — воскликнула она нараспѣвъ.

И, ткнувъ ему руку прямо въ губы, когда онъ здоровался съ ней, она своимъ громкимъ носовымъ голосомъ спросила:

- Чаю? Молока? Яблоковъ? Говорите, чего хотите.
- Мегсі, Анна Аванасьевна.
- Merci, oui, ou merci non?

Подобныя французскія фразы были неизмѣнны въсемьѣ Зиненко. Бобровъ отказался отъ всего.

— Ну, такъ идите на террасу, тамъ молодежь затъяла какіе-то фанты, что ли, — милостиво разръшила m-me Зиненко.

Когда онъ вышелъ на балконъ, всѣ четыре барышни разомъ, совершенно тѣмъ же тономъ и такъ же въ носъ, какъ ихъ маменька, воскликнули:

— А-а-а! Андрей Ильичъ? Вотъ ужъ кого давно-то не было видно! Чего вамъ принести? Чаю? Яблоковъ? Молока? — Не хотите? Нѣтъ, правда? А можетъ-быть, хотите? Ну, въ такомъ случаѣ садитесь здѣсь и принимайте участіе.

Играли въ «барыня прислала сто рублей», въ «мићнія» и еще въ какую-то игру, которую шепелявая Кася называла «играть въ пошуду». Изъ гостей были: три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластическія позы, выставивъ впередъ ногу и заложивъ руку въ задній карманъ сюртука; былъ техникъ Миллеръ, отличавшійся красотою, глупостью и чудеснымъ баритономъ, и наконецъ какой-то молчаливый господинъ въ съромъ, не обращавшій на себя ничьего вниманія.

. Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительнымъ и скучающимъ видомъ; дъвицы вовсе отъ нихъ отказывались, перешептывались и напряженно хохотали.

Смеркалось. Изъ-за крышъ ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна.

— Дъти, идите въ комнаты! — крикнула изъ столовой Анна Афанасьевна. — Попросите Миллера, чтобы онъ намъ спълъ что-нибудь.

Черезъ минуту голоса барышенъ уже слышались въ комнатахъ. — Намъ было очень весело, — щебетали онъ вокругъ матери: — мы такъ смъялись, такъ смъялись...

На балкон в остались только Нина и Бобровъ. Она сидъла на перилахъ, обхвативши столбъ лъвой рукой и прижавшись къ нему въ безсознательно-граціозной позъ. Бобровъ помъстился на низкой садовой скаме-

ечкъ у самыхъ ея ногъ и снизу вверхъ, заглядывая ей въ лицо, видълъ нъжныя очертанія ея шеи и подбородка.

- Ну, разскажите же что-нибудь интересное,
 Андрей Ильичъ, нетерпъливо приказала Нина.
- Право, я не знаю, что бы вамъ разсказать, возразилъ Бобровъ. Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то ужъ думаю: нътъ ли такого разговорнаго сборника, на разныя темы...
- Фу-у! Какой вы ску-учный, протянула Нина. Скажите, когда вы бываете въ духъ?
- А вы мнѣ скажите, почему вы такъ боитесь молчанія? Чуть разговоръ немножко изсякъ, вамъ уже и не по себѣ... А развѣ дурно разговаривать молча?
- «Мы будемъ съ тобой молчали-ивы»... пропъла насмъщливо Нина.
- Конечно, будемъ молчаливы. Посмотрите: небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконъ такъ тихо... Чего же еще?...
- «И эта глупая луна на этомъ глупомъ небосклонъ», продекламировала Нина. А ргороз, вы слышали, что Зиночка Маркова выходитъ замужъ за Протопопова? Выходитъ-таки! Удивительный человъкъ этотъ Протопоповъ. Она пожала плечами. Три раза ему Зина отказывала, и онъ все-таки не могъ успокоиться, сдълалъ въ четвертый разъ предложеніе. И пускай на себя пеняетъ. Она его, можетъ-быть, будетъ уважать, но любить никогда!

Этихъ словъ было достаточно, чтобы расшевелить желчь въ душъ Боброва. Его всегда выводилъ изъ себя узкій, мъщанскій словарь Зиненокъ, съ выраженіями въ родъ: «Она его любитъ, но не уважаетъ», «Она его уважаетъ, но не любитъ». Этими словами въ ихъ понятіяхъ исчерпывались самыя сложныя отношенія между мужчиной и женщиной, точно такъ же, какъ

для опредъленія нравственныхъ, умственныхъ и физическихъ особенностей любой личности у нихъ существовало только два выраженія: «брюнетъ» и «блондинъ».

И Бобровъ, изъ смутнаго желанія разбередить свою злобу, спросилъ:

- Что же такое представляетъ собою этотъ Протопоповъ?..
- Протопоповъ? вадумалась на секунду Нина. Онъ... какъ бы вамъ сказать... довольно высокаго роста... шатенъ!..
 - И больше ничего?
 - Чего же еще? Ахъ, да; служитъ въ акцизъ...
- И только? Да неужели, Нина Григорьевна, у васъ для характеристики человъка не найдется ничего, кромъ того, что онъ шатенъ и служитъ въ акцизѣ! Подумайте: сколько въ жизни встръчается намъ интересныхъ, талантливыхъ и умныхъ людей. Неужели все это только «шатены» и «акцизные чиновники»? Посмотрите, съ какимъ жаднымъ любопытствомъ наблюдаютъ жизнь крестьянскія діти и какъ они мітки въ своихъ сужденіяхъ. А вы, умная и чуткая дъвушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у васъ есть въ запасъ десятокъ шаблонныхъ, комнатныхъ фразъ. Я знаю: если кто-нибудь упомянеть въ разговоръ про луну, вы сейчасъ же вставите: «Какъ эта глупая луна» и т. д. Если я разскажу, положимъ, какой-нибудь выходящій изъ ряда обыкновенныхъ случай, я напередъ знаю, что вы замѣтите: «Свъжо преданіе, а върится съ трудомъ». И такъ во всемъ, во всемъ... Повърьте мнъ, ради Бога, что все самобытное, своеобразное...
- Я васъ прошу не читать мнѣ нравоученій! отозвалась рѣзко Нина.

Онъ замолчалъ, съ ощущеніемъ горечи во рту, и они оба сидъли минутъ пять тихо и не шевелясь. Вдругъ

изъ гостиной послышались звучные аккорды, и немного тронутый, но полный глубокаго выраженія голосъ Миллера запѣлъ:

Средь шумнаго бала, случайно, Въ тревогѣ мірской суеты, Тебя я увидѣлъ, но тайна Твои покрывала черты.

Озлобленное настроеніе Боброва быстро улеглось, и онъ жалѣлъ теперь что огорчилъ Нину. «Для чего вздумалъ я требовать отъ ея наивнаго, свѣжаго, дѣтскаго ума оригинальной смѣлости? — думалъ онъ. — Вѣдь она, какъ птичка: щебечетъ первое, что ей приходитъ въ голову, и, почемъ знать, можетъ-быть, это щебетанье даже гораздо лучше, чѣмъ разговоры объ эмансипаціи, и о Ницше, и о декадентахъ?»

— Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорилъ глупостей, — сказалъ онъ вполголоса.

Нина молчала, отвернувшись отъ него и глядя на восходившую луну. Онъ отыскалъ въ темнотъ ея свъсившуюся руку и, пожавъ ее, прошепталъ:

— Нина Григорьевна... Пожалуйста...

Нина вдругъ быстро повернулась къ нему и отвътивъ на его пожатіе быстрымъ, нервнымъ пожатіемъ, воскликнула тономъ прощенія и упрека:

— Злючка! Всегда вы меня обижаете... пользуетесь тъмъ, что я на васъ не умъю сердиться!..

И, оттолкнувъ его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись отъ него, она перебъжала балконъ и скрылась въ дверяхъ.

...И въ грезахъ невѣдомыхъ сплю... Люблю ли тебя — я не знаю, Но кажется мнъ, что люблю...

пѣлъ со страстнымъ и тоскливымъ выраженіемъ Миллеръ. — Но кажется мн⁻в, что люблю! — повторилъ взволнованнымъ шопотомъ Бобровъ, глубоко переводя духъ и прижимая руку къ забившемуся сердцу.

«Зачѣмъ же, — растроганно думалъ онъ: — утомляю я себя безплодными мечтами о какомъ-то невѣдомомъ, возвышенномъ счастьѣ, когда здѣсь, около меня — простое, но глубокое счастье? Чего же еще нужно отъ женщины, отъ жены, если въ ней столько нѣжности, кротости, изящества и вниманія? Мы, бѣдные, нервные, больные люди, не умѣемъ брать просто отъ жизни ея радостей, мы ихъ нарочно отравляемъ ядомъ нашей неутомимой потребности копаться въ каждомъ чувствѣ, въ каждомъ своемъ и чужомъ помышленіи... Тихая ночь, близость любимой дѣвушки, милыя незатѣйливыя рѣчи, минутная вспышка гнѣва и потомъ внезапная ласка — Господи! Развѣ не въ этомъ вся прелесть существованія?»

Онъ вошелъ въ гостиную повеселѣвшій, бодрый, почти торжествующій. Глаза его встрѣтились съ глазами Нины, и въ ея долгомъ взорѣ онъ прочелъ нѣжный отвѣтъ на свои мысли. «Она будетъ моей женой», — подумалъ Бобровъ, ощущая въ душѣ спокойную радость.

Разговоръ шелъ о Квашнинъ. Анна Аванасьевна, наполняла своимъ увъреннымъ голосомъ всю комнату, говорила, что она думаетъ завтра тоже повести «своихъ дъвочекъ» на вокзалъ.

- Очень можетъ быть, что Василій Терентьевичъ захочетъ сдълать намъ визитъ. По крайней мъръ о его пріъздъ мнъ еще за мъсяцъ писала племянница мужа моей двоюродной сестры Лиза Бълоконская...
- Это, кажется, та Бълоконская, братъ которой женатъ на княжнъ Муховецкой? покорно вставилъ заученную реплику господинъ Зиненко.

- Ну да, та самая, снисходительно кивнула въ его сторону головой Анна Аванасьевна. Она еще приходится дальней родней по бабушкъ Стремоуховымъ, которыхъ ты знаешь. И вотъ Лиза Бълоконская писала мнъ, что встрътилась въ одномъ обществъ съ Василіемъ Терентьевичемъ и рекомендовала ему побывать у насъ, если ему, вообще, вздумается ъхать когданибудь на заводъ.
 - Сумфемъ ли мы принять, Нюся? спросилъ озабоченно Зиненко.
 - Какъ ты смъшно говоришь! Мы сдълаемъ, что можемъ. Въдь ужъ во всякомъ случат мы не удивимъ ничъмъ человъка, который имъетъ триста тысячъ годового дохода.
 - Господи! Триста тысячъ! простоналъ Зиненко. Просто страшно подумать.
 - Триста тысячъ! вздохнула, точно эхо, Нина.
- Триста тысячъ! воскликнули восторженно хоромъ дъвицы.
- Да, и все это онъ проживаетъ до копеечки, сказала Анна Афанасьевна. Затъмъ, отвъчая на невысказанную мысль дочерей, она прибавила: Женатый человъкъ. Только, говорятъ, очень неудачно женился. Его жена какая-то безцвътная личность и совсъмъ не представительна. Что ни говорите, а жена должна быть вывъской въ дълахъ мужа.
- Триста тысячъ! повторила еще разъ, точно въ бреду, Нина. Чего только на эти деньги ни сдѣлаешь!..

Анна Аванасьевна провела рукой по ея пышнымъ волосамъ.

— Вотъ бы тебѣ такого мужа, дѣточка. А?

Эти триста тысячъ чужого годового дохода точно наэлектризовали все общество. Съ блестящими глазами и разогръвшимися лицами разсказывались и слушались

анекдоты о жизни милліонеровъ, разсказы о баснословныхъ меню объдовъ, о великолъпныхъ лошадяхъ, о балахъ и исторически-безумныхъ тратахъ денегъ.

Сердце Боброва похолодъло и до боли сжалось. Онъ тихонько отыскалъ свою шляпу и осторожно вышелъ на крыльцо. Его ухода, впрочемъ, и такъ никто бы не замътилъ.

И когда онъ крупною рысью ѣхалъ домой и представилъ себѣ томные, мечтательные глаза Нины, шептавшей почти въ забытьѣ: Триста тысячъ!» — ему вдругъ припомнился утренній анекдотъ Свѣжевскаго.

— Эта... тоже сумъетъ себя продать! — прошепталъ онъ, судорожно стиснувъ зубы и съ бъщенствомъ ударивъ Фарватера хлыстомъ по шеъ.

V.

Подъвзжая къ своей квартиръ, Бобровъ замътилъ свътъ въ окнахъ. «Должно-быть, безъ меня пріъхалъ докторъ и теперь валяется на диванъ, въ ожиданіи моего пріъзда», — подумалъ онъ, сдерживая взмыленную лошадь. Въ теперешнемъ настроеніи Боброва докторъ Гольдбергъ былъ единственнымъ человъкомъ, присутствіе котораго онъ могъ перенести безъ бользненнаго раздраженія.

Онъ любилъ искренно этого безпечнаго, кроткаго еврея за его разносторонній умъ, юношескую живость характера и добродушную страсть къ спорамъ отвлеченнаго свойства. Какой бы вопросъ ни затрогивалъ Бобровъ, докторъ Гольдбергъ возражалъ ему съ одинаковымъ интересомъ къ дълу и съ неизмънной горячностью. И хотя между обоими, въ ихъ безконечныхъ

спорахъ до сихъ поръ возникали только противоръчія, тъмъ не менъе они скучали другъ безъ друга и видълись чуть не ежедневно.

Докторъ, дъйствительно, лежалъ на диванъ, закинувъ ноги на его спинку, и читалъ какую-то брошюру, держа ее вплотную у своихъ близорукихъ глазъ. Быстро скользнувъ взглядомъ по корешку, Бобровъ узналъ «Учебный курсъ металлургіи» Мевіуса и улыбнулся. Онъ хорошо зналъ привычку доктора читать съ одинаковымъ увлеченіемъ, и непремънно изъ середины, все, что только попадалось ему подъ руку.

- А я безъ васъ распорядился чайкомъ, сказалъ докторъ, отбросивъ въ сторону книгу и глядя поверхъ очковъ на Боброва. Ну, какъ попрыгиваете, государь мой Андрей Ильичъ? У-у, да какой же вы сердитый. Что? Опять веселая меланхолія?
- Ахъ, докторъ, скверно на свътъ жить, сказалъ устало Бобровъ.
 - Отчего же такъ, голубчикъ?
- Да такъ... вообще... все скверно. Ну, какъ, докторъ, ваша больница?
- Наша больница ничего... живетъ. Сегодня очень интересный хирургическій случай былъ. Ей-Богу, и смѣшно и трогательно. Представьте себѣ, приходитъ на утренній осмотръ парень, изъ масальскихъ каменщиковъ. Эти масальскіе ребята, какого ни возьми, всѣ, какъ на подборъ, богатыри. «Чтò тебѣ?» спрашиваю. «Да вотъ, господинъ дохтуръ, рѣзалъ я хлѣбъ для артели, такъ только вотъ што, этто башка у меня трешшытъ, такъ, палецъ маненечко попортилъ, руду никакъ не уймешь». Осмотрѣлъ я его руку: такъ себѣ, царапинка, пустяки, но нагноилась немного; я приказалъ фельдшеру положить пластырь. Только, вижу, парень мой не уходитъ. «Ну, чего тебѣ еще надо? Заклеили

тебѣ руку, и ступай». — «Это вѣрно, говоритъ, заклеили, дай Богъ тебъ здоровья, а только вотъ што, этто башка у меня трешшыть, такъ думаю, заодно и напротивъ башки чего-нибудь дашь». — «Что же у тебя съ башкой? Треснулъ кто-нибудь, върно?» — Парень такъ и обрадовался, загоготалъ. — «Есть, говоритъ, тотъ гръхъ. Ономнясь, на Спаса (это, значить, выпили ведра полтора, ну, ребята и зачали баловать промежъ себя... Ну, и я тоже. А опосля... въ дракъ-то нешто разберешься?... ка-акъ онъ меня зубиломъ саданулъ по балдъ... починилъ, стало-быть... Сначала-то оно ничего было, не больно, а вотъ теперь трешшытъ башка-то». Сталъ я осматривать «балду», и, что же вы думаете? — прямо въ ужасъ пришелъ! Черепъ проломленъ насквозь, дыра съ пятакъ мъдный будетъ величиною, и обломки кости въ мозгъ връзались... Теперь лежитъ въ больницъ безъ сознанія. Изумительный, я вамъ скажу, народецъ: младенцы и герои въ одно и то же время. Ей-Богу, я не шутя думаю, что только русскій терпъливый мужикъ и вынесеть такую починку балды. Другой, не сходя съ мъста, испустилъ бы духъ. И потомъ, какое наивное незлобіе: «Въ дракѣ нешто разберешь?..» Чортъ знаетъ, что такое!

Бобровъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ, щелкалъ хлыстомъ по голенищамъ высокихъ сапогъ и разсъянно слушалъ доктора. Горечь, осъвшая ему на душу еще у Зиненокъ, до сихъ поръ не могла успокоиться.

Докторъ помолчалъ немного и, видя, что его собесъдникъ не расположенъ къ разговору, сказалъ съ участіемъ:

— Знаете что, Андрей Ильичъ? Попробуемте-ка на минуточку лечь спать, да хватимъ на ночь ложечку-другую брому. Онъ полезенъ въ вашемъ настроеніи, а вреда, все равно, никакого не будетъ...

Они оба легли въ одной комнатъ: Бобровъ на кровати, докторъ на томъ же диванъ. Но и тому и другому не спалось. Гольдбергъ долго слушалъ въ темнотъ, какъ ворочался съ боку ва бокъ и вздыхалъ Бобровъ, и наконецъ заговорилъ первый:

— Ну, что вы, голубчикъ? Ну, что терзаетесь? Ужъ говорите лучше прямо, что такое тамъ у васъ засъло? Все легче будетъ. Чай, все-таки не чужой я вамъ человъкъ, не изъ празднаго любопытства спрашиваю.

Эти простыя слова тронули Боброва. Хотя его и связывали съ докторомъ почти дружескія отношенія, однако ни одинъ изъ нихъ до сихъ поръ ни словомъ не подтвердилъ этого вслухъ: оба были люди чуткіе и боялись колючаго стыда взаимныхъ признаній. Докторъ первый открылъ свое сердце. Ночная темнота и жалость къ Андрею Ильичу помогли этому.

- Все мнѣ тяжело и гадко, Осипъ Осиповичъ, отозвался тихо Бобровъ. Первое, мнѣ гадко то, что я служу на заводѣ и получаю за это большія деньги, а мнѣ это заводское дѣло противно и противно! Я считаю себя честнымъ человѣкомъ и потому прямо себя спрашиваю: «Что ты дѣлаешь? Кому ты приносишь пользу?» Я начинаю разбираться въ этихъ вопросахъ и вижу, что, благодаря моимъ трудамъ, сотня французскихъ лавочниковъ-рантье и десятокъ ловкихъ русскихъ пройдохъ со временемъ положатъ въ карманъ милліоны. А другой цѣли, другого смысла нѣтъ въ томъ трудѣ, на подготовку къ которому я убилъ лучшую половину жизни!..
- Ну, ужъ это даже смѣшно, Андрей Ильичъ, возразилъ докторъ, повернувшись въ темнотѣ лицомъ къ Боброву. Вы требуете, чтобы какіе-то буржуи прониклись интересами гуманности. Съ тѣхъ поръ, голубчикъ, какъ міръ стоитъ, все впередъ движется брюхомъ,

иначе не было и не будетъ. Но суть-то въ томъ, что вамъ наплевать на буржуевъ, потому что вы гораздо выше ихъ. Неужели съ васъ не довольно мужественнаго и гордаго сознанія, что вы толкаете впередъ, выражаясь языкомъ передовыхъ статей, «колесницу прогресса»? Чортъ возьми! Акціи пароходныхъ обществъ приносятъ колоссальные дивиденды, но развѣ это мѣшаетъ Фультону считаться благодѣтелемъ человѣчества?

- Ахъ, докторъ, докторъ! Бобровъ досадливо поморщился. Вы не были, кажется, сегодня у Зиненокъ, а вашими устами вдругъ заговорила ихъ житейская мудрость. Слава Богу, мнѣ не придется ходить далеко за возраженіями, потому что я сейчасъ разобью васъ вашей же возлюбленной теоріей.
- То-есть какой это теоріей?.. Позвольте... я что-то не помню никакой теоріи... право, голубчикъ, не помню... забылъ что-то...
- Забыли? А кто здѣсь же, на этомъ самомъ диванъ, съ пъной у рта кричалъ, что мы инженеры и изобрътатели, своими открытіями ускоряемъ пульсъ общественной жизни до горячечной скорости? Кто сравнивалъ эту жизнь съ состояніемъ животнаго, заключеннаго въ банку съ кислородомъ? О, я отлично помню, какой страшный перечень дътей двадцатаго въка, неврастениковъ, сумасшедшихъ, переутомленныхъ, самоубійцъ, кидали вы въ глаза этимъ самымъ благодътелямъ рода человъческаго. Телеграфъ, телефонъ, стодвадцативерстные поъзда, говорили вы, сократили разстояніе до тіпітита, — уничтожили его... Время вздорожало до того, что скоро начнутъ ночь превращать въ день, ибо уже чувствуется потребность въ такой удвоенной жизни. Сдълка, требовавшая раньше цълыхъ мѣсяцевъ, теперь оканчивается въ пять минутъ. Но ужъ и эта чертовская скорость не удовлетворяетъ нашему нетерпѣнію... Скоро мы будемъ видѣть другъ друга

по проволокъ на разстояніи сотенъ и тысячъ верстъ!. А между тъмъ всего пятьдесятъ лътъ тому назадъ наши предки, собираясь изъ деревни въ губернію, не спъща, служили молебенъ и пускались въ путь съ запасомъ достаточнымъ для полярной экспедиціи... И мы несемся, сломя голову, впередъ и впередъ, оглушенные грохотомъ и трескомъ чудовищныхъ машинъ, одуръвшіе отъ этой бъшеной скачки, съ раздраженными нервами, извращенными вкусами и тысячами новыхъ бользней... Помните, докторъ? Все это ваши собственныя слова, поборникъ благодътельнаго прогресса!

Докторъ, уже нѣсколько разъ тщетно пытавшійся возразить, вопользовался минутной передышкой Боброва.

— Ну да, ну да, голубчикъ, все это я говорилъ, заторопился онъ не совсъмъ однако увъренно. — Я и теперь это утверждаю. Но надо же, голубчикъ, такъ сказать, приспособляться. Какъ же жить-то иначе? Во всякой профессіи есть эти скользкіе пунктики. Воть, взять хоть насъ, напримъръ, докторовъ... Вы думаете, у насъ все это такъ ясно и хорошо, какъ въ книжечкъ? Да вѣдь мы дальше хирургіи нич-чего ровнешенько не знаемъ навърняка. Мы выдумываемъ новыя лъкарства и системы, но совершенно забываемъ, что изъ тысячи организмовъ нътъ двухъ, хоть сколько-нибудь похожихъ составомъ крови, дъятельностью сердца, условіями наслѣдственности и чортъ знаетъ чѣмъ еще! Мы удалились отъ единаго върнаго терапевтическаго пути — отъ медицины звърей и знахарокъ, мы наводнили фармакопею разными кокаинами, атропинами, фенацетинами, но мы упустили изъ виду, что если простому человъку дать чистой воды, да увърить его хорошенько, что это сильное лъкарство, то простой человъкъ выздоровѣетъ. А между тѣмъ въ девяноста случаяхъ изъ ста въ нашей практикъ помогаетъ только эта увъренность, внушаемая нашимъ профессіональнымъ жреческимъ апломбомъ. Повърите ли? Одинъ хорошій врачъ, и въ то же время умный и честный человъкъ, признавался мнѣ, что охотники лѣчатъ собакъ гораздо раціональнѣе, чѣмъ мы людей. Тамъ одно средство — сърный цвѣтъ, — вреда особеннаго онъ не принесетъ, а иногда все-таки и помогаетъ... Не правда ли, голубчикъ, пріятная картинка? А однако и мы дѣлаемъ, что можемъ... Нельзя, мой дорогой, иначе: жизнъ требуетъ компромиссовъ... Иной разъ, хоть своимъ видомъ всезнающаго авгура, а все-таки облегчишь страданія ближняго. И на томъ спасибо.

- Да, компромиссы компромиссами, возразилъ мрачнымъ тономъ Бобровъ: — а однако вы у масальскаго каменщика кости изъ черепа-то сегодня извлекли...
- Ахъ, голубчикъ, что значитъ одинъ исправленный черепъ? Подумайте-ка, сколько ртовъ вы кормите и сколькимъ рукамъ даете работу. Еще въ исторіи Иловайскаго сказано, что «царь Борисъ, желая снискать расположеніе народныхъ массъ, предпринималъ въ голодные годы постройку общественныхъ зданій». Чтото въ этомъ родъ... Вотъ вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы...

При послъднихъ словахъ Боброва точно подбросило на кровати, и онъ быстро усълся на ней, свъсивъвнизъ голыя ноги.

— Пользы!? — закричалъ онъ изступленно. — Вы мнъ говорите о пользъ? Въ такомъ случаъ, ужъ если подводить итоги пользъ и вреду, то, позвольте, я вамъ приведу маленькую страничку изъ статистики. — И онъ началъ мърнымъ и ръзкимъ тономъ, какъ будто бы говорилъ съ кафедры: — Давно извъстно, что работа въ рудникахъ, шахтахъ, на металлическихъ заводахъ и на большихъ фабрикахъ сокращаетъ жизнь рабочаго

приблизительно на цълую четверть. Я не говорю уже о несчастныхъ случаяхъ или непосильномъ трудъ. Вамъ, какъ врачу, гораздо лучше моего извъстно, какой процентъ приходится на долю сифилиса, пьянства и чудовишныхъ условій прозябанія въ этихъ проклятыхъ баракахъ и землянкахъ... Постойте, докторъ, прежде чъмъ возражать, вспомните, много ли вы видъли на фабрикъ рабочихъ старъе 40-45 лътъ? Я положительно не встръчалъ. Иными словами, это значитъ, что рабочій отдаетъ предпринимателю три мъсяца своей жизни въ годъ, недълю — въ мъсяцъ, или, короче, шесть часовъ въ день... Теперь слушайте дальше... У насъ, при шести домнахъ, будетъ занято до 30,000 человъкъ царю Борису, върно, и не снились такія цифры! Тридцать тысячъ человъкъ, которые всъ вмъстъ, такъ сказать, сжигаютъ въ сутки 180.000 часовъ своей собственной жизни, то-есть семь съ половиной тысячъ дней, то-есть наконецъ, сколько же это будетъ лътъ?

- Около двадцати лѣтъ, подсказалъ послѣ небольшого молчанія докторъ.
- Около двадцати лѣтъ въ сутки! закричалъ Бобровъ. Двое сутокъ работы пожираютъ цѣлаго человѣка. Чортъ возьми! Вы помните изъ Библіи, что какіе-то тамъ ассиріяне или моавитяне приносили свонмъ богамъ человѣческія жертвы? Но вѣдь эти мѣдные господа, Молохъ и Дагонъ, покраснѣли бы отъ стыда и отъ обиды передъ тѣми цифрами, что я сейчасъ привелъ...

Эта своеобразная математика только-что пришла въ голову Боброву (онъ, какъ и многіе очень впечатлительные люди, находилъ новыя мысли только среди разговора). Тѣмъ не менѣе и его самого и Гольдберга поразила оригинальность вычисленія.

- Чортъ возьми, вы меня ошеломили, отозвался съ дивана докторъ. Хотя цифры могутъ быть и не совсъмъ точными...
- А извъстна ли вамъ, продолжалъ съ еще большей горячностью Бобровъ: извъстна ли вамъ другая статистическая таблица, по которой вы съ чертовской точностью можете вычислить, во сколько человъческихъ жизней обойдется каждый шагъ впередъ вашей дьявольской колесницы, каждое изобрътеніе какой-нибудь поганой въялки, съялки или рельсопрокатки? Хороша, нечего сказать, ваша цивилизація, если ея плоды исчисляются цифрами, гдъ въ видъ единицы стоитъ желъзная машина, а въ видъ нулей цълый рядъ человъческихъ существованій!
- Но, послушайте, голубчикъ вы мой, возразилъ докторъ, сбитый съ толку пылкостью Боброва: тогда, по-вашему, лучше будетъ возвратиться къ первобытному труду, что ли? Зачъмъ же вы все черныя стороны берете? Въдь вотъ у насъ, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводъ, и церковь, и больница хорошая, и общество дешеваго кредита для рабочихъ...

Бобровъ совсѣмъ вскочилъ съ постели и босой забѣгалъ по комнатъ.

- И больница ваша и школа все это пустяки! Цаца дътская для такихъ гуманистовъ, какъ вы, уступка общественному мнънію... Если хотите, я вамъ скажу, какъ мы на самомъ дълъ смотримъ... Вы знаете, что такое финишъ?
- Финишъ? Это что-то лошадиное, кажется? Чтото такое на скачкахъ?
- Да, на скачкахъ. Финишемъ называются послѣднія сто саженъ передъ верстовымъ столбомъ. Лошадь должна ихъ проскакать съ наибольшей скоростью, за столбомъ она можетъ хоть издохнуть. Финишъ это полнѣйшее, максимальное напряженіе силъ, и, чтобы

выжать изъ лошади финишъ, ее истязаютъ хлыстомъ до крови... Такъ вотъ и мы. А когда финишъ выжатъ и кляча упала съ переломленной спиной и разбитыми ногами — къ чорту ее, она больше никуда не годится! Вотъ тогда и извольте утѣшать павшую на финишъ клячу вашими школами да больницами... Вы видъли ли когда-нибудь, докторъ, литейное и прокатное дъло? Если видъли, то вы должны знать, что оно требуетъ адской кръпости нервовъ, стальныхъ мускуловъ и ловкости цирковаго артиста... Вы должны знать, что каждый мастеръ нъсколько разъ въ день избъгаетъ смертельной опасности только благодаря удивительному присутствію духа... И сколько за этотъ трудъ рабочій получаетъ, хотите вы знать?

- А все-таки, пока стоитъ заводъ, трудъ этого рабочаго обезпеченъ, сказалъ упрямо Гольдбергъ.
- Докторъ, не говорите наивныхъ вещей! воскликнулъ Бобровъ, садясь на подоконникъ. — Теперь рабочій болъе чъмъ когда-либо зависить отъ рыночнаго спроса, отъ биржевой игры, отъ разныхъ закулисныхъ интригъ. Каждое громадное предпріятіе, прежде чъмъ оно пойдетъ въ ходъ, насчитываетъ трехъ или четырехъ покойниковъ-патроновъ. Вамъ извъстно, какъ создалось наше общество? Его основала за наличныя деньги небольшая компанія капиталистовъ. Дізло предполагалось устроить сначала въ небольшихъ размърахъ. Но цѣлая банда инженеровъ, директоровъ и подрядчиковъ ухнула капиталъ такъ скоро, что предприниматели не успъли и оглянуться. Возводились громадныя постройки, которыя потомъ оказывались негодными... Капитальныя зданія шли, какъ у насъ говорять, «на мясо», тоесть рвались динамитомъ. И когда въ концѣ концовъ предпріятіе пошло по 10 коп. за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь дъйствовала по заранъе обдуманной системъ и получала за свой под-

лый образъ дъйствій опредъленное жалованье отъ другой, болъе богатой и ловкой компаніи. Теперь дъло идетъ въ гораздо большихъ размърахъ, но мнъ хорошо извъстно, что при крахъ перваго покойника 800 рабочихъ не получили двухмъсячнаго жалованья. Вотъ вамъ и обезпеченный трудъ! Да стоитъ только акціямъ упасть на биржъ, какъ это сейчасъ же отражается на заработной платъ. А вамъ, я думаю, извъстно, какъ поднимаются и падаютъ на биржъ акціи? Для этого нужно мнъ пріъхать въ Петербургъ — шепнуть маклеру, что вотъ, молъ, хочу я продать тысячъ на триста акцій, «только, молъ, ради Бога, это между нами, ужъ лучше я вамъ заплачу хорошій куртажъ, только молчите»... Потомъ другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акціи мгновенно падаютъ на нъсколько десятковъ рублей. И чемъ больше секретъ, тъмъ скоръе и върнъе упадутъ акціи... Хороша обезпеченность!...

Сильнымъ движеніемъ руки Бобровъ разомъ распахнулъ окно. Въ комнату ворвался холодный воздухъ. — Посмотрите, посмотрите сюда, докторъ! крикнулъ Андрей Ильичъ, показывая пальцемъ по направленію завода.

Гольдбергъ приподнялся на локтъ и устремилъ глаза въ ночную темноту, глядъвшую изъ окна. На всемъ громадномъ пространствъ, разстилавшемся вдали, рдъли разбросанныя въ безчисленномъ множествъ кучи раскаленнаго известняка, на поверхности которыхъ то и дъло вспыхивали голубоватые и зеленые сърные огни... Это горъли известковыя печи *). Надъ заво-

^{*)} Известковыя печи устраиваются такимъ образомъ: складывается изъ известковаго камня холмъ; величиною съ человъческій ростъ, и разжигается дровами или каменнымъ углемъ. Этотъ колмъ раскаляется около недъли, до тъхъ поръ, пока изъ камня не образуется негашеная известь.

домъ стояло огромное красное колеблющееся зарево. На его кровавомъ фонъ стройно и четко рисовались темныя верхушки высокихъ трубъ, между тъмъ какъ нижнія части ихъ расплывались въ съромъ туманъ, шедшемъ отъ земли. Разверстыя пасти этихъ великановъ безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смѣшивались въ одну сплошную, хаотическую, мелленно ползущую на востокъ тучу, мъстами бълую, какъ комья ваты, мъстами грязно-сърую, мъстами желтоватаго цвъта желъзной ржавчины. Надъ тонкими, длинными дымоотводами, придавая имъ видъ исполинскихъ факеловъ, трепетали и метались яркіе снопы горящаго газа. Отъ ихъ невърнаго отблеска нависшая надъ заводомъ дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала странные и грозные оттънки. Время отъ времени, когда, по рѣзкому звону сигнальнаго молотка, опускался внизъ колпакъ доменной печи, изъ ея устья съ ревомъ, подобнымъ отдаленному грому, вырывалась къ самому небу цѣлая буря пламени и копоти. Тогда на нѣсколько мгновеній весь заводъ рѣзко и страшно выступаль изъ мрака, а тъсный рядъ черныхъ круглыхъ кауперовъ казался башнями легендарнаго желъзнаго замка. Огни коксовыхъ печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда одинъ изъ нихъ вдругъ вспыхивалъ и разгорался, точно огромный красный глазъ. Электрическіе огни примъшивали къ пурпуровому свъту раскаленнаго жельза свой голубоватый мертвый блескъ... Несмолкаемый лязгъ и грохотъ желъза несся оттуда.

Отъ зарева заводскихъ огней лицо Боброва приняло въ темнотъ зловъщій мъдный оттънокъ, въ глазахъ блестъли яркіе красные блики, спутавшіеся волосы упали безпорядочно на лобъ. И голосъ его звучалъ пронзительно и злобно.

— Вотъ онъ, — Молохъ, требующій теплой человіческой крови! — кричалъ Бобровъ, простирая въ

окно свою тонкую руку. — О, конечно, здѣсь прогрессъ, машинный трудъ, успѣхи культуры... Но подумайте же, ради Бога, — двадцать лѣтъ! Двадцать лѣтъ человѣческой жизни въ сутки!.. Клянусь вамъ, — бываютъ минуты, когда я чувствую себя убійцей!..

«Господи! Да въдь онъ — сумасшедшій», — подумалъ докторъ, у котораго по спинъ забъгали мурашки, и онъ принялся успокаивать Боброва.

— Голубчикъ, Андрей Ильичъ, да оставьте же, мой милый, ну что за охота изъ-за глупостей разстрачиваться. Смотрите, окно раскрыто, а на дворъ сырость... Ложитесь, да нате-ка вамъ бромку. «Маніакъ, совершенный маніакъ», — думалъ онъ, охваченный одновременно жалостью и страхомъ.

Бобровъ слабо сопротивлялся, обезсиленный только-что миновавшей вспышкой. Но когда онъ легъ въ постель, то внезапно разразился истерическими рыданіями. И долго докторъ сидѣлъ возлѣ него, гладя его по головѣ какъ ребенка и говоря ему первыя попавшіяся ласковыя, успокоительныя слова.

VI.

На другой день состоялась торжественная встрѣча Василія Терентьевича Квашнина на станціи Иванково. Ужъ къ одиннадцати часамъ все заводское управленіе съѣхалось туда. Кажется, никто не чувствовалъ себя спокойнымъ. Директоръ — Сергѣй Валерьяновичъ Шелковниковъ — пилъ стаканъ за стаканомъ сельтерскую воду, поминутно вытаскивалъ часы и, не успѣвъ взглянуть на циферблатъ, тотчасъ же машинально пря-

талъ ихъ въ карманъ. Только это разсъянное движеніе и выдавало его безпокойство. Лицо же директора красивое, холеное, самоувъренное лицо свътскаго человъка — оставалось неподвижнымъ. Лишь весьма немногіе знали, что Шелковниковъ только офиціально, такъ сказать, на бумагъ, числился директоромъ постройки. Всъми дълами, въ сущности, ворочалъ бельгійскій инженеръ Андреа, полу-полякъ, полу-шведъ по національности, роли котораго на завод в никакъ не могли понять непосвященные. Кабинеты обоихъ директоровъ были расположены рядомъ и соединены дверью. Шелковниковъ не смълъ положить резолюціи ни на одной важной бумагъ, не справившись сначала съ условнымъ знакомъ, сдъланнымъ карандашомъ гдъ-нибудь на уголкъ страницы рукою Андреа. Въ экстренныхъ же случаяхъ, исключавшихъ возможность совъщанія, Шелковниковъ принималъ озабоченный видъ и говорилъ просителю небрежнымъ тономъ:

— Извините... положительно не могу удълить вамъ ни минуты... заваленъ по горло... Будьте добры изъяснить ваше дъло господину Андреа, а онъ мнъ потомъ изложитъ его отдъльной запиской.

Заслуги Андреа передъ правленіемъ были неисчислимы. Изъ его головы цъликомъ вышелъ геніальномошенническій проектъ разоренія первой компаніи предпринимателей, и его же твердая, но незримая рука довела интригу до конца. Его проекты, отличавшіеся изумительной простотой и стройностью, считались въ то же время послѣднимъ словомъ горнозаводской науки. Онъ владѣлъ всѣми европейскими языками и — рѣдкое явленіе среди инженеровъ — обладалъ, кромѣ своей спеціальности, самыми разнообразными знаніями.

Изо всѣхъ, собравшихся на станціи, только одинъ этотъ человѣкъ, съ чахоточной фигурой и лицомъ старой обезьяны, сохранялъ свою обычную невозмутимость.

Онъ пріѣхаль позднѣе всѣхъ и теперь медленно ходилъ взадъ и впередъ по платформѣ, засунувъ руки по локоть въ карманы широкихъ, обвисшихъ брюкъ и пожевывая свою вѣчную сигару. Его свѣтлые глаза, за которыми чувствовался большой умъ ученаго и сильная воля авантюриста, какъ и всегда, неподвижно и равнодушно глядѣли изъ-подъ опухшихъ, усталыхъ вѣкъ.

Прівзду семейства Зиненокъ никто не удивился. Ихъ почему-то всв давно привыкли считать неотъемлемой принадлежностью заводской жизни. Дѣвицы внесли съ собой въ мрачную залу станціи, гдѣ было и холодно и скучно, свое натянутое оживленіе и ненатуральный хохотъ. Ихъ окружили утомившієся долгимъ ожиданіємъ инженеры помоложе. Дѣвицы, тотчасъ же принявъ обычное оборонительное положеніе, стали сыпать налѣво и направо милыми, но давно всѣмъ наскучившими наивностями. Среди своихъ суетившихся дочерей Анна Афанасьевна, маленькая, подвижная, суетливая, казалась безпокойной насѣдкой.

Бобровъ, усталый, почти больной послѣ вчерашней вспышки, сидѣлъ одиноко въ углу станціонной залы и очень много курилъ. Когда вошло и съ громкимъ щебетаніемъ разсѣлось у круглаго стола семейство Зиненокъ, Андрей Ильичъ испыталъ одновременно два весьма смутныхъ чувства. Съ одной строны, ему стало стыдно за безтактный, какъ онъ думалъ, пріѣздъ этого семейства, стало стыдно жгучимъ, удручающимъ с тыд омъ за другого. Съ другой стороны, онъ обрадовался, увидѣвъ Нину, разрумяненную быстрой ѣздой, съ возбужденными, блестящими глазами, очень мило одѣтую и, какъ всегда это бываетъ, гораздо красивѣе, чѣмъ ее рисовало ему воображеніе. Въ его больной, издерганной душѣ вдругъ зажглось нестерпимое жела-

ніе нѣжной, благоухающей, дѣвической любви, жажда привычной и успокоительной женской ласки.

Онъ искалъ случая подойти къ Нинѣ, но она все время была занята болтовней съ двумя горными студентами, которые наперерывъ старались ее разсмѣшить. И она смѣялась, сверкая мелкими бѣлыми зубами, болѣе кокетливая и веселая, чѣмъ когда-либо. Однако два или три раза она встрѣтилась глазами съ Бобровымъ, и ему почудился въ ея слегка приподнятыхъ бровяхъмолчаливый, но не враждебный вопросъ.

На платформъ раздался продолжительный звонокъ, возвъщавшій отходъ поъзда съ ближайшей станціи. Между инженерами произошло смятеніе. Андрей Ильичъ наблюдалъ изъ своего угла съ насмъшкой на губахъ, какъ одна и та же трусливая мысль мгновенно овладъла этими двадцатью слишкомъ человъками, какъ ихъ лица вдругъ стали серьезными и озабоченными, руки невольнымъ быстрымъ движеніемъ прошлись по пуговицамъ сюртуковъ, по галстукамъ и фуражкамъ, глаза обратились въ сторону звонка. Скоро въ залъ никого не осталось.

Андрей Ильичъ вышелъ на платформу. Барышни, покинутыя занимавшими ихъ мужчинами, безпомощно толпились около дверей, вокругъ Анны Аванасьевны. Нина обернулась на пристальный, упорный взглядъ Боброва и, точно угадывая его желаніе поговорить съ нею наединѣ, пошла ему навстрѣчу.

- Здравствуйте. Что вы такой блѣдный сегодня? Вы больны? спросила она, крѣпко и нѣжно пожимая его руку и заглядывая ему въ глаза серьезно и ласково. Почему вы вчера такъ рано уѣхали и даже не хотѣли проститься? Разсердились на что-нибудь?
- И да и нътъ, отвътилъ Бобровъ, улыбаясь. Нътъ, потому что я не имъю никакого права сердиться.

- Положимъ, всякій человѣкъ имѣетъ право сердиться. Особенно, если знаетъ, что его мнѣніемъ дорожатъ. А почему же да?
- Потому что... Видите ли, Нина Григорьевна, сказалъ Бобровъ, почувствовалъ внезапный приливъ смѣлости. Вчера, когда мы съ вами сидѣли на балконѣ, помните? я, благодаря вамъ, пережилъ нѣсколько чудныхъ мгновеній. И я понялъ, что вы, если бы захотѣли, то могли бы сдѣлать меня самымъ счастливымъ человѣкомъ въ мірѣ... Ахъ, да что же я боюсь и медлю. Вѣдь вы знаете, вы догадались, вѣдь вы давно знаете, что я...

Онъ не договорилъ... Нахлынувшая на него смълость вдругъ исчезла.

— Что вы... что такое? — переспросила Нина съ притворнымъ равнодушіемъ, однако голосомъ, внезапно, противъ ея воли, задрожавшимъ, и опуская глаза въ землю.

Она ждала признанія въ любви, которое всегда такъ сильно и пріятно волнуетъ сердца молодыхъ дѣвушекъ, все равно, отвѣчаетъ ли ихъ сердце взаимностью на это признаніе или нѣтъ. Ея щеки слегка поблѣднѣли.

- Не теперь... потомъ, когда-нибудь, замялся Бобровъ. Когда-нибудь, при другой обстановкъ я вамъ это скажу... Ради Бога, не теперь, добавилъ онъ умоляюще.
- Hy, хорошо. Все-таки, почему же вы разсердились?
- Потому что послѣ этихъ нѣсколькихъ минутъ я вошелъ въ столовую въ самомъ, ну какъ бы это сказать, въ самомъ растроганномъ состояніи... И когда я вошелъ...
- То васъ непріятно поразилъ разговоръ о доходахъ Квашнина? — догадалась Нина съ той внезапной, инстинктивной проницательностью, которая

иногда осъняетъ даже самыхъ недалекихъ женщинъ. — Да? Я угадала? — Она повернулась къ нему и опять обдала его глубокимъ, ласкающимъ взоромъ. — Ну, говорите откровенно. Вы ничего не должны скрывать отъ своего друга.

Когда-то, мѣсяца три или четыре тому назадъ, во время катанья по рѣкѣ большимъ обществомъ, Нина, возбужденная и разнѣженная красотой теплой лѣтней ночи, предложила Боброву свою дружбу на вѣки вѣчные, — онъ принялъ этотъ вызовъ очень серьезно и въ продолженіе цѣлой недѣли называлъ ее своимъ другомъ, такъ же, какъ и она его. И когда она говорила ему медленно и значительно со своимъ обычнымъ томнымъ видомъ: «мой другъ», то эти два коротенькихъ слова заставляли его сердце биться крѣпко и сладко. Теперь онъ вспомнилъ эту штуку и отвѣчалъ со вздохомъ:

- Хорошо, «мой другъ», я вамъ буду говорить правду, хотя мнѣ это немного тяжело. По отношенію къ вамъ я вѣчно нахожусь въ какой-то мучительной двойственности. Бываютъ минуты въ нашихъ разговорахъ, когда вы однимъ словомъ, однимъ жестомъ, даже однимъ взглядомъ вдругъ сдѣлаете меня такимъ счастливымъ!.. Ахъ, развѣ можно передать такія ощущенія словами?.. Скажите только, замѣчали ли вы это?
- Замъчала, отозвалась она почти шопотомъ и низко, съ лукавой дрожью въ ръсницахъ, опустила глаза.
- А потомъ... потомъ вдругъ, тотчасъ же, на моихъ глазахъ вы превращались въ провинціальную барышню, съ шаблоннымъ обиходомъ фразъ и съ какой-то заученной манерностью во всъхъ поступкахъ... Не сердитесь на меня за откровенность... Если бы это не мучило меня такъ страшно, я не говорилъ бы...

[—] Я и это тоже замътила...

— Ну, вотъ видите. . Я вѣдь всегда былъ увѣренъ, что у васъ отзывчивая, нѣжная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, какъ теперь?

Она опять повернулась къ Боброву и даже сдълала рукой такое движеніе, какъ будто бы хотъла прикоснуться къ его рукъ. Они въ это время ходили взадъ и впередъ по свободному концу платформы.

— Вы не хотъли никогда меня понять, Андрей Ильичъ, — сказала она съ упрекомъ. — Вы нервны и нетерпъливы. Вы преувеличиваете все, что во мнт есть хорошаго, но зато не прощаете мнт того, что я не могу же быть иной въ той средт, гдт я живу. Это было бы смъшно, это внесло бы въ нашу семью несогласіе. Я слишкомъ слаба и, надо правду сказать, слишкомъ ничтожна для борьбы и для самостоятельности... Я иду туда, куда идутъ вст, гляжу на вещи и сужу о нихъ, какъ вст. И вы не думайте, чтобы я не сознавала своей обыденности... Но я съ другими не чувствую ея тяжести, а съ вами... Съ вами я всякую мтру теряю, потому что... — она запнулась: — ну, да все равно... потому что вы совстмъ другой, потому что такого, какъ вы, человтка я никогда еще въ жизни не встртчала.

Ей казалось, что она говоритъ искренно. Бодрящая свъжесть осенняго воздуха, вокзальная суета, сознаніе своей красоты, удовольствіе чувствовать на себъ влюбленный взглядъ Боброва — все это наэлектризовало ее до того состоянія, въ которомъ истеричныя натуры лгутъ такъ вдохновенно, такъ плънительно и такъ незамътно для самихъ себя. Съ наслажденіемъ любуясь собой въ новой роли дъвицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву пріятное.

— Я знаю, что вы меня считаете кокеткой... Пожалуйста, не оправдывайтесь... И согласна, я даю поводъ такъ думать... Напримъръ, я смъюсь и болтаю часто съ Миллеромъ. Но если бы вы знали, какъ мнѣ противенъ этотъ вербный херувимъ! Или эти два студента... Красивый мужчина уже по тому одному непріятенъ, что вѣчно собой любуется... Повѣрите ли, хотя это, можетъ-быть и странно, но мнѣ всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины.

При этой милой фразѣ, произнесенной самымъ нѣжнымъ тономъ, Бобровъ грустно вздохнулъ. Увы! Онъ уже не разъ изъ женскихъ устъ слышалъ это жестокое утѣшеніе, въ которомъ женщины никогда не отказываютъ своимъ некрасивымъ поклонникамъ.

— Значитъ, и я могу надъяться заслужить когданибудь вашу симпатію? — спросилъ онъ шутливымъ тономъ, въ которомъ однако явственно прозвучала горечь насмъшки надъ самимъ собой.

Нина быстро спохватилась.

— Ну вотъ, какой вы, право. Съ вами нельзя разговаривать... Зачъмъ вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!..

Она сама немного сконфузилась своей неловкости и, чтобы перемънить разговоръ, спросила съ игривой повелительностью:

- Ну-съ, что же вы это собирались мнъ сказать при другой обстановкъ? Извольте немедленно отвъчать!
- Я не знаю... не помню, замялся расхоложенный Бобровъ.
- Я вамъ напомню, мой скрытный другъ. Вы начали говорить о вчерашнемъ днѣ, потомъ о какихъ-то прекрасныхъ мгновеніяхъ, потомъ сказали, что я, навърно, давно уже замътила... но что? Вы этого не докончили... Извольте же говорить теперь. Я требую этого, слышите!..

Она глядъла на него глазами, въ которыхъ сіяла улыбка — лукавая, и объщающая, и нъжная въ одно и то же время... Сердце Боброва сладко замерло въ

груди, и онъ почувствовалъ опять приливъ прежней отваги. «Она знаетъ, она сама хочетъ, чтобы я говорилъ», — подумалъ онъ, собираясь съ духомъ.

Они остановились на самомъ краю платформы, гдъ совсъмъ не было публики. Оба были взволнованы. Нина ждала отвъта, наслаждаясь остротой затъянной ею игры, Бобровъ искалъ словъ, тяжело дышалъ и волновался. Но въ это время послышались ръзкіе звуки сигнальныхъ рожковъ, и на станціи поднялась суматоха.

— Такъ слышите же... Я жду, — шепнула Нина, быстро отходя отъ Боброва. — Для меня это гораздо важнѣе, чѣмъ вы думаете...

Изъ-за поворота желѣзной дороги выскочилъ окутанный чернымъ дымомъ курьерскій поъздъ. Черезъ нъсколько минутъ, громыхая на стрълкахъ, онъ плавно и быстро замедлилъ ходъ и остановился у платформы... На самомъ концъ его былъ прицъпленъ длинный, блестящій свѣжей синей краской служебный вагонъ, къ которому устремились всв встрвчающіе. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона; изъ нея тотчасъ же выскочила, съ шумомъ развертываясь, складная лъстница. Начальникъ станціи, красный отъ волненія и бъготни, съ перепуганнымъ лицомъ торопилъ рабочихъ съ отцъпкой служебнаго вагона. Квашнинъ былъ однимъ изъ главныхъ акціонеровъ N—ской жельзной дороги и ъздилъ по ея вътвямъ съ почетомъ, какого не всегда удостоивалось даже самое высшее желъзнодорожное начальство.

Въ вагонъ вошли только Шелковниковъ, Андреа и двое вліятельныхъ инженеровъ-бельгійцевъ. Квашнинъ сидѣлъ въ креслѣ, разставивъ свои колоссальныя ноги и выпятивъ впередъ животъ. На немъ была круглая фетровая шляпа, изъ-подъ которой сіяли огненные волосы; бритое, какъ у актера, лицо съ обвисшими щеками

и тройнымъ подбородкомъ, испещренное крупными веснушками, казалось заспаннымъ и недовольнымъ, губы складывались въ презрительную, кислую гримасу.

При видъ инженеровъ онъ съ усиліемъ приподнялся.

— Здравствуйте, господа, — сказалъ онъ сиплымъ басомъ, протягивая имъ поочередно для почтительныхъ прикосновеній свою огромную пухлую руку. — Ну-съ, какъ у васъ на заводѣ?

Шелковниковъ началъ докладывать языкомъ служебной бумаги. На заводъ все благополучно. Ждутъ только пріъзда Василія Терентьевича, чтобы въ его присутствіи пустить доменную печь и сдълать закладку новыхъ зданій... Рабочіе и мастера наняты по хорошимъ цънамъ. Наплывъ заказовъ такъ великъ, что побуждаетъ какъ можно скоръе приступить къ работамъ.

Квашнинъ слушалъ, отворотясь лицомъ къ окну, и разсѣянно разглядывалъ собравшуюся у служебнаго вагона толпу. Лицо его ничего не выражало, кромѣ брезгливаго утомленія.

Вдругъ онъ прервалъ директора неожиданнымъ вопросомъ:

- Э... па... послушайте... Кто эта дъвочка? Шелковниковъ заглянулъ въ окно.
- Ну, вотъ эта... съ желтымъ перомъ на шляпѣ, нетерпѣливо показалъ пальцемъ Квашнинъ.
- Ахъ, эта? .встрепенулся директоръ и, наклонившись къ уху Квашнина, прошепталъ таинственно по-французски: Это дочь нашего завъдующаго складомъ. Его фамилія Зиненко.

Квашнинъ грузно кивнулъ головой. Шелковниковъ продолжалъ свой докладъ, но принципалъ опять перебилъ его:

- Зиненко... протянулъ онъ задумчиво и не отрываясь отъ окна. —Зиненко... кто же такой этотъ Зиненко?.. Гдѣ я эту фамилію слышалъ?.. Зиненко...?
- Онъ у насъ завъдуетъ складомъ, почтительно и умышленно безстрастно повторилъ Шелковниковъ.
- Ахъ, вспомнилъ! догадался вдругъ Василій Терентьевичъ. Мнѣ о немъ въ Петербургѣ говорили... Ну-съ, продолжайте, пожалуйста.

Нина безошибочнымъ женскимъ чутьемъ поняла, что именно на нее смотритъ Квашнинъ и о ней говоритъ въ настоящую минуту. Она немного отвернулась, но лицо ея, разрумянившееся отъ кокетливаго удовольствія, все-таки было, со всѣми своими хорошенькими родинками, видно Василію Терентьевичу.

Наконецъ докладъ окончился, и Квашнинъ вышелъ на площадку, устроенную въ видъ просторнаго стекляннаго павильона сзади вагона.

Это былъ моментъ, для увъковъченія котораго, какъ подумалъ Бобровъ, не хватало только хорошаго фотографическаго аппарата. Квашнинъ почему-то медлилъ сходить внизъ и стоялъ за стеклянной стѣной, возвышаясь своей массивной фигурой надъ тъснящейся около вагона группой, съ широко разставленными ногами и брезгливой миной на лицъ, похожій на японскаго идола грубой работы. Эта неподвижность патрона, очевидно, коробила встръчающихъ: на ихъ губахъ застыли, сморщивъ ихъ, заранъе приготовленныя улыбки, между тъмъ какъ глаза, устремленные вверхъ, смотръли на Квашнина съ подобострастіемъ, почти съ испугомъ. По сторонамъ дверцы застыли въ солдатскихъ позахъ молодцоватые кондукторы. Заглянувъ случайно въ лицо опередившей его Нины, Бобровъ съ горечью замѣтилъ и на ея лицъ ту же улыбку и тотъ же тревожный страхъ дикаря, взирающаго на своего идола.

«Неужели же здѣсь только безкорыстное, почтительное изумленіе передъ тремястами тысячами годового дохода? — подумалъ Андрей Ильичъ. — Что же заставляетъ всѣхъ этихъ людей такъ униженно вилять хвостомъ передъ человѣкомъ, который даже и не взглянетъ на нихъ никогда внимательно? Или здѣсь есть какой-нибудь недоступный пониманію психологическій законъ подобострастія?»

Постоявъ немного, Квашнинъ рѣшился двинуться и, предшествуемый своимъ животомъ, поддерживаемый бережно подъ руки поѣздной прислугой, спустился по ступенямъ на платформу.

На почтительные поклоны быстро разступившейся передъ нимъ вправо и влѣво толпы онъ небрежно кивнулъ головой, выпятивъ впередъ толстую нижнюю губу, и сказалъ гнусаво:

- Господа, вы свободны до завтрашняго дня.

Не дойдя до подъѣзда, онъ знакомъ подозвалъ къ себѣ директора.

- Такъ вы, Сергъй Валерьяновичъ, представьте мнъ его, сказалъ онъ вполголоса.
- Зиненку? предупредительно догадался Шелковниковъ.
- Ну да, чортъ возьми! внезапно раздражаясь, буркнулъ Квашнинъ. Только не здѣсь, не здѣсь, остановилъ онъ за рукавъ устремившагося-было директора. Когда я буду на заводѣ...

VII.

Закладка каменныхъ работъ и открытіе кампаніи новой домны произошли черезъ четыре дня послъ прівзда Квашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти событія съ возможно большимъ торжествомъ, почему на сосъдніе металлургическіе заводы: Крутогорскій, Воронинскій и Львовскій были заранъе разосланы печатныя приглашенія.

Вслѣдъ за Василіемъ Терентьевичемъ изъ Петербурга прибыли еще два члена правленія, четверо бельгійскихъ инженеровъ и нѣсколько крупныхъ акціонеровъ. Между заводскими служащами носились слухи, будто бы правленіе ассигновало на устройство параднаго обѣда около двухъ тысячъ рублей, однако эти слухи пока ничѣмъ еще не оправдались, и вся закупка винъ и припасовъ легла тяжелой данью на подрядчиковъ.

День выдался очень удачный для торжества, одинъ изъ тъхъ яркихъ, прозрачныхъ дней ранней осени, когда небо кажется такимъ густымъ, синимъ и глубокимъ, а прохладный воздухъ пахнетъ тонкимъ, кръпкимъ виномъ. Квадратныя ямы, вырытыя подъ фундаменты для новой воздуходувной машины и бессемеровой печи, были окружены въ видъ «покоя» густой толпою рабочихъ. Въ серединъ этой живой ограды, надъ самымъ краемъ ямы, возвышался простой, некрашеный столъ, покрытый бълой скатертью, на которомъ лежали крестъ и Евангеліе, рядомъ съ жестяной чашей для святой воды и кропиломъ. Священникъ, уже облаченный въ зеленую, затканую золотыми крестами ризу, стоялъ въ сторонъ, впереди пятнадцати рабочихъ, вызвавшихся быть пъвчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшіе десятники, конторщики — пестрая, оживленная группа изъ двухсотъ слишкомъ человъкъ. На насыпи помъстился фотографъ, который, накрывъ чернымъ платкомъ и себя и свой аппаратъ, давно уже возился, отыскивая удачную точку.

Черезъ десять минутъ Квашнинъ быстро подкатилъ къ площадкѣ на тройкѣ великолѣпныхъ сѣрыхъ лошадей. Онъ сидѣлъ въ коляскѣ одинъ, потому что, при всемъ желаніи, никто не могъ бы помѣститься рядомъ съ нимъ. Слѣдомъ за Квашнинымъ подъѣхало еще пять или шесть экипажей. Увидѣвъ Василія Терентьевича, рабочіе инстинктомъ узнали въ немъ «набольшаго» и тотчасъ же, какъ одинъ человѣкъ, поснимали шапки. Квашнинъ величественно прошелъ впередъ и кивнулъ головой священнику.

- Благословенъ Богъ нашъ, всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣко-овъ, раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащій, кроткій и гнусавый тенорокъ священника.
- Аминь, подхватилъ довольно стройно импровизированный хоръ.

Рабочіе — ихъ было до трехъ тысячъ человъкъ такъ же дружно, какъ кланялись Квашнину, перекрестились широкими крестами, склонили головы и потомъ, поднявъ ихъ, встряхнули волосами... Бобровъ сталъ невольно присматриваться къ нимъ. Впереди стояли двумя рядами степенные русаки-каменщики, всв до одного въ бълыхъ фартукахъ, почти всъ со льняными волосами и рыжими бородами, сзади нихъ — литейщики и кузнецы въ широкихъ темныхъ блузахъ, перенятыхъ отъ французскихъ и англійскихъ рабочихъ, съ лицами, никогда неотмываемыми отъ желъзной копоти, — между ними виднались и горбоносые профили иноземныхъ увріеровъ; сзади, изъ-за литейщиковъ, выглядывали рабочіе при известковыхъ печахъ, которыхъ издали можно было узнать по лицамъ, точно обсыпаннымъ густо мукою, и по воспаленнымъ, распухшимъ, краснымъ глазамъ...

Каждый разъ, когда хоръ громко и стройно, хотя нъсколько въ носъ, пълъ «Спаси отъ бъдъ рабы твоя,

Богородице», всѣ эти три тысячи человѣкъ съ однообразнымъ тихимъ шелестомъ творили свои усердныя крестныя знаменія и клали низкіе поклоны. Что-то стихійное, могучее и въ то же время что-то дътское и трогательное почудилось Боброву въ этой общей молитвъ сърой огромной массы. Завтра всъ рабочіе примутся за свой тяжкій, упорный, полусуточный трудъ. Почемъ знать: кому изъ нихъ уже предначертано судьбою поплатиться на этомъ трудф жизнью: сорваться съ высокихъ лѣсовъ, опалиться расплавленнымъ металломъ, быть засыпаннымъ щебнемъ или кирпичомъ? И не объ этомъ ли непреложномъ ръшеніи судьбы думаютъ они теперь, отвъшивая низкіе поклоны и встряхивая русыми кудрями, въ то время, когда хоръ проситъ Богородицу — спасти отъ бъдъ рабы своя... И на кого, какъ не на одну только Богородицу, надъяться этимъ большимъ дѣтямъ, съ мужественными и простыми сердцами, этимъ смиреннымъ воинамъ, ежедневно выходящимъ изъ своихъ промозглыхъ, настуженныхъ землянокъ на привычный подвигъ терпънія и отваги?

Такъ, или почти такъ, думалъ Бобровъ, всегда склонный къ широкимъ, поэтическимъ картинамъ, и хотя онъ давно уже отвыкъ молиться, но каждый разъ, когда дребезжащій, далекій голосъ священника смѣнялся дружнымъ возгласомъ клира, по спинѣ и по затылку Андрея Ильича пробѣгала холодная волна нервнаго возбужденія. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное въ наивной молитвѣ этихъ сѣрыхъ тружениковъ, собравшихся Богъ вѣсть откуда, изъ далекихъ губерній, оторванныхъ отъ родного, привычнаго угла для тяжелой и опасной работы...

Молебенъ кончился. Квашнинъ съ небрежнымъ видомъ бросилъ въ яму золотой, но нагнуться съ лопаточкой никакъ не могъ — это сдѣлалъ за него Шелковниковъ. Потомъ вся группа двинулась къ доменнымъ печамъ, возвышавшимся на каменныхъ фундаментахъ своими круглыми черными массивными башнями.

Пятая, вновь выстроенная домна шла, какъ говорится на техническомъ жаргонъ, «спѣлымъ ходомъ». Изъ продѣланнаго внизу ея, на аршинной высотъ, отверстія билъ широкимъ огненно-бѣлымъ клокочущимъ потокомъ расплавленный шлакъ, отъ котораго прыгали во всѣ стороны голубые сѣрные огоньки. Шлакъ стекалъ по наклонному жолобу въ котлы, подставленные къ отвѣсному краю фундамента, и застывалъ въ нихъ зеленоватой густой массой, похожей на леденецъ. Рабочіе, находившіеся на самой верхушкѣ печи, продолжали безъ отдыха забрасывать въ нее руду и каменный уголь, которые то и дѣло подымались наверхъ въ желѣзныхъ вагонеткахъ.

Священникъ окропилъ домну со всъхъ сторонъ святою водой и, боязливо торопясь, спотыкающейся, старческой походкой отошелъ въ сторону. Горновой мастеръ, жилистый, чернолицый старикъ, перекрестился и поплевалъ на руки. То же сдълали четверо его подручныхъ. Потомъ они подняли съ земли очень длинный стальной ломъ, долго раскачивали его и, одновременно крякнувъ, ударили имъ въ самый низъ печи. Ломъ звонко стукнулся въ глиняную втулку. Зрители, въ боязливонервномъ ожиданіи, зажмурили глаза; нѣкоторые подались назадъ. Рабочіе ударили въ другой разъ, потомъ въ третій, въ четвертый... и вдругъ изъ-подъ острія лома брызнуль фонтанъ нестерпимо-яркаго жидкаго металла. Тогда горновой мастеръ кругообразными движеніями лома расширилъ отверстіе, и чугунъ медленно полился по песчаной бороздкъ, принимая оттънокъ огненной охры. Цълые снопы блестящихъ крупныхъ звъздъ летъли во всъ стороны изъ отверстія печи, громко треща и исчезая въ воздухъ. Отъ этого, тихо, какъ будто лѣниво текущаго металла шелъ такой страшный жаръ, что непривычные гости все время отодвигались и закрывали щеки руками.

Отъ доменныхъ печей инженеры двинулись въ отдѣлъ воздуходувныхъ машинъ. Квашнинъ заранѣе распорядился такъ, чтобы пріѣхавшіе съ нимъ акціонеры увидѣли заводъ во всей его колоссальной величинѣ и сутолокѣ. Онъ совершенно вѣрно разсчиталъ, что эти господа, пораженные массою сильныхъ и совершенно новыхъ для нихъ впечатлѣній, будутъ потомъ разсказывать чудеса уполномочившему ихъ общему собранію. И, глубоко зная психологію дѣловыхъ людей, Василій Терентьевичъ уже считалъ дѣломъ рѣшеннымъ — новый и весьма выгодный лично для него выпускъ акцій, на который до сихъ поръ не соглашалось общее собраніе.

И акціонеры дъйствительно были поражены до головной боли, до дрожи въ ногахъ... Въ помъщеніи воздуходувныхъ машинъ они слышали, блъдные отъ волненія, какъ воздухъ, нагнетаемый четырьмя вертикальными двухсаженными поршнями въ трубу, устремлялся по нимъ съ ревомъ, заставляющимъ трястись каменныя стъны зданія. По этимъ чугуннымъ, массивнымъ, въ два обхвата шириною трубамъ воздухъ проходилъ сквозь каупера, нагръвался въ нихъ горящими газами до 600 градусовъ и оттуда уже проникалъ во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своимъ жаркимъ дуновеніемъ. Инженеръ, завъдывающій воздуходувнымъ отдъленіемъ, давалъ объясненія. И хотя онъ нагибался поочередно къ самымъ ушамъ акціонеровъ и кричалъ во весь голосъ, надсаживая грудь, но за страшнымъ гуломъ машинъ его словъ не было слышно, а казалось только, что онъ беззвучно и напряженно шевелитъ губами.

Потомъ Шелковниковъ повелъ гостей въ сарай пудлинговыхъ печей, — высокое желъзное зданіе такой длины, что съ одного его конца другой конецъ казался едва замътнымъ просвътомъ. Вдоль одной изъ стънъ сарая тянулась каменная платформа, на которой помъщалось двадцать пудлинговыхъ печей, формой напоминавшихъ снятые съ колесъ вагоны. Въ этихъ печахъ жидкій чугунъ смѣшивался съ рудой и перерабатывался въ сталь. Готовая сталь, стекая внизъ по трубамъ, наполняла собой высокія жельзныя штамбы — ньчто въ родъ футляровъ безъ дна, но съ ручками наверху и застывала въ нихъ сплошными кусками, пудовъ по сорока въсомъ. Свободная сторона сарая была занята рельсовымъ путемъ, по которому сновали, пыхтя, шипя и стуча, паровые краны, похожіе на послушныхъ и ловкихъ животныхъ, снабженныхъ гибкими хоботами. Одинъ кранъ хваталъ штамбу крючкомъ за ручку, поднималъ ее кверху, и изъ нея тяжело вываливался кусокъ стали въ видъ длиннаго правильнаго бруска ослъпительно-краснаго цвъта. Но прежде, чъмъ этотъ кусокъ успъвалъ упасть на землю, рабочій съ необыкновенной ловкостью обматываль его цепью, въ руку толщиной. Второй кранъ, ухвативъ крючкомъ эту цъпь, плавно несъ «штуку» въ воздухѣ и клалъ рядомъ съ другими на платформу, прикръпленную къ третьему крану. Третій — влекъ этотъ грузъ на другой конецъ сарая, гдф четвертый, снабженный вмфсто крючка щипцами, снималъ «штуки» съ вагона и опускалъ ихъ въ раскрытые люки газовыхъ печей, устроенныхъ подъ поломъ. Наконецъ пятый кранъ вытаскивалъ ихъ изъ этихъ люковъ совершенно бълыми отъ жара, клалъ поочередно подъ круглое колесо съ острыми зубьями, вращавшееся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокапудовая стальная «штука» въ теченіе пяти секундъ разрѣзалась на двѣ половины, какъ кусокъ мягкаго пряника. Каждая половина поступала подъ семисотпудовый прессъ парового молота, обжимавшаго ее съ такой силой и такой легкостью, точно она была изъ воска. Рабочіе подхватывали ее тотчасъ же на ручныя телѣжки и бѣгомъ тащили дальше, обдавая всѣхъ встрѣчныхъ блескомъ и жаромъ раскаленнаго желѣза.

Затъмъ Шелковниковъ показалъ своимъ гостямъ рельсопрокатный цехъ. Огромный брусокъ раскаленнаго металла проходилъ черезъ цълый рядъ станковъ, катясь отъ одного къ другому по валикамъ, которые вращались подъ поломъ, виднъясь на его поверхности только самой верхней своей частью. Брусокъ втискивался въ отверстіе, образуемое двумя стальными, вертъвшимися въ разныя стороны цилиндрами, и пролъзалъ между ними, заставляя ихъ раздаваться и дрожать отъ напряженія. Дальше его ждалъ станокъ съ еще меньшимъ отверстіемъ между цилиндрами. Кусокъ стали дълался послъ каждаго станка все тоньше и длиннъе и, нъсколько разъ перебъжавъ рельсопрокатку взадъ и впередъ, принималъ мало-по-малу форму десятисаженнаго краснаго рельса. Сложнымъ движеніемъ пятнадцати станковъ управлялъ всего одинъ человъкъ, помъщавшійся надъ паровой машиной, на возвышеніи въ родѣ капитанскаго мостика. Онъ двигалъ рукоятку впередъ, и вст цилиндры и валики начинали верттться въ одну сторону; двигалъ ее назадъ - и цилиндры и валики вертълись въ обратную сторону. Когда рельсъ окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаномъ золотыхъ искръ, разръзала его на три части.

Затъмъ всъ перешли въ токарный цехъ, гдъ главнымъ образомъ отдълывались вагонныя и паровозныя колеса. Кожаные приводы спускались тамъ съ потолка отъ толстаго стального стержня, приходившаго черезъ

весь сарай, и приводили въ движение сотни двъ или три станковъ самыхъ разныхъ величинъ и фасоновъ. Этихъ приводовъ было такъ много, и они перекрещивались во столькихъ направленіяхъ, что производили впечатлъніе одной сплошной, запутанной и дрожащей ременной съти. Колеса нъкоторыхъ станковъ вращались съ быстротой двадцати оборотовъ въ секунду, движеніе же другихъ было такъ медленно, что почти не замъчалось глазомъ. Стальныя, желъзныя и мъдныя стружки, въ видъ красивыхъ длинныхъ спиралей, густо покрывали полъ. Сверлильные станки оглашали воздухъ нестерпимымъ, тонкимъ и рѣзкимъ визжаніемъ. Тамъ же была показана гостямъ машина, работающая гайки — нъчто въ родъ двухъ огромныхъ стальныхъ регулярно чавкающихъ челюстей. Двое рабочихъ всовывали въ эту пасть конецъ накаленнаго длиннаго прута, и машина, равномфрно отгрызая по куску металла, выплевывала ихъ на землю въ видъ совершенно готовыхъ гаекъ.

Когда, выйдя изъ токарнаго цеха, Шелковниковъ предложилъ акціонерамъ (онъ все время исключительно къ нимъ обращался со своими разъясненіями) осмотрѣлъ гордость завода, девятисотсильный «Компаундъ», то петербургскіе господа уже въ достаточной степени были оглушены и разстроены всѣмъ видѣннымъ и слышаннымъ. Новыя впечатлѣнія не внушали имъ болѣе никакого интереса, а только еще сильнѣе утомляли ихъ. Лица ихъ пылали отъ жара рельсопрокатки, руки и костюмы были перепачканы угольной сажей. На предложеніе директора они согласились, повидимому, скрѣпя сердце, чтобы только не уронить достоинстква уполномочившаго ихъ собранія.

Девятисотсильный «Компаундъ» помъщался въ отдъльномъ зданіи, очень чистенькомъ и нарядномъ, со свътлыми окнами и мозаичнымъ поломъ. Несмотря на

громадность машины, она почти не издавала стука... Два поршня, въ четыре сажени каждый, мягко и быстро ходили въ цилиндрахъ, обитыхъ деревянными планками. Двадцатифутовое колесо, со скользящими по немъ двънадцатью канатами, вращалось также беззвучно и быстро; отъ его широкаго движенія суховатый жаркій воздухъ машиннаго отдъленія колебался сильными, равномърными порывами. Эта машина приводила въ движеніе и воздуходувки, и прокатные станки, и всъ машины токарнаго цеха.

Осмотръвъ «Компаундъ», акціонеры были уже совершенно убъждены, что ихъ испытанія окончились, но неутомимый Шелковниковъ вдругъ обратился кънимъ съ новымъ любезнымъ предложеніемъ:

— Теперь, господа, я вамъ покажу сердце всего завода, тотъ пунктъ, отъ котораго онъ получаетъ свою жизнь.

Онъ не повелъ, а почти повлекъ ихъ въ отдѣленіе паровыхъ котловъ. Однако послѣ всего видѣннаго «сердце завода» — двѣнадцать цилиндрическихъ котловъ пятисаженной длины и полутора саженъ высоты каждый — не произвело на уставшихъ акціонеровъ особенно внушительнаго впечатлѣнія. Ихъ мысли давно вращались вокругъ ожидавшаго ихъ обѣда, и они уже ничего не разспрашивали, какъ раньше, а только разсѣянно и равнодушно кивали головами на всѣ разъясненія Шелковникова. Когда директоръ кончилъ, акціонеры вздохнули съ облегченіемъ и очень искренно, съ нескрываемымъ удовольствіемъ принялись жать ему руку.

Теперь только одинъ Андрей Ильичъ остался около паровыхъ котловъ. Стоя на краю глубокой полутемной каменной ямы, въ которой помъщались топки, онъ долго глядълъ внизъ на тяжелую работу шестерыхъ обнаженныхъ до пояса людей. На ихъ обязанности лежало безпрерывно, и днемъ и ночью, подбрасывать каменный

уголь въ топочныя отверстія. То и дѣло со звономъ отворялись круглыя чугунныя заслонки, и тогда видно было, какъ въ топкахъ съ гудъніемъ и ревомъ клокотало ярко-бѣлое бурное пламя. То и дѣло голыя тѣла рабочихъ, высушенныя огнемъ, черныя отъ пропитавшей ихъ угольной пыли, нагибались внизъ, при чемъ на ихъ спинахъ ръзко выступали всъ мускулы и всъ позвонки спинного хребта. То и дъло худыя, цъпкія руки набирали полную лопатку угля и затъмъ быстрымъ, ловкимъ лвиженіемъ всовывали его въ раскрытое пылающее жерло. Двое другихъ рабочихъ, стоя наверху и также не останавливаясь ни на мгновеніе, сбрасывали внизъ все новыя и новыя кучи угля, который громадными черными валами возвышался вокругъ котельнаго отдъленія. Что-то удручающее, нечеловъческое чудилось Боброву въ безконечной работ в кочегаровъ. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала ихъ на всю жизнь къ этимъ разверстымъ пастямъ, и они, подъ страхомъ ужасной смерти, должны были безъ устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище...

— Что, коллега, смотрите, какъ вашего Молоха упитывають? — услышалъ Бобровъ за своей спиной веселый, добродушный голосъ.

Андрей Ильичъ задрожалъ и чуть-чуть не полетълъ въ кочегарную яму. Его поразило, почти потрясло это неожиданное соотвътствіе шутливаго восклицанія доктора съ его собственными мыслями. Даже и овладъвъ собою, онъ долго не могъ отдълаться отъ странности такого совпаденія. Его всегда интересовали и казались ему загадочными тъ случаи, когда, задумавшись о какомъ-нибудь предметъ или читая о чемъ-нибудь въкнигъ, онъ тотчасъ же слышалъ рядомъ съ собою разговоръ о томъ же самомъ.

- Я васъ, кажется, напугалъ, дорогой мой?—спросилъ докторъ, внимательно заглянувъ въ лицо Боброва. Прошу прощенія.
- Да, немножко... вы такъ неслышно подошли... я совсъмъ не ожидалъ.
- Охъ, батенька Андрей Ильичъ, давайте-ка полѣчимъ наши нервы. Никуда они у насъ не годятся... Послушайтесь моего совѣта: берите отпускъ, да махните куда-нибудь за границу... Ну, что вамъ себя здѣсърастравлять? Поживите полгодика въ свое удовольствіе: пейте хорошее вино, ѣздите верхомъ побольше, насчетъ ламура пройдитесь...

Докторъ подошелъ къ краю кочегарки.

- Вотъ такъ преисподняя! воскликнулъ онъ, заглянувъ внизъ. Сколько каждый такой самоварчикъ долженъ въсить? Пудовъ восемьсотъ, я думаю?..
 - Нътъ, побольше. Тысячи полторы.
- Ой, ой, ой... А ну какъ такая штучка вздумаетъ того... лопнуть? Эффектное выйдетъ зрълище? А?
- Очень эффектное, докторъ. Навърно, отъ всъхъ этихъ зданій не останется камня на камнъ...

Гольдбергъ покачалъ головой и многозначительно свистнулъ.

- Отчего же это можетъ случиться?
- Причины разныя бываютъ... но чаще всего это случается такимъ образомъ: когда въ котлѣ остается очень мало воды, то его стѣнки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если въ это время пустить въ котелъ воду, то сразу получается громадное количество паровъ, стѣнки не выдерживаютъ давленія, и котелъ разрывается.
 - Такъ что это можно сдълать нарочно?
- Сколько угодно... Не хотите ли попробовать? Когда вода совсѣмъ упадетъ въ водомѣрѣ, нужно

только повернуть вентиль... видите, маленькій круглый рычажокъ... И все тутъ.

Бобровъ шутилъ, но голосъ его былъ странносерьезенъ, а глаза смотрѣли сурово и печально. «Чортъ его знаетъ, — подумалъ докторъ: — милый онъ человѣкъ, а все-таки... психопатъ»... — Вы что же на обѣдъ-то не пошли, Андрей Ильичъ? — спросилъ Гольдбергъ, отходя отъ кочегарки: — хоть поглядѣли бы, какой зимній садъ изъ лабораторіи устроили. А сервировка, — такъ прямо на удивленіе.

- А ну ихъ! Терпъть не могу инженерныхъ объдовъ, поморщился Бобровъ. Хвастаются, орутъ, безобразно льстятъ другъ другу, и потомъ эти неизмъные пьяные тосты, во время которыхъ ораторы обливаютъ виномъ себя и сосъдей... Отвращеніе!..
- Да, да, совершенно върно, разсмъялся докторъ. Я захватилъ начало. Квашнинъ одно великолъпіе: «Милостивые государи, призваніе инженера высокое и отвътственное признаніе. Вмъстъ съ рельсовымъ путемъ, съ доменной печью и съ шахтой онъ несетъ въ глубь страны съмена просвъщенія, цвъты цивилизаціи и...» какіе-то еще плоды, я ужъ не помню хорошенько... Но въдь каковъ оберъ-жуликъ!.. «Сплотимтесь же, господа, и будемъ высоко держать святое знамя нашего благодътельнаго искусства!..» Ну, конечно, бъшеныя рукоплесканія.

Они прошли нъсколько шаговъ молча. Лицо доктора вдругъ омрачилось, и онъ заговорилъ со злобой въ голосъ:

— Да! Благодътельное искусство! А вотъ рабочіе бараки изъ щепокъ выстроены. Больныхъ не оберешься... дъти, какъ мухи, мрутъ. Вотъ тебъ и съмена просвъщенія! То-то они запоютъ, когда брюшной тифъ разгуляется въ Иванковъ.

— Да что вы, докторъ? Развѣ уже есть больные? Это совсѣмъ ужасно было бы при такой тѣснотѣ.

Докторъ остановился, тяжело переводя духъ.

— Да какъ же не быть? сказалъ онъ съ горечью. — Вчера двухъ человѣкъ привезли. Одинъ сегодня утромъ скончался, а другой, если еще не умеръ, то вечеромъ умретъ непремѣнно... А у насъ ни медикаментовъ, ни помѣщенія, ни фельдшеровъ опытныхъ... Подождите, доиграются они!.. — прибавилъ Гольдбергъ сердито и погрозилъ кому-то въ пространство кулакомъ.

VIII.

Злые языки начали звонить. Про Квашнина еще до его прівзда ходило на заводв такъ много пикантныхъ анекдотовъ, что теперь никто не сомнвался въ настоящей причинв его внезапнаго сближенія съ семействомъ Зиненокъ. Дамы говорили объ этомъ съ двусмысленными улыбками, мужчины въ своемъ кругу называли вещи съ циничной откровенностью ихъ именами. Однако навврняка никто ничего не зналъ. Всв съ удовольствіемъ ждали соблазнительнаго скандала.

Въ сплетнъ была доля правды. Сдълавъ визитъ семейству Зиненокъ, Квашнинъ сталъ ежедневно проводить у нихъ вечера. По утрамъ, около 11-ти часовъ, въ Шепетовскую экономію пріъзжала его прекрасная тройка сърыхъ, и кучеръ неизмѣнно докладывалъ, что «баринъ проситъ барыню и барышень пожаловать къ нимъ на завтракъ». Къ этимъ завтракамъ посторонніе

не приглашались. Кушанье готовилъ поваръ-французъ, котораго Василій Терентьевичъ всюду возилъ за собою въ своихъ частныхъ разъѣздахъ, даже и за границу.

Вниманіе Квашнина къ его новымъ знакомымъ выражалось очень своеобразно. Относительно всѣхъ пятерыхъ дѣвицъ онъ сразу сталъ на безцеремонную ногу холостого и веселаго дядюшки. Черезъ три дня онъ уже называлъ ихъ уменьшительными именами съ прибавленіемъ отчества — Шура Григорьевна, Ниночка, Григорьевна, а самую младшую, Касю, часто бралъ за пухлый, съ ямочкой, подбородокъ и дразнилъ «младенцемъ» и «цыпленочкомъ», отчего она краснѣла до слезъ, но не сопротивлялась.

Анна Аванасьевна съ игривой ворчливостью пеняла ему, что онъ совсъмъ избалуетъ ея дъвочекъ! Дъйствительно, стоило только одной изъ нихъ выразить какоенибудь мимолетное желаніе, какъ оно тотчасъ же исполнялось. Едва Мака заикнулась, безъ всякаго, впрочемъ, задняго умысла, что ей хотълось бы выучиться ъздить на велосипедъ, какъ на другой же день нарочный привезъ изъ Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мъръ рублей триста... Бетъ онъ проигралъ, держа съ нею пари по поводу какихъ-то пустяковъ, пудъ конфетъ, а Касъ — брошку, въ которой послъдовательно чередовались камни — кораллъ, аметистъ, сапфиръ и яшма, — обозначавшіе составныя буквы ея имени. Онъ услышалъ однажды, что Нина любитъ верховую ѣзду и лошадей. Черезъ два дня ей привели кровную англійскую кобылу, въ совершенствѣ выѣзженную подъ дамское съдло. Барышни были очарованы. Въ ихъ домъ поселился добрый сказочный духъ, угадывавшій и тотчасъ же исполнявшій ихъ мал вишіе капризы. Анна Аванасьевна смутно чувствовала въ этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нея не хватало ни смълости, ни такта, чтобы дать незамътно

понять это Квашнину. На ея льстивые выговоры онъ только махалъ рукой и отвъчалъ своимъ грубоватымъ, ръшительнымъ басомъ:

— Ну вотъ еще, дорогая моя... пустяки какіе вы-

Однако ни одну изъ ея дочерей онъ не предпочиталъ явно, всъмъ имъ одинаково угождая и надъ всъми безцеремонно подтрунивая. Молодые люди, посъщавшіе раньше домъ Зиненокъ, предупредительно и безслъдно исчезли. Зато постояннымъ гостемъ сдълался Свъжевскій, бывшій у нихъ до того всего-на-всего раза два или три. Его никто не звалъ; онъ явился самъ, точно по чьему-то таинственному приглашенію, и сразу сумълъ сдълаться необходимымъ для всъхъ членовъ семьи.

Впрочемъ, появленію его у Зиненокъ предшествоваль маленькій анекдоть. Какъ-то, мѣсяцевъ пять тому назадъ, Свѣжевскій проговорился въ кругу своихъ сослуживцевъ, что мечта его жизни — сдѣлаться со временемъ милліонеромъ, и что онъ къ сорока годамъ непремѣнно будетъ имъ.

— Какъ же вы этого добьетесь, Станиславъ Ксаверьевичъ? — спросили его.

Свѣжевскій захихикалъ и, загадочно потирая свои мокрыя руки, отвѣтилъ:

— Всѣ дороги ведутъ въ Римъ.

Чутье ему подсказывало, что теперь въ Шепетовской экономіи обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Такъ или иначе, онъ могъ пригодиться всемогущему патрону. И Свѣжевскій, ставя все на карту, смѣло лѣзъ Квашнину на глаза со своимъ угодливымъ хихиканьемъ. Онъ заигрывалъ съ нимъ, какъ веселый дворовый щенокъ со свирѣпымъ меделянскимъ псомъ, выражая и лицомъ и голосомъ ежеминутную готовность учинить какую угодно пакосты по одному только мановенію Василія Терентьевича.

Патронъ не препятствовалъ. Тотъ самый Квашнинъ, который прогонялъ со службы безъ объясненія причинъ директоровъ и управляющихъ заводами, — этотъ самый Квашнинъ молча терпѣлъ въ своемъ присутствіи какого-то Свѣжевскаго... Тутъ пахло важной услугой, а будущій милліонеръ напряженно ждалъ своего момента.

Все это, передаваясь изъ устъ въ уста, стало извъстно и Боброву. Онъ не удивился: на семейство Зиненокъ у него сложился свой твердый и точный взглядъ. Его взволновало лишь то, что сплетня не преминетъ задъть грязнымъ хвостомъ и Нину... Послъ разговора на вокзалъ эта дъвушка стала ему еще милъе и дороже. Ему одному она довърчиво открыла свою душу, прекрасную даже въ колебаніяхъ и въ слабостяхъ. Всъ другіе знали — думалось ему — только ея костюмъ и наружность. Ревность же съ ея циничными сомнъніями, въчно раздраженнымъ самолюбіемъ, съ ея мелочностью и грубостью, была чужда довърчивой и нъжной натуръ Боброва.

Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Онъ былъ слишкомъ застѣнчивъ и неувѣренъ въ себѣ, чтобы брать отъ жизни то, что ему, можетъ-быть, принадлежало по праву. Неудивительно, что теперь его душа радостно устремилась навстрѣчу новому, сильному чувству.

Всѣ эти дни Бобровъ находился подъ обаяніемъ разговора на вокзалѣ. Сотни разъ онъ вспоминалъ его въ мельчайшихъ подробностяхъ и съ каждымъ разомъ прозрѣвалъ въ словахъ Нины болѣе глубокое значеніе. По утрамъ онъ просыпался со смутнымъ сознаніемъ чего-то большого и свѣтлаго, что посѣтило его душу и обѣщаетъ ему въ будущемъ много блаженства.

Его неудержимо тянуло къ Зиненкамъ: хотѣлось еще разъ убѣдиться въ своемъ счастьѣ, еще разъ слышать отъ Нины то робкія, то наивно-смѣлыя полупри-

знанія. Но его стѣсняло присутствіе Квашнина, и онъ утѣшалъ себя только тѣмъ, что патронъ ни въ какомъ случаѣ не могъ пробыть въ Иванковѣ болѣе двухъ недѣль.

Однако случай помогъ ему увидъться съ Ниной до отъъзда Квашнина. Это произошло въ воскресенье, черезъ три дня послъ торжественнаго открытія кампаніи доменной печи. Бобровъ ъхалъ верхомъ на Фарватеръ по широкой, хорошо набитой дорогъ, ведущей съ завода на станцію. Было часа два прохладнаго, безоблачнаго дня. Фарватеръ шелъ бойкой ходой, прядая ушами и мотая косматой головой. На поворотъ около склада Бобровъ замътилъ даму въ амазонкъ, спускавшуюся съ горы на крупной гнъдой лошади, и слъдомъ за нею всадника на маленькомъ бъломъ киргизъ. Скоро онъ убъдился, что это была Нина въ темно-зеленой длинной развъвающейся юбкъ, въ желтыхъ перчаткахъ съ крагами, съ низенькимъ блестящимъ цилиндромъ на головѣ. Она увъренно и красиво сидъла въ съдлъ. Стройная англійская кобыла шла подъ нею эластической, широкой рысью, круто собравъ шею и высоко подымая тонкія, сухія ноги. Сопровождавшій Нину Свѣжевскій далеко отсталъ и старался, болтая локтями, трясясь и горбясь, поймать носкомъ потерянное стремя.

Замѣтивъ Боброва, Нина пустила лошадь галопомъ. Встрѣчный вѣтеръ заставлялъ ее придерживать правой рукой передъ шляпы и наклонять внизъ голову. Поровнявшись съ Андреемъ Ильичомъ, она сразу осадила лошадь, и та остановилась, нетерпѣливо переступая ногами, раздувая широкія, породистыя ноздри и звучно перебирая зубами удила, съ которыхъ комьями падала пѣна. Отъ ѣзды у Нины раскраснѣлось лицо, и волосы, выбившіеся на вискахъ изъ-подъ шляпы, откинулись назадъ длинными, тонкими завитками.

67

- Откуда у васъ такая прелесть? спросилъ Бобровъ, когда ему наконецъ удалось осадить танцовавшаго Фарватера и, перегнувшись на съдлъ, пожать кончики пальцевъ Нины.
- А, правда, красавица? Это подарокъ **К**вашнина.
- Я бы отказался отъ такого подарка, грубо сказалъ Андрей Ильичъ, внезапно разсерженный безпечнымъ отвътомъ Нины.

Нина вспыхнула.

- На какомъ основаніи?
- Да на томъ, что... кто же для васъ, въ самомъ дълъ, Квашнинъ?.. Родственникъ?.. Женихъ?..
- Ахъ, Боже мой, какъ вы щепетильны за другихъ! воскликнула Нина язвительно.

Но, увидъвъ его страдающее лицо, она тотчасъ же смягчилась.

— Въдь ему это ничего не стоитъ... Онъ такъ богатъ...

Свъжевскій былъ уже въ десяти шагахъ. Нина вдругъ нагнулась къ Боброву, ласково дотронулась концомъ хлыста до его руки и сказала вполголоса, тономъ маленькой дъвочки, сознающейся въ своей винъ:

— Ну, будетъ... будетъ, не сердитесь... Я ему, возвращу лошадь назадъ, злючка вы этакій!.. Видите, что значитъ для меня ваше мнъніе.

Глаза Андрея Ильича засіяли счастьемъ, и руки невольно протянулись къ Нинѣ. Но онъ ничего не сказалъ, а только глубоко, всей грудью, вздохнулъ. Свѣжевскій подъѣзжалъ къ нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку.

- Вы, конечно, знаете о нашемъ пикникъ? крикнулъ еще издали Свъжевскій.
- Въ первый разъ слышу, отвътилъ Андрей Ильичъ.

- Пикникъ по иниціативѣ Василія Терентьевича? Въ Бѣшеной балкѣ?..
 - Не слыхалъ.
- Да, да. Пожалуйста, прівзжайте же, Андрей Ильичъ, вмѣшалась Нина. Въ среду, въ пять часовъ вечера... сборный пунктъ станція...
 - Пикникъ по подпискъ?
 - Кажется. Навърно не знаю.

Нина вопросительно и растерянно взглянула на Свъжевскаго.

— По подпискъ, — подтвердилъ Свъжевскій. — Василій Тереньтевичъ поручилъ мнъ исполнить нъкоторыя его распоряженія. И я вамъ скажу, пикникъ будетъ колоссальный. Нъчто сверхъ-шикарное... Только все это покамъсть секретъ. Вы будете поражены неожиданностью...

Нина не утерпъла и прибавила кокетливо:

- Все это въдь изъ-за меня вышло. Третьягодня я говорила, что хорошо бы компаніей куда-нибудь въ лъсъ проъхаться, а Василій Терентьевичъ...
 - Я не пойду, сказалъ Боборовъ ръзко.
- Нѣтъ, поѣдете! сверкнула глазами Нина. Господа, маршъ, маршъ! крикнула она, подымая лошадь съ мѣста галопомъ. Андрей Ильичъ! Слушайте, что я вамъ скажу.

Свъжевскій остался сзади. Нина и Бобровъ скакали рядомъ, она — улыбаясь и заглядывая ему въ глаза, онъ — хмурый и недовольный.

— Вѣдь это я для васъ выдумала пикникъ, мой нехорошій, подозрительный другъ, — сказала она съ глубокой нѣжностью въ голосѣ. — Я хочу непремѣнно узнать то, что вы не договорили тогда, на вокзалѣ... Намъ никто не помѣшаетъ на пикникъ.

И опять мгновенная перемъна произошла въ душъ Боброва. Чувствуя у себя на глазахъ слезы умиленія, онъ воскликнулъ страстно:

— О, Нина! Какъ я люблю васъ!

Но Нина какъ будто бы не слыхала этого внезапнаго признанія. Она потянула поводья, заставила лошадь перейти въ шагъ и спросила:

- Такъ будете? Да?
- Непремънно. Непремънно буду!
- Смотрите же... А теперь подождемъ моего кавалера и до свиданья. Я тороплюсь домой...

Прощаясь съ ней, онъ чувствовалъ черезъ перчатку теплоту ея руки, отвътившей ему долгимъ и кръпкимъ пожатіемъ. Темные глаза Нины смотръли влюбленно.

IX.

Въ среду, уже съ четырехъ часовъ, станція была биткомъ-набита участниками пикника. Всѣ чувствовали себя весело и непринужденно. Пріѣздъ Василія Терентьевича на этотъ разъ окончился такъ благополучно, какъ никто даже не смѣлъ ожидать. Ни громовъ, ни молній не послѣдовало, никого не попросили оставить службу, и даже, наоборотъ, носились слухи о прибавкѣ въ недалекомъ будущемъ жалованья большинству служащихъ. Кромѣ того, пикникъ обѣщалъ выйти очень занимательнымъ. До Бѣшеной балки, куда условились отправиться, считалось, если ѣхать на лошадяхъ, не болѣе десяти верстъ очень красивой дороги... Ясная и теплая погода, прочно установившаяся въ теченіе послѣдней недѣли, никакъ не могла помѣшать поѣздкѣ.

Приглашенныхъ было до девяноста человѣкъ; они толпились оживленными группами на платформѣ, со смѣхомъ и громкими восклицаніями. Русская рѣчь перемѣшивалась съ французскими, нѣмецкими и польскими фразами. Трое бельгійцевъ захватили съ собой фотографическіе аппараты, разсчитывая дѣлать при свѣтѣ магнія моментальные снимки... Всѣхъ интересовала полнѣйшая неизвѣстность относительно подробностей пикника. Свѣжевскій, съ таинственнымъ и важнымъ видомъ, намекалъ о какихъ-то «сюрпризахъ», но отъ объясненій всячески уклонялся.

Первымъ сюрпризомъ оказался экстренный пофадъ. Ровно въ пять часовъ изъ паровознаго депо вышелъ новый американскій десятиколесный паровозъ. Дамы не могли удержаться отъ криковъ удивленія и восторга: вся громадная машина была украшена флагами и живыми цвътами. Зеленыя гирлянды дубовыхъ листьевъ, перемъщанныя съ букетами астръ, георгинъ, левкоевъ и гвоздики, обвивали спиралью ея стальной корпусъ, вились вверхъ по трубъ, свъшивались оттуда внизъ, къ свистку, и вновь подымались вверхъ, покрывая цвътущей стъной будку машиниста. Изъ-подъ зелени и цвътовъ стальныя и мъдныя части машины эффектно сверкали въ золотыхъ лучахъ осенняго заходящаго солнца. Шесть вагоновъ перваго класса, вытянувшіеся вдоль платформы, должны были отвезти участниковъ пикника на 303-ю версту, откуда до Бъшеной балки оставалось пройти не болъе пятисотъ шаговъ.

[—] Господа, Василій Терентьевичъ просилъ меня сообщить вамъ, что онъ береть всѣ расходы по пикнику на себя, — говорилъ Свѣжевскій, торопливо переходя отъ одной группы къ другой. — Господа, Василій Терентьевичъ просилъ меня передать всѣмъ приглашеннымъ....

Около него составилась большая кучка, онъ объяснилъ въ чемъ дъло:

— Василій Терентьевичъ остался чрезвычайно доволенъ тѣмъ пріемомъ, который ему сдѣлало общество, и ему очень пріятно отплатить любезностью за любезность. Онъ беретъ всѣ расходы на себя...

И, не утерпъвъ, движимый тъмъ чувствомъ, которое заставляетъ лакея хвастать щедростью своего барина, онъ добавилъ въско:

- Мы истратили на этотъ пикникъ 3.590 рублей!
- Пополамъ съ господиномъ Квашнинымъ? послышался сзади насмъшливый голосъ. Свъжевскій быстро обернулся и убъдился, что этотъ ядовитый вопросъ задалъ Андреа, глядъвшій на него со своимъ обычнымъ невозмутимымъ видомъ, заложивъ руки глубоко въ карманы брюкъ.
- Что вы изволили сказать? переспросилъ Свъжевскій, густо краснъя.
- Нътъ, это вы изволили сказать: «мы истратили три тысячи», и я имъю полное основаніе думать, что вы подразумъваете себя и г. Квашнина подъ этимъ «мы»... въ такомъ случать я считаю пріятнымъ долгомъ заявить вамъ, что, если я принимаю эту любезность отъ г. Квашнина, то въдь отъ г. Свъжевскаго я ея могу и не принять...
- Ахъ, нътъ, нътъ... Вы не такъ меня поняли, залепеталъ переконфуженный Свъжевскій. Это все Василій Терентьевичъ. Я просто только... какъ довъренное лицо... Ну, въ родъ какъ приказчикъ, что ли, добавилъ онъ съ кислой усмъшкой.

Почти одновременно съ подачей экстреннаго поъзда пріъхали Зиненки, въ сопровожденіи Квашнина и Шелковникова. Но не успълъ еще Василій Терентьевичъ вылѣзть изъ коляски, какъ случилось никѣмъ непредвидѣнное происшествіе траги-комическаго свойства. Еще съ утра жены, сестры и матери заводскихъ рабочихъ, прослышавъ о предстоящемъ пикникѣ, стали собираться на вокзалѣ; многія принесли съ собою и грудныхъ ребятъ. Съ выраженіемъ деревяннаго терпѣнія на загорѣлыхъ, изнуренныхъ лицахъ, сидѣли онѣ уже много часовъ на ступеняхъ вокзальнаго крыльца и на землѣ, вдоль стѣнъ, бросавшихъ длинныя тѣни. Ихъ было болѣе двухсотъ. На разспросы станціоннаго начальства онѣ отвѣчали, что имъ нужно «рыжаго и толстаго начальника». Сторожъ пробовалъ ихъ устранить, но онѣ подняли такой оглушительный гвалтъ, что онъ только махнулъ рукой и оставилъ бабъ въ покоѣ.

Каждый подъѣзжавшій экипажъ вызывалъ между ними минутный переполохъ, но такъ какъ «рыжаго и толстаго начальника», до сихъ поръ еще не было, то онѣ тотчасъ же успокаивались.

Едва только Василій Терентьевичъ, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренивъ всю коляску, ступилъ на подножку, какъ бабы быстро окружили его со всъхъ сторонъ и повалились на колѣни. Испуганныя шумомъ толпы, молодыя, горячія лошади захрапѣли и стали метаться; кучеръ, натянувъ вожжи и совсѣмъ перевалившись назадъ, едва сдерживалъ ихъ на мѣстѣ. Сначала Квашнинъ ничего не могъ разобрать: бабы кричали всѣ сразу и протягивали къ нему грудныхъ младенцевъ. По бронзовымъ лицамъ вдругъ потекли обильныя слезы...

Квашнинъ увидѣлъ, что ему не вырваться изъ этого живого кольца, обступившаго его со всѣхъ сторонъ.

— Стой, бабы! Не галдъть! — крикнулъ онъ, покрывая сразу своимъ басомъ ихъ голоса. — Орете всъ, какъ на базаръ. Ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна: въ чемъ дъло? Но каждой хотълось говорить одной. Крики еще больше усилились, и слезы еще обильнъе потекли по лицамъ.

- Кормилецъ... родной... разсмотри ты насъ... Никакъ не можно терпъть... Отошшали!.. Помираемъ... съ ребятами помираемъ... Отъ холода, можно сказать, прямо дохнемъ!..
- Что же вамъ нужно? Отъ чего вы помираете? крикнулъ опять Квашнинъ. Да не орите всъ разомъ! Вотъ ты, молодка, разсказывай, ткнулъ онъ пальцемъ въ рослую и, несмотря на блъдность усталаго лица, красивую калужскую бабу. Остальныя молчи!

Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами...

Все-таки за разъ говорило не менње двадцати бабъ.

— Помираемъ отъ холоду, кормилецъ... Ужъ ты сдълай милость, обдумай насъ какъ-нибудь... Никакой намъ возможности нъту больше... Загнали насъ на зиму въ бараки, а въ нихъ нешто можно жить-то? Одна только слава, что бараки, а то какъ есть изъ лучины выстроены... И теперь-то по ночамъ невтерпежъ отъ холоду... зубъ на зубъ не попадаетъ... А зимой что будемъ дълать? Ты хоть нашихъ робятокъ-то пожалъй, пособи, голубчикъ, хоть печи-то прикажи поставить... Пишшу варить негдъ... На дворъ пишшу варимъ... Мужики наши цъльный день на работъ... Иззябши... намокши... Придутъ домой — обсушиться негдъ.

Квашнинъ попалъ въ засаду. Въ какую сторону онъ ни оборачивался, вездѣ ему путь преграждали валявшіяся на землѣ и стоявшія на колѣняхъ бабы. Когда онъ пробовалъ протиснуться между ними, онѣ ловили его за ноги и за полы длиннаго сѣраго пальто. Видя свое безсиліе, Квашнинъ движеніемъ руки подозвалъ къ себѣ Шелковникова, и, когда тотъ пробрался сквозь

тъсную толпу бабъ, Василій Терентьевичъ спросилъего по-французски, съ гнъвнымъ выраженіемъ въ голосъ:

— Вы слышали? Что все это значитъ?

Шелковниковъ безпомощно развелъ руками и забормоталъ:

- Я писалъ въ правленіе, докладывалъ... Очень ограниченное число рабочихъ рукъ... лѣтнее время... косовица... высокія цѣны... правленіе не разрѣшило... ничего не подѣлаешь...
- Когда же вы начнете перестраивать рабочіе бараки? строго спросилъ Квашнинъ.
- Положительно неизвъстно... Пусть потерпятъ какъ-нибудь... Намъ раньше надо торопиться съ помъщеніями для служащихъ.
- Чортъ знаетъ, что за безобразія творятся подъ вашимъ руководствомъ, проворчалъ Квашнинъ. И, обернувшись опять къ бабамъ, онъ сказалъ громко:
- Слушай, бабы! Съ завтрашняго дня вамъ будутъ строить печи и покроютъ ваши бараки тесомъ. Слышали?
- Слышали, родной... Спасибо тебъ... Какъ не слышать, раздались обрадованные голоса. Такъ-то лучше, небось, когда самъ начальникъ приказалъ... спасибо тебъ... ты ужъ намъ, соколикъ, позволь и щепки собирать съ постройки.
 - Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать.
- А то поставили везд'в черкесовъ *), чуть придешь за щепками, а онъ такъ сейчасъ нагайкой и норовитъ полоснуть...

^{*)} Въ южномъ крат на заводахъ и въ экономіяхъ сторожами охотнье всего нанимають черкесовъ, отличающихся върностью и внушающихъ страхъ населенію.

— Ладно, ладно... Приходите смѣло за щепками, никто васъ не тронетъ, — успокаивалъ ихъ Квашнинъ. — А теперь, бабье, маршъ по домамъ, щи варить! Да смотрите у меня, живо! — крикнулъ онъ подбодряющимъ, молодцоватымъ голосомъ. — Вы распорядитесь, — сказалъ онъ вполголоса Шелковникову: чтобы завтра сложили около бараковъ воза два кирпича... Это ихъ надолго утѣшитъ. Пусть любуются.

Бабы расходились совсъмъ осчастливленныя.

- Ты смотри, коли намъ печей не поставятъ, такъ мы анжинеровъ позовемъ, чтобы насъ грѣть приходили, крикнула та самая калужская баба, которой Квашнинъ приказалъ говорить за всѣхъ.
- А то какъ же, отозвалась бойко другая: пусть насъ тогда самъ генералъ грѣетъ. Ишь, какой толстой да гладкой... Съ нимъ теплѣй будетъ, чѣмъ на печкѣ.

Этотъ неожиданный эпизодъ, окончившійся такъ благополучно, сразу развеселилъ всѣхъ. Даже Квашнинъ, хмурившійся сначала на директора, разсмѣялся послѣ приглашенія бабъ отогрѣвать ихъ и примирительно взялъ Шелковникова подъ локоть.

— Видите ли, дорогой мой, — говорилъ онъ директору, тяжело подымаясь вмъстъ съ нимъ на ступеньки станціи: — нужно умъть объясниться съ этимъ народомъ. Вы можете объщать имъ все, что угодно — алюминіевыя жилища, восьмичасовой рабочій день и бифштексы на завтракъ, — но дълайте это очень увъренно. Клянусь вамъ: я въ четверть часа потушу одними объщаніями самую бурную народную сцену...

Вспоминая подробности только-что потушеннаго бабьяго бунта и громко см'вясь, Квашнинъ с'влъ въ вагонъ. Черезъ три минуты по'вздъ вышелъ со станціи.

Кучерамъ было приказано ѣхать прямо на Бѣшеную балку, потому что назадъ предполагалось возвратиться на лошадяхъ, съ факелами.

Поведеніе Нины смутило Андрея Ильича. Онъ ждалъ на станціи ея прівзда съ нетерпъливымъ волненіемъ, начавшимся еще вчера вечеромъ. Прежнія сомнѣнія исчезли изъ его души; онъ върилъ въ свое близкое счастье, и никогда еще міръ не казался ему такимъ прекраснымъ, люди такими добрыми, а жизнь такой легкой и радостной. Думая о свиданіи съ Ниной, онъ старался заранъе его себъ представить, невольно готовилъ нъжныя, страстныя и красноръчивыя фразы и потомъ самъ смѣялся надъ собою... Для чего сочинять слова любви? Когда будетъ нужно, они придутъ сами и будутъ еще красивъе, еще теплъе. И Боброву вспоминались читанные имъ въ какомъ-то журналъ стихи, въ которыхъ поэтъ говоритъ своей милой, что они не будуть клясться другь другу, потому что клятвы оскорбили бы ихъ довърчивую и горячую любовь.

Боборовъ видълъ, какъ подъъхали, слъдомъ за тройкой Квашнина, двъ коляски Зиненокъ. Нина сидъла въ первой. Въ легкомъ плать в палеваго цвъта, изящно отдъланномъ у полукруглаго выръза корсажа широкими блѣдными кружевами того же тона, въ широкой бѣлой итальянской шляпъ, украшенной букетомъ чайныхъ розъ, она показалась ему блъднъе и серьезнъе, чъмъ обыкновенно. Она издали замътила Боброва, стоявшаго на крыльцѣ, но не послала ему, какъ онъ ожидалъ, долгаго, многозначительнаго взгляда. Наоборотъ, ему даже показалось, будто она нарочно отвернулась отъ него. Когда же Андрей Ильичъ подбъжалъ къ ея коляскъ, чтобы помочь ей изъ нея выйти, Нина, точно предупреждая его, быстро и легко выскочила изъ экипажа на другую сторону. Нехорошее, зловъщее чувство кольнуло сердце Андрея Ильича, но онъ тотчасъ же

поспѣшилъ себя успокоить. «Бѣдная, она стыдится своего рѣшенія и своей любви. Ей кажется, что теперь всякій можетъ свободно читать въ ея глазахъ самыя сокровенныя мысли... О, святая, прелестная наивность!»

Андрей Ильичъ былъ увѣренъ, что Нина, какъ и въ прошлый разъ на вокзалѣ, сама найдетъ случай подойти къ нему, чтобы съ глазу на глазъ перекинуться нѣсколькими фразами. Однако она, повидимому, вся поглощенная объясненіемъ Квашнина съ бабами, не торопилась этого сдѣлать... Она ни разу, даже украдкой, не обернулась назадъ, чтобы увидѣть Боброва. Сердце Андрея Ильича забилось вдругъ тревожно и тоскливо. Онъ рѣшилъ подойти къ семейству Зиненокъ, державшемуся тѣсной кучкой — остальныя дамы ихъ, видимо, избѣгали, — и подъ шумъ, привлекавшій общее вниманіе, спросилъ Нину, если не словами, то хоть взглядомъ, о причинѣ ея невниманія.

Кланяясь Аннѣ Аоанасьевнѣ и цѣлуя ея руку, онъ заглядывалъ ей въ лицо и старался прочесть въ немъ, знаетъ ли она что-нибудь. Да, она несомнѣнно знала: ея надломленныя угломъ тонкія брови — признакъ лживаго характера, какъ думалъ нерѣдко Бобровъ — недовольно сдвинулись, а губы приняли надменное выраженіе. Должно-быть, Нина разсказала все матери и получила отъ нея выговоръ, — догадался Бобровъ и подошелъ къ Нинѣ.

Но Нина даже не взглянула на него. Ея рука неподвижно и холодно лежала въ его дрожащей рукъ, когда они здоровались. Вмъсто отвъта на привътствіе Андрея Ильича она тотчасъ же повернула голову къ Бетъ и обмънялась съ нею какими-то пустыми замъчаніями... Въ этомъ поспъшномъ маневръ Боброву почудилось что-то виноватое, что-то трусливое, отступающее предъ прямымъ отвътомъ... Онъ почувствовалъ, что у него сразу ослабъли ноги, а во рту стало хо-

лодно... Онъ не зналъ, что подумать. Если бы Нина даже и проболталась матери, развъ не могла она однимъ изъ тъхъ быстрыхъ, говорящихъ взглядовъ, которыми всегда инстинктивно располагаютъ женщины, сказать ему: «Да, ты угадалъ, нашъ разговоръ извъстенъ... но я все та же, милый, я все та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Все равно, я во что бы то ни стало на пикникъ дождусь ея отвъта, — подумалъ Бобровъ, въ смутной тоскъ предчувствуя чтото тяжелое и грязное. — Такъ или иначе, она должна будетъ отвътить».

X.

На 303 верстъ общество вышло изъ вагоновъ и длинной пестрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки, по узкой дорожкъ, спускающейся въ Бъшеную балку... Еще издали на разгоряченныя лица пахнуло свъжестью и запахомъ осенняго лъса... Дорожка, становясь все круче, исчезала въ густыхъ кустахъ оръшника и дикой жимолости, которые сплелись надъней сплошнымъ темнымъ сводомъ. Подъ ногами уже шелестъли желтые, сухіе, скоробившіеся листья. Вдали сквозь густую съть чащи алъла вечерняя заря.

Кусты окончились. Передъ глазами гостей неожиданно открылась окруженная дъсомъ широкая площадка, утрамбованная и усыпанная мелкимъ пескомъ. На одномъ ея концъ стоялъ восьмигранный павильонъ, весь разукрашенный флагами и зеленью, на другомъ — крытая эстрада для музыкантовъ. Едва только первыя пары показались изъ чащи, какъ военный оркестръ грянулъ

съ эстрады веселый маршъ. Рѣзвые, красивые мѣдные звуки игриво понеслись по лѣсу, звонко отражаясь отъ деревьевъ и сливаясь гдѣ-то далеко въ другой оркестръ, который, казалось, то перегонялъ первый, то отставалъ отъ него. Въ восьмигранномъ павильонѣ вокругъ столовъ, разставленныхъ покоемъ и уже покрытыхъ новыми бѣлыми скатертями, суетилась прислуга, гремя посудой...

Какъ только музыканты кончили маршъ, всѣ приглашенные на пикникъ разразились дружными аплодисментами. Они были, въ самомъ дѣлѣ, изумлены, потому что не далѣе, какъ двѣ недѣли тому назадъ эта площадка представляла собою косогоръ, усѣянный рѣдкими кустами...

Оркестръ заигралъ вальсъ.

Бобровъ видѣлъ, какъ Свѣжевскій, стоявшій рядомъ съ Ниной, тотчасъ же, безъ приглашенія, охватилъ ея талію, и они понеслись, быстро вертясь, по площадкѣ.

Едва Нину оставилъ Свѣжевскій, какъ къ ней подбѣжалъ горный студентъ, за нимъ еще кто-то. Бобровъ танцовалъ плохо, да и не любилъ танцовать. Однако ему пришло въ голову пригласить Нину на кадриль. «Можетъ-быть, — думалъ онъ: — мнѣ удастся улучить минуту для объясненія». Онъ подошелъ къ ней, когда она, только-что сдѣлавъ два тура, сидѣла и торопливо обмахивала вѣеромъ пылавшее лицо.

- Надъюсь, Нина Григорьевна, что вы оставили **для** меня одну кадриль?
- Ахъ, Боже мой... Такая досада! У меня всъ кадрили разобраны, отвътила она, не глядя на него.
- Неужели? Такъ скоро? спросилъ глухимъ голосомъ Бобровъ.
- Ну да, Нина нетерпъливо и насмъшливо приподняла плечи. — Зачъмъ же вы опоздали? Я еще въ вагонъ объщала всъ кадрили. ./.

— Вы, значитъ, совсѣмъ позабыли обо мнѣ! — сказалъ онъ печально.

Звукъ его голоса тронулъ Нину. Она нервно сложила и опять развернула въеръ, но не подняла глазъ.

- Вы сами виноваты. Почему вы не подошли?...
- Но вѣдь я только для того и пріѣхалъ на пикникъ, чтобы васъ видѣть... Неужели вы шутили со мной, Нина Григорьевна?

Она молчала, въ замѣшательствѣ теребя вѣеръ. Ее выручилъ подлетѣвшій къ ней молодой инженеръ. Она быстро встала и, даже не обернувшись на Боброва, положила свою тонкую руку, въ длинной бѣлой перчаткѣ, на плечо инженера. Андрей Ильичъ слѣдилъ за нею глазами... Сдѣлавъ туръ, она сѣла, — конечно, умышленно, подумалъ Андрей Ильичъ, — на другомъ концѣ площадки. Она почти боялась его или стыдилась передъ нимъ.

Прежняя, давно знакомая, тупая и равнодушная тоска овладъла Бобровымъ. Вст лица стали казаться ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Размтренные звуки музыки непрерывными глухими ударами отзывались въ его головъ, причиняя раздражающую боль. Но онъ еще не потерялъ надежды и старался утъшить себя разными предположеніями: «Не сердится ли она за то, что я не прислалъ ей букета? Или, можетъ-быть, ей просто не хочется танцовать съ такимъ мъшкомъ, какъ я? — догадался онъ. — Ну, что же, она, пожалуй, и права. Въдь для дъвушекъ эти пустяки такъ много значатъ... Развъ не они составляютъ ихъ радости и огорченія, всю поэзію ихъ жизни?»

Когда стало смеркаться, вокругъ павильона зажгли длинныя цъпи изъ разноцвътныхъ китайскихъ фонарей. Но этого оказалось мало: площадка оставалась почти не освъщенною. Вдругъ съ обоихъ ея концовъ вспыхнули ослъпительнымъ голубоватымъ свътомъ два элек-

трическія солнца, до сихъ поръ тщательно замаскированныя зеленью деревьевъ. Березы и грабы, окружавшіе площадку, сразу выдвинулись впередъ. Ихъ неподвижныя кудрявыя вѣтви, ярко и фальшиво освѣщенныя, стали похожи на театральную декорацію перваго плана. За ними, окутанныя въ сѣро-зеленую мглу, слабо вырисовывались на совершенно черномъ небѣ круглыя и зубчатыя деревья чащи. Кузнечики въ степи, не заглушаемые музыкой, кричали такъ странно, громко и дружно, что казалось, будто кричитъ только одинъ кузнечикъ, но кричитъ отовсюду: и справа, и слѣва, и сверху.

Балъ длился, становясь все оживленнъе и шумнъе. Одинъ танецъ слъдовалъ за другимъ. Оркестръ почти не отдыхалъ... Женщины, какъ отъ вина, опьянъли отъ музыки и отъ сказочной обстановки вечера.

Ароматъ ихъ духовъ и разгоряченныхъ тѣлъ странно смѣшивался съ запахомъ степной полыни, увядающаго листа, лѣсной сырости и съ отдаленнымъ тонкимъ запахомъ скошенной отавы. Повсюду — то медленно, то быстро колыхались вѣера, точно крылья красивыхъ разноцвѣтныхъ птицъ, собирающихся летѣть... Громкій говоръ, смѣхъ, шарканье ногъ о песокъ площадки сплетались въ одинъ монотонный и веселый гулъ, который вдругъ съ особенной силой вырывался впередъ, когда музыка переставала играть.

Бобровъ все время неотступно слѣдилъ за Ниной. Раза два она чуть-чуть не задѣла его своимъ платьемъ. На него даже пахнуло вѣтромъ, когда она пронеслась мимо. Танцуя, она красиво и какъ будто безпомощно изгибала лѣвую руку на плечѣ своего кавалера и такъ склоняла голову, какъ будто бы хотѣла къ этому плечу прислониться... Иногда мелькалъ край ея нижней, бѣлой кружевной юбки, развѣваемой быстрымъ движеніемъ, и маленькая ножка въ черномъ чулкѣ съ тонкой щиколоткой и крутымъ подъемомъ икры. Тогда

Боброву становилось почему-то стыдно, и онъ чувствоваль въ душт злобу на встхъ, кто могъ видтъ Нину въ эти моменты.

Началась мазурка. Было уже около девяти часовъ. Нина, танцовавшая со Свъжевскимъ, воспользовалась тъмъ временемъ, когда ея кавалеръ, дирижировавшій мазуркой, устраивалъ какую-то сложную фигуру, и побъжала въ уборную, легко и быстро скользя ногами въ тактъ музыкъ и придерживая объими руками распустившіеся волосы. Бобровъ, видъвшій это съ другого конца площадки, тотчасъ же поспъшилъ за нею слъдомъ и сталъ у дверей... Здъсь было почти темно; вся уборная — маленькая досчатая комнатка, пристроенная сзади павильона — находилась въ густой тъни. Бобровъ ръшился дождаться Нины и, во что бы то ни стало, заставить ее объясниться. Сердце его часто и больно билось, пальцы, которые онъ судорожно стискивалъ, сдълались влажными и холодными.

Черезъ пять минутъ Нина вышла. Бобровъ выдвинулся изъ тѣни и преградилъ ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась.

- Нина Григорьевна, за что вы меня такъ мучите? сказалъ Андрей Ильичъ, незамътно для себя складывая руки умоляющимъ жестомъ. Развъ вы не видите, какъ мнъ больно. О! Вы забавляетесь моимъ горемъ... Вы смъетесь надо мной...
- Я не понимаю, что вамъ нужно. Я и не думала смѣяться надъ вами, отвѣтила Нина упрямо и заносчиво.

Въ ней проснулся духъ ея семейства.

- Нътъ? уныло спросилъ Бобровъ. Что же значитъ ваше сегодняшнее обращение со мной?
 - Какое обращеніе?

- Вы холодны со мной, почти враждебны. Вы отворачиваетесь отъ меня... Вамъ даже самое присутствіе мое на вечеръ непріятно...
 - Мнъ ръшительно все равно...
- Это еще хуже... Я чувствую въ васъ какую-то непостижимую для меня и ужасную перемъну... Ну, будьте же откровенны, Нина, будьте такой правдивой, какой я васъ еще сегодня считалъ... Какъ бы ни была страшна истина, скажите ее. Лучше ужъ для васъ и для меня сразу кончить...
 - Что кончить? Я не понимаю васъ...

Бобровъ сжалъ руками виски, въ которые лихорадочно билась кровь.

— Нѣтъ, вы понимаете. Не притворяйтесь. Намъ есть что кончить. У насъ были нѣжныя слова, почти граничившія съ признаніемъ, у насъ были прекрасныя минуты, соткавшія между нами какія-то нѣжныя, тонкія узы... Я знаю, — вы хотите сказать, что я заблуждаюсь... Можетъ-быть, можетъ-быть... Но развѣ не вы велѣли мнѣ пріѣхать на пикникъ, чтобы имѣть возможность поговорить безъ постороннихъ?

Нинъ вдругъ стало жаль его.

— Да... Я просила васъ пріѣхать... — произнесла она, низко опустивъ голову. — Я хотѣла вамъ сказать... Я хотѣла... что намъ надо проститься навсегда.

Бобровъ покачнулся, точно его толкнули въ грудь. Даже въ темнотъ было замътно, какъ его лицо поблъднъло.

- Проститься... проговорилъ онъ, задыхаясь. Нина Григорьевна!.. Слово прощальное тяжелое, горькое слово... Не говорите его...
 - Я его должна сказать.
 - Должны?
 - Да, должна. Это не моя воля.
 - Чья же?

Кто-то подходилъ къ нимъ. Нина вглядълась въ темноту и прошептала:

— Вотъ чья.

Это была Анна Аванасьевна. Она подозрительно оглядъла Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку.

— Зачъмъ ты, Нина, убъжала отъ танцевъ? — сказала она тономъ выговора: — стала гдъ-то въ темнотъ и болтаешь... Хорошее, нечего сказать, занятіе... А я тебя ищи по всъмъ закоулкамъ. Вы, сударь, — обратилась она вдругъ бранчиво и громко къ Боброву: — вы, сударь, если сами не умъете или не любите танцовать, то хоть барышнямъ бы не мъшали и не компрометировали бы ихъ бесъдой tête-à-tête ... въ темныхъ углахъ...

Она отошла и увлекла за собою Нину.

- О! Не безпокойтесь, сударыня: вашу барышню ничто не скомпрометируеть! закричаль ей вдогонку Бобровъ и вдругъ расхохотался такимъ страннымъ, горькимъ смѣхомъ, что и мать и дочь невольно обернулись.
- Ну! Не говорила я тебъ, что это дуракъ и нахалъ? дернула Анна Аванасьевна Нину за руку. Ему хоть въ глаза наплюй, а онъ хохочетъ... утъшается... Сейчасъ будутъ дамы выбирать кавалеровъ, прибавила она другимъ, болъе спокойнымъ тономъ. Ступай и пригласи Квашнина. Онъ только что кончилъ играть. Видишь, стоитъ въ дверяхъ бесъдки.
- Мама! Да куда же ему танцовать? Онъ и поворачивается-то насилу-насилу.
- А я тебѣ говорю: ступай. Онъ когда-то считался однимъ изъ лучшихъ танцоровъ въ Москвѣ... Во всякомъ случаѣ ему будетъ пріятно.

Точно въ далекомъ, сѣромъ колыхающемся туманѣ видѣлъ Бобровъ, какъ Нина быстро перебѣжала всю площадку и, улыбающаяся, кокетливая, легкая, остано-

вилась передъ Квашнинымъ, граціозно и просительно наклонивъ на-бокъ голову. Василій Терентьевичъ слушалъ ее, слегка надъ ней нагнувшись; вдругъ онъ расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась, и замоталъ отрицательно головою. Нина долго настанвала, потомъ вдругъ сдѣлала обиженное лицо и капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнинъ, съ вовсе несвойственной ему живостью, догналъ ее и, пожавъ плечами съ такимъ видомъ, какъ будто бы хотѣлъ сказать: «Ну, ужъ ничего не подѣлаешь... надо баловать дѣтей...» протянулъ ей руку. Всѣ танцующіе остановились и съ любопытствомъ устремили глаза на новую пару. Зрѣлище Квашнина, танцующаго мазурку, обѣщало быть чрезвычайно комичнымъ.

Василій Терентьевичъ выждалъ тактъ и вдругъ, повернувшись къ своей дамъ движеніемъ, исполненымъ тяжелой, но своеобразно-величественной красоты, такъ самоувъренно и довко сдълалъ первое раз, что всъ сразу въ немъ почуяли бывшаго отличнаго танцора. Глядя на Нину сверху внизъ, съ гордымъ, вызывающимъ и веселымъ поворотомъ головы, онъ сначала не танцовалъ, а шелъ подъ музыку эластичной, слегка покачивающейся походкой. И огромный ростъ и толщина, казалось, не только не мъшали, но, наоборотъ, увеличивали въ эту минуту тяжеловъсную грацію его фигуры. Дойдя до поворота, онъ остановился на одну секунду, стукнулъ вдругъ каблукомъ о каблукъ, быстро завертълъ Нину на мъстъ и плавно, съ улыбающимся снисходительно лицомъ, пронесся по самой серединъ площадки на толстыхъ, упругихъ ногахъ. Передъ тъмъ мъстомъ, откуда Квашнинъ взялъ Нину, онъ опять завертълъ свою даму въ быстромъ красивомъ движеніи и, неожиданно посадивъ на стулъ, самъ остановился передъ ней съ низкоопущенной головой.

Его тотчасъ же окружили со всѣхъ сторонъ дамы, упрашивая пройтись еще одинъ туръ. Но онъ, утомленный непривычнымъ движеніемъ, тяжело дышалъ и обмахивался платкомъ.

— Довольно, mesdames... пощадите старика... — говорилъ онъ, смъясь и насилу переводя духъ. — Не въ мои годы пускаться въ плясъ. Пойдемте лучше ужинать...

Общество садилось за столы, гремя придвигаемыми стульями... Бобровъ продолжалъ стоять на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ его покинула Нина. Чувства униженія, обиды и безнадежной, отчаянной тоски поперемѣнно терзали его. Слезъ не было, но что-то жгучее щипало глаза, и въ горлѣ стоялъ сухой и колючій клубокъ... Музыка продолжала болѣзненно и однообразно отзываться въ его головѣ.

- Батюшка мой! А я-то васъ ищу-ищу и никакъ не найду. Что это, вы куда запропастились? услышалъ Андрей Ильичъ рядомъ съ собой веселый голосъ доктора. Какъ только пріъхалъ, меня сейчасъ же за винтъ усадили, насилу вырвался... Идемъ ужинать. Я нарочно два мъста захватилъ, чтобы вмъстъ...
- Ахъ, докторъ! Идите одинъ. Я не пойду, не хочется, черезъ силу отозвался Бобровъ.
- Не пойдете? Вотъ такъ исторія! Докторъ пристально поглядѣлъ въ лицо Боброву. Да что съ вами, голубушка? Вы совсѣмъ раскисли, заговорилъ онъ серьезно и съ участіемъ. Ну, ужъ какъ хотите, а я васъ не оставлю одного. Идемъ, идемъ, безъ всякихъ разговоровъ.
- Тяжело мнѣ, докторъ. Гадко мнѣ, отвѣтилъ тихо Бобровъ, машинально однако слѣдуя за увлекавшимъ его Гольдбергомъ.
- Пустяки, пустяки, идемъ! Будьте мужчиной, плюньте... «Или есть недугъ сердечный? Иль на со-

въсти гроза?» — неожиданно продекламировалъ Гольдбергъ, нъжно и кръпко обвивая рукой талію Боброва и ласково заглядывая ему въ лицо. — Я вамъ сейчасъ пропишу универсальное средство: «Выпьемъ, что ли, Ваня, съ холода да съ горя?»... Мы, по правдъ сказать, съ этимъ Андреа уже порядочно наконьячились... Ахъ, и пьетъ же, курицынъ сынъ! Точно въ пустую бочку льетъ... Ну, будьте мужчиной, милочка... Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идемъ, идемъ!..

Говоря такимъ образомъ, докторъ тащилъ Боброва въ павильонъ. Они усѣлись рядомъ. Сосѣдомъ Андрея Ильича, съ другой стороны, оказался Андреа.

Андреа, еще издали улыбавшійся Боброву, потъснился, чтобы дать ему мъсто, и ласково погладилъ его по спинъ.

— Очень радъ, очень радъ, садитесь къ намъ поближе, — сказалъ онъ дружелюбно. — Симпатичный человъкъ... люблю такихъ... хорошій человъкъ... Коньякъ пьете?

Андреа былъ пьянъ. Его стеклянные глаза странно оживились и блестъли на поблъднъвшемъ лицъ (только полгода спустя стало извъстно, что этотъ безупречносдержанный, трудолюбивый, талантливый человъкъ каждый вечеръ напивался въ совершенномъ одиночествъ до потери сознанія)...

«А и въ самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, станетъ легче, если выпить, — подумалъ Бобровъ: — надо попробовать, чортъ возьми!»

Андреа дожидался съ наклоненной бутылкой въ рукъ. Бобровъ подставилъ стаканъ.

- Та-акъ? протянулъ Андреа, высоко подымая брови.
- Такъ, отвѣтилъ Бобровъ съ печальной и кроткой улыбкой.
 - Ладно! До которыхъ поръ?

- Стаканъ самъ скажетъ.
- Прекрасно. Можно подумать, что вы служили въ шведскомъ флотъ. Довольно?
 - Лейте, лейте.
- Другъ мой, но вы, въроятно, выпустили изъвиду, что это Martel подъ маркой V. S. O. P. настоящій, строгій, старый коньякъ.
 - Лейте, не безпокойтесь...

И Бобровъ подумалъ со злорадствомъ:

«Ну что жъ, и буду пьянъ, какъ сапожникъ. Пусть полюбуется...»

Стаканъ былъ полонъ. Андреа поставилъ бутылку на столъ и сталъ съ любопытствомъ наблюдать за своимъ сосъдомъ. Бобровъ залпомъ выпилъ вино и весь содрогнулся отъ непривычки.

- Дитя мое, у васъ червякъ? спросилъ Андреа, серьезно поглядъвъ въ глаза Боброва.
- Да, червякъ, уныло покачалъ головою Андрей Ильичъ.
 - Въ сердцѣ?
 - Да.
 - Гм!. . Значитъ, вы хотите еще?
 - Лейте, сказалъ Бобровъ покорно и печально.

Онъ съ жадностью и съ отвращеніемъ пилъ коньякъ, стараясь забыться. Но странно, — вино не оказывало на него никакого дъйствія. Наоборотъ, ему становилось еще тоскливъе, и слезы еще больше жгли глаза.

Между тъмъ лакеи разнесли шампанское, Квашнинъ всталъ со стула, держа двумя пальцами свой бокалъ и разглядывая черезъ него огонь высокаго канделябра. Всъ затихли. Слышно было только, какъ шипълъ уголь въ электрическихъ фонаряхъ и звонко стрекоталъ неугомонный кузнечикъ.

Квашнинъ откашлялся.

— Милостивыя государыни и милостивые государи! — началъ онъ и сдълалъ внушительную паузу. — Я думаю, никто изъ васъ не усомнится въ томъ искреннемъ чувствъ признательности, съ которымъ я подымаю этотъ бокалъ! Я никогда не забуду сдъланнаго мнъ въ Иванковъ радушнаго пріема, и сегодняшній маленькій пикникъ, благодаря очаровательной любезности посътившихъ его дамъ, останется для меня навсегда пріятнъйшимъ воспоминаніемъ. Пью за ваше здоровье, mesdames!

Онъ поднялъ кверху свой бокалъ, сдѣлалъ имъ въ воздухѣ широкій полукругъ, отпилъ изъ него немного и продолжалъ:

— Къ вамъ, мои ближайшіе сотрудники и товарищи, обращаю слово. Не осудите, если оно будетъ носить характеръ поученія: по лѣтамъ я старикъ, сравнительно съ большинствомъ присутствующихъ, а на старика за поученіе можно и не обижаться.

Андреа нагнулся къ уху Боброва и прошепталъ:

— Посмотрите, какія рожи дѣлаетъ этотъ каналья Свѣжевскій.

Свѣжевскій дѣйствительно выражалъ своимъ лицомъ самое подобострастное и преувеличенное вниманіе. Когда Василій Терентьевичъ упомянулъ о своей старости, онъ и головой и руками началъ дѣлать протестующіе жесты.

— Я все-таки повторю старое, избитое выраженіе газетныхъ передовыхъ статей, — продолжалъ Квашнинъ. — Держите высоко наше знамя. Не забывайте, что мы соль земли, что намъ принадлежитъ будущее... Не мы ли опутали весь земной шаръ сѣтью желѣзныхъ дорогъ? Не мы ли разверзаемъ нѣдра земли и превращаемъ ея сокровища въ пушки, мосты, паровозы, рельсы и колоссальныя машины? Не мы ли, исполняя силой нашего генія почти невѣроятныя предпріятія, приво-

димъ въ движеніе тысячемилліонные капиталы?.. Знайте, господа, что премудрая природа тратитъ свои творческія силы на созданіе цѣлой націи только для того, чтобы изъ нея вылѣпить два или три десятка избранниковъ. Имѣйте же смѣлость и силу быть этими избранниками, господа! Ура!

— Ура! Ура! — закричали гости, и громче всѣхъвыдѣлился голосъ Свѣжевскаго.

Всѣ встали со своихъ мѣстъ и пошли чокаться съ Василіемъ Терентьевичемъ.

- Гнусная рѣчь, сказалъ докторъ вполголоса. Послѣ Квашникова поднялся Шелковниковъ и закричалъ:
- Господа! За здоровье нашего уважаемаго патрона, нашего дорогого учителя и въ настоящее время нашего амфитріона: за здоровье Василія Терентьевича Квашнина! Ура!
- Ура-а! подхватили единодушно всѣ гости и опять пошли чокаться съ Квашнинымъ.

Потомъ началась какая-то оргія краснорѣчія. Произносили тосты и за успѣхъ предпріятія, и за отсутствующихъ акціонеровъ, и за дамъ, участвующихъ на пикникѣ, и за всѣхъ дамъ вообще. Нѣкоторые тосты были двусмысленны и игриво-неприличны.

Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало свое дъйствіе: сплошной гулъ стоялъ въ павильонъ, и произносившему тостъ приходилось каждый разъ прежде, чъмъ начать говорить, долго и тщетно стучать ножомъ по стакану. Въ сторонъ, на отдъльномъ маленькомъ столикъ, красавецъ Миллеръ приготовлялъ въ большой серебряной чашъ жженку... Вдругъ опять поднялся Квашнинъ, на лицъ его играла добродушнолукавая улыбка.

— Мнѣ очень пріятно, господа, что нашъ праздникъ какъ разъ совпалъ съ однимъ торжествомъ семей-

наго характера, — сказалъ онъ съ обворожительной любезностью. — Поздравимте отъ всей души и пожелаемъ счастья нареченнымъ жениху и невъстъ: за здоровье Нины Григорьевны Зиненко и... — онъ замялся, потому что позабылъ имя и отчество Свъжевскаго... — и нашего товарища, господина Свъжевскаго...

Крики, встрѣтившіе слова Квашнина, были тѣмъ громче, что сообщаемая имъ новость оказалась совсѣмъ неожиданной. Андреа, услышавшій рядомъ съ собою восклицаніе, болѣе похожее на мучительный стонъ, обернулся и увидѣлъ, что блѣдное лицо Боброва искривлено внутреннимъ страданіемъ.

— Коллега, вы еще не все знаете, — шепнулъ Андреа. — Послушайте-ка, я сейчасъ скажу пару теплыхъ словъ.

Онъ увъренно поднялся, уронивъ при этомъ свой стулъ и расплескавъ половину бокала, и воскликнулъ:

— Милостивые государи! Нашъ многоуважаемый хозяинъ, изъ весьма понятной, великодушной скромности, не докончилъ своего тоста... Мы должны поздравить нашего дорогого товарища, Станислава Ксаверьевича Свѣжевскаго, съ новымъ назначеніемъ: съ будущаго мъсяца онъ займетъ отвътственный постъ управляющаго дълами правленія общества... Это назначеніе будетъ, такъ сказать, свадебнымъ подаркомъ для молодыхъ отъ глубокоуважаемаго Василія Терентьевича... Я вижу на лицъ нашего высокочтимаго патрона неудовольствіе... В фроятно, я нечаянно выдалъ приготовленный имъ сюрпризъ и потому прощу прощенія. Но, движимый чувствомъ дружбы и уваженія, я не могу не пожелать, чтобы нашъ дорогой товарищъ, Станиславъ Ксаверьевичъ Свѣжевскій, и на новомъ своемъ поприщъ въ Петербургъ оставался такимъ же дъятельнымъ работникомъ и такимъ же любимымъ товарищемъ, какъ и здѣсь... Но я знаю, господа, никто изъ насъ не позавидуетъ Станиславу Ксаверьевичу (онъ остановился и съ ѣдкой насмѣшкой посмотрѣлъ на Свѣжевскаго)... потому что всѣ мы такъ дружно желаемъему всего хорошаго, что...

Ръчь его была внезапно прервана громкимъ лошадинымъ топотомъ. Изъ чащи точно вынырнулъ верхомъ на взмыленной лошади какой-то человъкъ безъ шапки, съ лицомъ, на которомъ застыло, перекосивъ его, выраженіе ужаса. Это былъ десятникъ, служившій у подрядчика Дехтерева. Бросивъ на срединъ площадки лошадь, дрожавшую отъ усталости, онъ подбъжалъ къ Василію Терентьевичу и, фамильярно нагнувшись къ его уху, сталъ что-то шептать... Въ павильонъ сдълалось вдругъ страшно тихо, и, какъ раньше, слышно было только шипъніе угля и назойливый крикъ кузнечика.

Красное отъ вина лицо Квашнина поблъднъло. Онъ нервно поставилъ на столъ бокалъ, который держалъ въ рукъ, и вино изъ бокала расплескалось по скатерти.

— A бельгійцы? — спросилъ онъ отрывисто и хрипло.

Десятникъ отрицательно замоталъ головой и опять зашепталъ что-то подъ самымъ ухомъ Квашнина.

- А, чортъ! воскликнулъ вдругъ Квашнинъ, вставая съ мѣста и комкая въ рукахъ салфетку. Надо же было... Подожди, ты сейчасъ же отвезешь на станцію телеграмму къ губернатору. Господа, громко и взволнованно обратился онъ къ присутствующимъ: на заводѣ безпорядки... Надо принимать мѣры, и... и, кажется, намъ лучше всего будетъ немедленно уѣхать отсюда...
- Такъ я и зналъ, презрительно, со спокойной злобой сказалъ Андреа.

И въ то время, когда всѣ засуетились, онъ медленно досталъ новую сигару, нащупалъ въ карманѣ спички и налилъ себѣ въ стаканъ коньяку.

XI.

Началась безтолковая, нелѣпая сумятица. Всѣ поднялись съ мѣстъ и забѣгали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь объ опрокинутые стулья. Дамы торопливо надѣвали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавокъ погасить электрическіе фонари, и это еще больше усилило общее смятеніе... Въ темнотѣ послышались истерическіе женскіе крики.

Было около пяти часовъ. Солнце еще не всходило, но небо замѣтно посвѣтлѣло, предвѣщая своимъ сѣрымъ, однообразнымъ тономъ начало ненастнаго дня. Блѣдный, тусклый, однообразный полусвѣтъ занимающагося утра, такъ быстро и неожиданно смѣнившій яркое сіяніе электричества, придавалъ картинѣ общаго смятенія страшный, удручающій, почти фантастическій характеръ. Человѣческія фигуры казались привидѣніями изъ какой-то фантастической бредовой сказки. Измятыя безсонной ночью, взволнованныя лица были страшны. Обѣденный столъ, залитый виномъ и безпорядочно загроможденный посудой, напоминалъ о какомъ-то чудовищномъ, внезапно прерванномъ пиршествѣ.

Около экипажей суматоха была еще безобразнъе: испуганныя лошади храпъли, взвивались на дыбы и не давались зануздывать; колеса сцъплялись съ колесами и слышался трескъ ломающихся осей; инженеры выкрикивали по именамъ своихъ кучеровъ, озлобленно

ругавшихся между собою. Въ общемъ получалось впечатлѣніе того оглушительнаго хаоса, который бываетъ только на большихъ ночныхъ пожарахъ. Кого-то переъхали, или, можетъ-быть, раздавили. Былъ слышенъ вопль.

Бобровъ никакъ не могъ отыскать Митрофана. Раза два или три ему послышалось, будто его кучеръ отзывается на крикъ откуда-то изъ самой середины перепутавшихся экипажей. Но проникнуть туда не было никакой возможности, потому что давка становилась съ каждой минутой все сильнъе и сильнъе.

Вдругъ въ темнотъ вспыхнулъ высоко надъ толпой краснымъ пламенемъ огромный керосиновый факелъ. Послышались крики: «Съ дороги! Съ дороги! Посторонитесь, господа! Съ дороги!» Стремительная человъческая волна, гонимая сильнымъ напоромъ, подхватила Андрея Ильича, понесла его за собой, чуть не сбросивъсъ ногъ, и плотно прижала между задкомъ одной пролетки и дышломъ другой. Отсюда Бобровъ увидълъ, какъ между экипажами быстро образовалась широкая дорога, и какъ по этой дорогъ проъхалъ на своей тройкъ сърыхъ лошадей Квашнинъ. Факелъ, колебавшійся надъ коляской, обливалъ массивную фигуру Василія Терентьевича зловъщимъ, точно кровавымъ, дрожащимъ свътомъ.

Вокругъ его коляски выла отъ боли, страха и озлобленія стиснутая со всѣхъ сторонъ обезумѣвшая толпа... У Боброва что-то стукнуло въ вискахъ. На мгновеніе ему показалось, что это ѣдетъ вовсе не Квашнинъ, а какое-то окровавленное, уродливое и грозное божество, въ родѣ тѣхъ идоловъ восточныхъ культовъ, подъ колесницы которыхъ бросаются во время религіозныхъ шествій опьянѣвшіе отъ экстаза фанатики. И онъ задрожалъ отъ безсильнаго бѣшенства.

Когда провхалъ Квашнинъ, сразу стало немного свободнъе, и Бобровъ, обернувшись назадъ, увидълъ, что дышло, давившее ему спину, принадлежало его же собственной пролеткъ. Митрофанъ стоялъ около колесъ и зажигалъ факелъ.

- Скоръй на заводъ, Митрофанъ, крикнулъ Андрей Ильичъ, садясь. Чтобъ черезъ десять минутъ поспъть, слышишь!
 - Слушаю-съ, отвътилъ мрачно Митрофанъ.

Онъ обошелъ пролетку кругомъ, чтобы влѣзть на козлы, какъ подобаетъ всякому хорошему кучеру, справа, разобралъ вожжи и прибавилъ, полуобернувшись назалъ:

- Только ежели лошадей зарѣжемъ, вы тогда, баринъ, не серчайте.
 - .- Ахъ, все равно...

Осторожно, съ громаднымъ трудомъ выбравшись изъ этой массы сбившихся въ кучу лошадей и экипажей и выѣхавъ на узкую лѣсную дорогу, Митрофанъ пустилъ вожжи. Застоявшіяся, возбужденныя лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролетка подпрыгивала на длинныхъ, протянувшихся поперекъ дороги корняхъ, раскатывалась на ухабахъ и сильно накренялась то на лѣвый, то на правый бокъ, заставляя и кучера и сѣдока балансировать.

Красное пламя факела металось во всѣ стороны съ бурнымъ ропотомъ. Вмѣстѣ съ нимъ метались во-кругъ пролетки длинныя, причудливыя тѣни деревьевъ... Казалось, что тѣсная толпа высокихъ, тонкихъ и расплывчатыхъ призраковъ неслась рядомъ съ пролеткой въ какой-то нелѣпой пляскѣ. Призраки то перегоняли лошадей, вырастая до исполинскихъ размѣровъ, то вдругъ падали на землю и, быстро уменьшаясь, исчезали за спиной Боброва, то забѣгали на нѣсколько секундъ въ чащу и опять внезапно появлялись около самой про-

летки, то сдвигались тѣсными рядами и покачивались и вздрагивали, точно перешептываясь о чемъ-то между собою... Нѣсколько разъ вѣтви частаго кустарника, окаймлявшаго дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицамъ, будто чьи-то цѣпкія, тонкія, протянутыя впередъ руки.

Лѣсъ кончился. Лошади зашлепали ногами по какой-то лужѣ, въ которой запрыгало и зарябилось багровое блестящее пламя факела, и вдругъ дружнымъ галопомъ вывезли на крутой пригорокъ. Впереди разстилалось черное, однообразное поле.

— Да погоняй же, Митрофанъ, мы съ тобой никогда не доъдемъ! — крикнулъ Бобровъ нетерпъливо, хотя пролетка и безъ того неслась такъ, что дыханіе захватывало. Митрофанъ проворчалъ что-то недовольнымъ басомъ и ударилъ кнутомъ Фарватера, скакавшаго, изогнувшись кольцомъ, на пристяжкъ. Кучеръ недоумъвалъ, что сдълалось съ его бариномъ, всегда любившимъ и жалъвшимъ своихъ лошадей.

На горизонтъ огромное зарево отражалось неровнымъ трепетаніемъ въ ползущихъ по небу тучахъ. Бобровъ глядълъ на вспыхивающее небо, и торжествующее, нехорошее злорадство шевелилось въ немъ. Дерзкій, жестокій тостъ Андреа сразу открылъ ему глаза на все: и на холодную сдержанность Нины въ продолженіе нынфшняго вечера, и на негодованіе ея мамаши во время мазурки, и на близость Свѣжевскаго къ Василію Терентьевичу, и на всѣ слухи и сплетни, ходившіе по заводу объ ухаживаніи самого Квашнина за Ниной... «Такъ и надо ему, такъ и надо, рыжему чудовищу, шепталъ Бобровъ, ощущая такой приливъ злобы и такое глубокое сознаніе своего униженія, что даже во рту у него пересохло. — О, если бы мнъ теперь встрътиться съ нимъ лицомъ къ лицу, я бы надолго смутилъ самодовольный покой этого покупателя свъжаго мяса, этого

грязнаго, жирнаго мѣшка, биткомъ набитаго золотомъ. Я бы оставилъ хорошую печать на его мѣдномъ лбу!..»

Чрезмѣрное количество выпитаго сегодня вина не опьянило Андрея Ильича, но дѣйствіе его выразилось въ необычайномъ подъемѣ энергіи, въ нетерпѣливой и болѣзненной жаждѣ движенія... Сильный ознобъ потрясалъ его тѣло, зубы такъ сильно стучали, что приходилось крѣпко стискивать челюсти, мысль работала быстро, ярко и безпорядочно, какъ въ горячкѣ. Андрей Ильичъ, незамѣтно для самого себя, то разговаривалъ вслухъ, то стоналъ, то громко и отрывисто смѣялся, между тѣмъ какъ пальцы его сами собой крѣпко сжимались въ кулаки.

— Баринъ, да вы никакъ больны? Намъ бы домой ъхать, — сказалъ несмъло Митрофанъ.

Эти слова вдругъ привели Боброва въ неистовство, и онъ закричалъ хрипло:

— Не разговаривай, дуракъ!.. Гони!..

Скоро съ горы сталъ виденъ и весь заводъ, окутанный молочно-розовымъ дымомъ. Сзади, точно исполинскій костеръ, горълъ лъсной складъ. На яркомъ фонъ огня суетливо копошилось множество маленькихъ черныхъ человъческихъ фигуръ. Еще издали было слышно, какъ трещало въ племени сухое дерево. Круглыя башни кауперовъ и доменныхъ печей то ръзко и отчетливо выдвигались изъ мрака, то опять совершенно тонули въ немъ. Красное зарево пожара яркимъ и грознымъ блескомъ отражалось въ бурой водъ большого четырехугольнаго пруда. Высокая плотина этого пруда вся сплошь, безъ просвътовъ, была покрыта огромной черной толпой, которая медленно подвигалась впередъ и, казалось, кипъла. И необычайный — смутный и зловъщій — гулъ, похожій на ревъ отдаленнаго моря, доносился отъ этой страшной, густой, сжатой на узкомъ пространствъ человъческой массы.

- Куда тебя несетъ, дьяволъ! Не видишь развѣ, что ѣдешь на людей, сволочь! услыхалъ Бобровъ впереди грубый окрикъ, и на дорогѣ, точно вынырнувъ изъ-подъ лошадей, показался рослый, бородатый мужикъ, безъ шапки, съ головой, сплошь забинтованной бѣлыми тряпками.
 - Погоняй, Митрофанъ! крикнулъ Бобровъ.
- Баринъ! Подожгли, услышалъ онъ дрожащій голосъ Митрофана.

Но тотчасъ же онъ услышалъ свистъ брошеннаго сзади камня и почувствовалъ острую боль удара немного выше праваго виска. На рукъ, которую онъ поднесъ къ ушибленному мъсту, оказалась теплая, липкая кровь.

Пролетка опять понеслась съ прежней быстротой. Зарево становилось все сильнъе. Длинныя тъни отъ лошадей перебъгали съ одной стороны дороги на другую. Временами Боброву начинало казаться, что онъ мчится по какому-то крутому косогору и вотъ-вотъ, вмъстъ съ экипажемъ и лошадьми, полетитъ съ отвъсной кручи въ глубокую пропасть. Онъ совершенно потерялъ способность опознаваться и никакъ не могъ узнать мъста, по которому проъзжалъ. Вдругъ лошади стали.

- Ну, чего же ты остановился, Митрофанъ? раздражительно закричалъ Бобровъ.
- А куда жъ я поѣду, коли впереди люди? отозвался Митрофанъ, съ угрюмымъ озлобленіемъ въ голосѣ.

Бобровъ, какъ ни всматривался въ сѣрый предутренній полумракъ, ничего не видѣлъ, кромѣ какой-то черной неровной стѣны, надъ которую пламенѣло небо.

— Какихъ ты тамъ еще людей видишь, чортъ возьми! — выругался онъ, слѣзая съ пролетки и обходя лошадей, покрытыхъ бѣлыми комьями пѣны.

Но едва онъ отошелъ пять шаговъ отъ лошадей, какъ убъдился, что то, что онъ принималъ за черную стъну, была большая, тъсная толпа рабочихъ, запружавшая дорогу и медленно, въ молчаніи подвигавшаяся впередъ. Пройдя машинально вслъдъ за рабочими шаговъ пять-десять, Андрей Ильичъ повернулъ назадъ, чтобы найти Митрофана и объъхать заводъ съ другой стороны. Но ни Митрофана ни лошадей на дорогъ не было. Митрофанъ ли поъхалъ въ другую сторону отыскивать барина, или самъ Бобровъ заблудился — понять этого Андрей Ильичъ не могъ. Онъ сталъ кричать кучера — никто ему не откликался. Тогда Бобровъ ръшилъ догнать только-что оставленныхъ рабочихъ и съ этой цълью опять повернулся и побъжалъ, какъ ему. казалось, въ прежнюю сторону. Но, странно, рабочіе точно провалились сквозь землю, и вмѣсто нихъ Бобровъ уперся съ разбъгу въ невысокій деревянный заборъ.

Забору этому не было конца ни вправо ни влѣво. Бобровъ перелѣзъ черезъ него и сталъ взбираться по какому-то длинному, крутому откосу, поросшему частымъ бурьяномъ. Холодный потъ струился по его лицу, языкъ во рту сдѣлался сухъ и неподвиженъ, какъ кусокъ дерева; въ груди при каждомъ вздохѣ ощущалась острая боль; кровь сильными, частыми ударами била въ темя; ушибленный високъ нестерпимо нылъ...

Ему казалось, что подъемъ безконеченъ, и тупое отчаяніе овладѣвало его душой. Но онъ продолжалъ карабкаться наверхъ, ежеминутно падая, ссаживая кольни и хватаясь руками за колючіе кусты. Временами ему представлялось, что онъ спитъ и видитъ одинъ изъ своихъ лихорадочныхъ, болѣзненныхъ сновъ. И паническій переполохъ послѣ пикника, и долгое блужданіе по дорогѣ, и безконечное карабканье по насыпи —

все было такъ же тяжело, нелъпо, неожиданно и ужасно, какъ эти кошмары.

Наконецъ откосъ кончился, и Бобровъ сразу узналъ желѣзнодорожную насыпь. Съ этого мѣста фотографъ снималъ наканунѣ, во время молебна, группу инженеровъ и рабочихъ. Совершенно обезсиленный, онъ сѣлъ на шпалу, и въ ту же минуту съ нимъ произошло что-то странное: ноги его вдругъ болѣзненно ослабли, въ груди и въ брюшной полости появилось тягучее, щемящее, отвратительное раздраженіе, лобъ и щеки сразу похолодѣли. Потомъ все повернулось передъ его глазами и вихремъ понеслось мимо, куда-то въ безпредѣльную глубину.

Андрей Ильичъ очнулся отъ обморока по крайней мъръ черезъ полчаса. Внизу, у подножія насыпи, тамъ, гдъ обыкновенно съ несмолкаемымъ грохотомъ день и ночь работалъ исполинскій заводъ, была необычная, жуткая тишина. Бобровъ съ трудомъ поднялся на ноги и пошелъ по направленію къ доменнымъ печамъ. Голова его была такъ тяжела, что съ трудомъ держалась на плечахъ, больной високъ при каждомъ движеніи причинялъ невыносимую боль. Ощупывая рану, онъ опять почувствовалъ пальцами липкое и теплое прикосновеніе крови. Кровь была также у него во рту и на губахъ: онъ слышалъ ея соленый, металлическій вкусъ. Сознаніе еще не вполнъ вернулось къ нему, и усиліе вспомнить и уяснить прошедшее причиняло ему сильную головную боль. Острая тоска и отчаянная, безпредметная злоба переполняли его душу...

Утро замѣтно уже близилось. Все было сѣро, холодно и мокро: и земля, и небо, и тощая желтая трава, и безформенныя кучи камня, сваленнаго по сторонамъ дороги. Бобровъ безцѣльно бродилъ между опустѣвшихъ заводскихъ зданій и, какъ это случается иногда при особенно сильныхъ душевныхъ потрясеніяхъ, гово-

рилъ самъ съ собою вслухъ. Ему хотълось удержать, привести въ порядокъ разбъгавшіяся мысли.

— Ну, скажи же, скажи, что мнт дтлать? Скажи, ради Бога, — страстно шепталъ онъ, обращаясь къ кому-то другому, постороннему, какъ будто сидтвшему внутри его. — Ахъ, какъ мнт тяжело! Ахъ, какъ мнт больно!.. Невыносимо больно!.. Мнт кажется, я убью себя... Я не выдержу этой муки...

А другой, посторонній, возражаль изъ глубины его души, также вслухъ, но насмѣшливо-грубо:

- Нътъ, ты не убъешь себя. Зачъмъ передъ собой притворяться?.. Ты слишкомъ любишь ощущеніе жизни для того, чтобы убить себя. Ты слишкомъ немощенъ духомъ для этого. Ты слишкомъ боишься физической боли. Ты слишкомъ много размышляешь.
- Что же мнъ дълать? Что же мнъ дълать? шепталъ опять Андрей Ильичъ, ломая руки. Она такая нъжная, такая чистая моя Нина! Она была у меня одна во всемъ міръ. И вдругъ о, какая гадость! продать свою молодость, свое дъвственное тъло!..
- Не ломайся, не ломайся; къ чему эти пышныя слова старыхъ мелодрамъ, иронически говорилъ другой. Если ты такъ ненавидишь Квашнина, поди и убей его.
- И убью! закричалъ Бобровъ, останавливаясь и бъшено подымая кверху кулаки. И убью! Пусть онъ не заражаетъ больше честныхъ людей своимъ мерзкимъ дыханіемъ. И убью!

Но другой замътилъ съ ядовитой насмъшкой:

— И не убъешь. .. И отлично знаешь это. У тебя нътъ на это ни ръшимости ни силы. .. Завтра же опять будешь благоразуменъ и слабъ. . .

Среди этого ужаснаго состоянія внутренняго раздвоенія наступали минутные проблески, когда Бобровъ съ недоумѣніемъ спрашивалъ себя: что съ нимъ, и какъ онъ попалъ сюда, и что ему надо дѣлать? А сдѣлать что-то нужно было непремѣнно, сдѣлать что-то большое и важное, но что именно, — Бобровъ забылъ и морщился отъ боли, стараясь вспомнить. Въ одинъ изъ такихъ свѣтлыхъ промежутковъ онъ увидѣлъ себя стоящимъ надъ кочегарной ямой. Ему тотчасъ же съ необычайной яркостью вспомнился недавній разговоръ съ докторомъ на этомъ самомъ мѣстѣ.

Внизу никого изъ кочегаровъ не было: всѣ они разбѣжались. Котлы давно успѣли охладѣть. Только въ двухъ крайнихъ топкахъ еще рдѣлъ еле-еле каменный уголь... Безумная мысль вдругъ, какъ молнія, мелькнула въ мозгу Андрея Ильича. Онъ быстро нагнулся, свѣсилъ ноги внизъ, потомъ повисъ на рукахъ и спрыгнулъ въ кочегарку.

Въ кучѣ угля была воткнута лопата. Бобровъ схватилъ ее и торопливыми движеніями принялся совать уголь въ оба топочныя отверстія. Черезъ двѣ минуты бѣлое бурное пламя уже гудѣло въ топкахъ, а въ котлѣ глухо забурлила вода. Бобровъ все бросалъ и бросалъ, лопату за лопатой, уголь; въ то же время онъ лукаво улыбался, кивалъ кому-то невидимому головой и издавалъ отрывистыя, безсмысленныя восклицанія. Болѣзненная, мстительная и страшная мысль, мелькнувшая еще тамъ, на дорогѣ, овладѣвала имъ все болѣе. Онъ смотрѣлъ на огромное тѣло котла, начинавшаго гудѣть и освѣщаться огненными отблесками, и оно казалось ему все болѣе живымъ и ненавистнымъ.

Никто не мѣшалъ. Вода быстро убавлялась въ водомѣрѣ. Клокотаніе котла и гудѣніе топокъ становилось все грознѣе и громче.

Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы въ вискахъ стали биться съ горячечной быстротой и напряженностью, кровь изъ раны потекла по щекъ теплой струей. Безумная вспышка энергіи прошла, а

внутренній, посторонній голосъ заговориль громко и насмѣшливо:

— Ну, что же, остается сдълать одно еще движеніе! Но ты его не сдълаешь... Вазта... Въдь все это смъшно, и завтра ты не посмъешь даже признаться, что ночью хотълъ взрывать паровые котлы.

Солнце уже показалось на горизонтъ, въ видъ тусклаго большого пятна, когда Андрей Ильичъ пришелъ въ заводскую больницу.

Докторъ, только-что прервавшій на минуту перевязку раненыхъ и изувъченныхъ людей, умывалъ руки подъ мъднымъ рукомойникомъ. Фельдшеръ стоялъ рядомъ и держалъ полотенце. Увидъвъ вошедшаго Боброва, докторъ попятился назадъ отъ изумленія.

— Что съ вами, Андрей Ильичъ, на васъ лица нътъ, — проговорилъ онъ съ испугомъ.

Дъйствительно, видъ у Боброва былъ ужасный. Кровь запеклась черными сгустками на его блъдномъ лицъ, выпачканномъ во многихъ мъстахъ угольною пылью. Мокрая одежда висъла клочьями на рукавахъ и на колъняхъ; волосы падали безпорядочными прядями на лобъ.

- Да говорите же, Андрей Ильичъ, ради Бога, что съ вами случилось? повторилъ Гольдбергъ, наскоро вытирая руки и подходя къ Боброву.
- Ахъ, это все пустяки... простоналъ Бобровъ. Ради Бога, докторъ, дайте морфія... Скоръе морфія, или я сойду съ ума!.. Я невыразимо страдаю!..

Гольдбергъ взялъ Андрея Ильича за руку, поспъшно увелъ въ другую комнату и, плотно притворивъ дверь, сказалъ:

— Послушайте, я догадываюсь, что васъ терзаетъ... Повърьте, мнъ васъ глубоко жаль, и я готовъ помочь

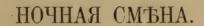
вамъ... Но... голубушка моя, — въ голосъ доктора послышались слезы: — милый мой Андрей Ильичъ... не можете ли вы потерпъть какъ-нибудь?.. Вы только вспомните, сколькихъ намъ трудовъ стоило побороть эту поганую привычку! Бъда, если я вамъ теперь сдълаю инъекцію... вы уже больше никогда... понимаете, никогда не отстанете.

Бобровъ повалился на широкій клеенчатый диванъ лицомъ внизъ и пробормоталъ сквозь стиснутые зубы, весь дрожа отъ озноба:

— Все равно... мнѣ все равно, докторъ... Я не могу больше выносить.

Докторъ вздохнулъ, пожалъ плечами и вынулъ изъ аптечнаго шкапа футляръ съ правацовскимъ шприцемъ. Черезъ пять минутъ Бобровъ уже лежалъ на клеенчатомъ диванъ въ глубокомъ снъ. Сладкая улыбка играла на его блъдномъ, исхудавшемъ за ночь лицъ. Докторъ осторожно обмывалъ его голову.







Въ казармъ четырнадцатой роты давно окончили вечернюю перекличку и пропъли молитву. Уже одиннадцатый часъ въ началъ, но люди не спъшатъ раздъваться. Завтра воскресенье, а въ воскресенье всъ, кромъ должностныхъ, встаютъ часомъ позже.

Дневальный — Лука Меркуловъ — только-что «заступилъ на смѣну». До двухъ часовъ пополуночи онъ долженъ не спать, ходить по казармѣ въ шинели, въ шапкѣ и со штыкомъ на боку и слѣдить за порядкомъ: за тѣмъ, чтобы не было покражъ, чтобы люди не выбѣгали на дворъ раздѣтыми, чтобы въ помѣщеніе не проникали постороннія лица. Въ случаѣ посѣщенія начальства, онъ обязанъ рапортовать о благополучіи и о всемъ происшедщемъ.

Меркуловъ дневалитъ не въ очередь, а въ наказаніе, — за то, что въ прошедшій понедѣльникъ, во время подготовительныхъ къ стрѣльбѣ упражненій, его скатанная шинель была обвязана не ременнымъ трынчикомъ, который у него украли, а веревочкой. Дневалитъ онъ черезъ день вотъ уже третій разъ, и все ему достаются самые тяжелые ночные часы.

Меркуловъ плохой фронтовикъ. Нельзя сказать, чтобы онъ былъ лѣнивъ и нестарателенъ. Просто ему

не дается сложное искусство чисто дълать ружейные пріемы, вытягивать при маршировкъ внизъ носокъ ноги, «подаваясь всъмъ корпусомъ впередъ», и въ должной степени «затаивать дыханіе въ моментъ спуска ударника» при стръльбъ. Тъмъ не менъе онъ извъстенъ за солдата серьезнаго и обстоятельнаго: въ одеждъ наблюдаетъ опрятность; сквернословитъ сравнительно мало; водку пьетъ только казенную, какую даютъ по большимъ праздникамъ, а въ свободное время медленно и добросовъстно точаетъ сапоги, — не болъе пары въ полгода, но зато какіе сапоги! — огромные, тяжеловъсные, не знающіе износа, — меркуловскіе сапоги.

Лицо у него шершавое, сѣрое, въ одинъ тонъ съ шинелью и съ оттѣнкомъ той грязной блѣдности, которую придаетъ простымъ лицамъ воздухъ казармъ, тюремъ и госпиталей. Странное и какое-то неумѣстное впечатлѣніе производятъ на меркуловскомъ лицѣ выпуклые глаза удивительно нѣжнаго и чистаго цвѣта — добрые, дѣтскіе и до того ясные, что они кажутся сіяющими. Губы у Меркулова простодушныя, толстыя, особенно верхняя, надъ которой точно прилизанъ рѣдкій бурый пушокъ.

Въ казармъ гомонъ. Четыре длинныхъ, сквозныхъ комнаты еле освъщены коптящимъ красноватымъ свътомъ четырехъ жестяныхъ ночниковъ, висящихъ въ каждомъ взводъ у стъны ручкой на гвоздикъ. По серединъ комнатъ тянутся въ два ряда сплошныя нары, покрытыя сверху сънниками. Стъны выбълены известкой, а снизу выкрашены коричневой масляной краской. Вдоль стънъ стоятъ въ длинныхъ деревянныхъ стойкахъ красивыми, стройными шеренгами ружья; надъними висятъ въ рамкахъ олеографіи и гравюры, изображающія въ грубомъ, наглядномъ видъ всю солдатскую науку.

Меркуловъ медленно ходитъ изъ взвода въ взводъ. Ему скучно, хочется спать, и онъ чувствовалъ зависть ко всѣмъ этимъ людямъ, которые копошатся, галдятъ и хохочутъ въ тяжелой мглѣ казармы. У всѣхъ у нихъ впереди такъ много часовъ сна, что они не боятся отнять у него нѣсколько минутъ. Но всего томительнѣе, всего непріятнѣе — сознаніе, что черезъ полчаса вся рота замолкнетъ, уснетъ, и только Меркуловъ остается бодрствовать — тоскующій и забытый, одинокій среди ста человѣкъ, перенесенныхъ какою-то ужасной, таинственной силой въ невѣдомый міръ.

Во второмъ взводъ тъсно сбились въ кучу около десяти или двънадцати солдатиковъ. Они такъ близко разстлись и разлеглись другъ возлт друга на нарахъ, что сразу не разберешь, къ какимъ головамъ и спинамъ принадлежатъ какія руки и ноги. Въ двухъ-трехъ мѣстахъ то и дъло вспыхиваютъ красные огоньки «цыгарокъ». Въ самой серединъ сидитъ, поджавъ подъ себя ноги, старый солдатъ Замошниковъ, — «дядька Замошниковъ», какъ его называетъ вся рота. Замошниковъ — маленькій, худой, подвижной солдатикъ, общій любимецъ, запѣвала и добровольный увеселитель. Мфрно покачиваясь взадъ и впередъ и потирая колфни ладонями, онъ разсказываетъ сказку, держась все время пониженнаго, медленнаго и какъ будто бы недоумъвающаго тона. Его слушаютъ въ сосредоточенномъ молчаніи. Изрѣдка одинъ изъ присутствующихъ, захваченный интересомъ разсказа, вдругъ вставитъ, не вытерпѣвъ, торопливое, восхищенно-ругательное восклицаніе.

Меркуловъ останавливается подлѣ кучки и равнодушно прислушивается.

— И посылаетъ этта ему турецкій салтанъ большущую бочку мака и пишетъ ему письмо: «Ваше пріасхадительство, славный и храбрый генералъ Скобелевъ! Даю я тебъ три дня и три ночи строку, чтобы ты пересчиталъ весь этотъ макъ до единаго зерна. И сколько, значитъ, ты зеренъ насчитаешь, столько у меня въ моемъ войскъ есть солдатовъ». Прочиталъ генералъ Скобелевъ салтаново письмо и вовсе даже отъ этого не испужался, а только, наоборотъ, посылаетъ обратно турецкому салтану горсточку стручковаго перцу. — «У меня, говоритъ, солдатовъ куда противъ твоего меньше, всего-навсего одна малая горстка, а нука-ся, попробуйка, — раскуси!..»

— Ловко повернулъ! — одобряетъ голосъ за спиной Замошникова.

Другіе слушатели сдержанно см'єются.

- Да... На-ка, говоритъ, раскуси, попробуй! повторяетъ Замошниковъ, жалъя разстаться съ выигрышнымъ мъстомъ. Салтанъ-то ему, значитъ, бочку мака, а онъ ему горсть перцу: «На-ка-сь, говоритъ, выкуси!» Это Скобелевъ-то нашъ, салтану-то турецкому. «У меня, говоритъ, солдатовъ всего одна горсточка, а попробуй-ка, поди-ка, раскуси!..»
- Вся, что ли, сказка-то, дядька Замошниковъ? робко спрашиваетъ какой-то нетерпъливый слушатель.
- А ты... погоди, братецъ мой, досадливо замъчаетъ ему Замошниковъ. Ты не подталдыкивай... Сказку сказыватъ это, братъ, тоже не блохъ ловить... Да... Затъмъ, помолчавъ немного и успокоившись, онъ продолжаетъ сказку. Да... «Хоть и малая, говоритъ, горсточка, а поди-ка, раскуси...» Прочиталъ турецкій салтанъ скобелевское письмо и опять ему пишетъ: «Убери, ты, по добру, по здорову, свое храброе войско изъ моей турецкой земли... А ежели ты своего храбраго войска убрать не захочешь, то дамъ я своимъ солдатамъ по чаркъ водки, солдаты мои отъ этого разсердятся и выгонятъ въ три дня всю твою армію изъ Турціи». А Скобелевъ ему сейчасъ отвътъ: «Великій и славный турецкій салтанъ, какъ это смъешь ты, ту-

рецкая твоя морда, мнѣ такія слова писать? Нашелъ чѣмъ стращать: «по чаркѣ водки дамъ!». А я вотъ своимъ солдатушкамъ три дня лопать ничего не дамъ, и они тебя, распротакого-то сына, со всѣмъ твоимъ войскомъ живьемъ сожрутъ и назадъ не вернутъ, такъ ты безъ вѣсти и пропадешь, собачья образина, свиное твое ухо!..» Какъ услышалъ эти слова турецкій салтанъ, сильно онъ, братцы мои, въ ту пору испужался и сейчасъ подался на замиренье. — «Ну, говоритъ, тебя совсѣмъ къ Богу и съ войскомъ съ твоимъ. Вотъ тебѣ мельонтъ рублей денегъ, и отвяжись ты отъ меня, пожалуйста...»

Замошниковъ молчитъ съ минуту и потомъ добавляетъ коротко:

— Вся сказка, ребята.

Слушатели оживляются, и кучка начинаетъ шевелиться. Со всѣхъ сторонъ раздается одобрительная ругань.

- Важно онъ яво, братцы!..
- Н-да-а, саданулъ... нечего сказать...
- На что лучше... Я, гритъ, своимъ солдатамъ три дни ѣсть не дамъ, такъ они тебя, мерзавца, живьемъ слопаютъ. Какъ онъ ему сказалъ, дядька Замошниковъ? А, дядька Замошниковъ?

Замошниковъ повторяетъ ту же самую фразу слово въ слово.

- Куда жъ противъ нашихъ! подхватываютъ хвастливые голоса.
 - Ку-у-да-а!.. Противъ руцкихъ-то!
- Ежели противъ нашихъ, такъ это еще, братъ, погодить надоть.
- Да еще и какъ погодить-то... Это такое дѣло, что надо благословимшись да каши сперва поѣмши.

Замошниковъ въ это время тянется къ огоньку цыгарки, то вспыхивающему, то погасающему подлъ него, и говоритъ небрежно:

— Дай-ка-сь, братецъ, потянуть разочекъ. Что-й-то смерть покурить хоцца.

Онъ нѣсколько разъ подъ рядъ торопливо и глубоко затягивается, пуская дымъ изъ носа двумя прямыми, сильными струями. Лицо его, особенно подбородокъ и губы, поперемѣнно то озаряются краснымъ блескомъ, то мгновенно тухнутъ, пропадаютъ въ темнотѣ. Чья-то рука протягивается къ его рту за цыгаркой, и чей-то голосъ проситъ:

- A ну-ка, дядька Замошниковъ, оставь, я покурю немножко.
- Кто покурить, а кто и поплюить, отръзаетъ Замошниковъ.

Солдаты смѣются: «Ужъ этотъ Замошниковъ... всегда такое ввернетъ!..» Поощренный Замошниковъ продолжаетъ шутить:

— Знаешь, братъ, какъ нонче курятъ? Табачокъ вашъ, бумажку дашь, вотъ и покуримъ.

Однако онъ тутъ же суетъ въ протянутую руку окурокъ, сплевываетъ на сторону, перегнувшись черезъ чью-то спину, и говоритъ:

- А вотъ тоже, ребята, знаю я еще одну исторію. Може, кто слышалъ изъ васъ? Про то, какъ солдатъ прицъпилъ себъ желъзные когти и лазилъ къ царевнъ на башню? Если знаете, такъ я лучше и сказывать не буду.
- Не знаемъ... Нѣтъ, нѣтъ... Валяй, дядька Замошниковъ. Никто не слыхалъ.
- Начинается это такъ, что жилъ-былъ на свѣтѣ солдатъ Яшка, Мѣдная пряжка. И былъ, братцы мои, этотъ солдатъ удивительный человѣкъ на свѣтѣ...

Меркуловъ вяло отходитъ прочь. Въ другое время онъ самъ съ живымъ удовольствіемъ слушалъ бы сказки Замошникова, но теперь ему даже кажется страннымъ, какъ это другіе могутъ слушать съ такимъ интересомъ вещи незанимательныя, скучныя и, главное, завѣдомо вымышленныя.

«Ишь, черти, и ко сну ихъ не манитъ, — злобно думаетъ Меркуловъ. — Будутъ себъ цълую ночь дрыхнуть»...

Онъ подходить къ окну. Стекла изнутри запотъли, и по нимъ то и дъло быстро и извилисто сбъгаютъ капли. Меркуловъ протираетъ рукавомъ шинели стекло, прижимается къ нему лбомъ и загораживаетъ глаза съ объихъ сторонъ ладонями, чтобы не мъшало отраженіе ночника. На дворъ осенняя, дождливая, черная ночь. Свътъ, падающій изъ окна, лежитъ на землъ косымъ, вытянутымъ четырехугольникомъ, и видно, какъ въ этой свътлой полосъ морщится и рябится отъ дождя большая лужа. Далеко впереди и внизу, точно на краю свъта, чуть-чуть блестятъ огни мъстечка. Больше ничего не различаетъ глазъ въ темнотъ ненастной ночи.

Постоявъ немного у окна, Меркуловъ идетъ дальше, въ четвертый взводъ, обходитъ его и медленно бредетъ по другой сторонъ казармы, вдоль оконъ. На самомъ концъ наръ, по бокамъ угла усълись, спустивъ ноги, двое солдатъ — Панчукъ и Коваль. Между ними стоитъ маленькій деревянный сундучокъ съ замкомъ на кольцахъ. На сундукъ лежитъ цъльный хлъбъ, накроенный толстыми люмтями во всю длину, пятокъ луковицъ, кусокъ свиного сала и крупная сърая соль въ чистой тряпкъ. Панчукъ и Коваль связаны между собою странной, молчаливой дружбой, основанной на необычайномъ обжорствъ. Имъ не хватаетъ казенныхъ шести фунтовъ хлъба; они прикупаютъ его каждый день у товарищей и всегда поъдаютъ его вмъстъ, обыкновенно вечеромъ, не обмъ

115

ниваясь при этомъ ни единымъ словомъ. Оба они изъзажиточныхъ семействъ и ежемъсячно получаютъ изъдому по рублю и даже по два...

Каждый изъ нихъ поочередно узкимъ ножикомъ, источеннымъ до того, что его острее даже вогнулось внутрь, отръзаетъ нъсколько тонкихъ, какъ папиросная бумага, кусочковъ сала и аккуратно распластываетъ ихъ между двумя ломтями хлъба, круто посоленными съ объихъ сторонъ. Потомъ они начинаютъ молча и медленно поъдать эти огромные бутерброды, лъниво болтая спущенными внизъ ногами.

Меркуловъ останавливается противъ нихъ и тупо смотритъ, какъ они ъдятъ. Видъ сала вызываетъ у него подъ языкомъ острую слюну, но просить онъ не ръшается: все равно ему отвътятъ отказомъ и хлесткой насмъшкой. Однако онъ все-таки произноситъ срывающимся голосомъ, въ которомъ слышится почти просьба:

- Хлѣбъ да соль, ребята.
- Ъмъ, да свой, а ты рядомъ постой, отвъчаетъ совершенно серьезно Коваль и, не глядя на Меркулова, обчищаетъ ножомъ отъ коричневой шелухи луковицу, ръжетъ ее на четыре части, обмакиваетъ одну четверть въ соль и жуетъ ее съ сочнымъ хрустъніемъ. Панчукъ ничего не говоритъ, но смотритъ прямо въ лицо Меркулову тупыми, сонными, неподвижными глазами. Онъ громко чавкаетъ, и на его массивныхъ скулахъ, подъ обтягивающей ихъ кожей, напрягаются и ходятъ связки челюстныхъ мускуловъ.

Нѣсколько минутъ всѣ трое молчатъ. Наконецъ Панчукъ съ трудомъ проглатываетъ большой кусокъ и сдавленнымъ голосомъ равнодушно спрашиваетъ:

— Что, братъ, дневалишь?

Онъ и безъ того отлично знаетъ, что Меркуловъ дневалитъ, и предложилъ этотъ вопросъ ни съ того ни съ сего, безъ всякаго интереса; просто, такъ себъ, спро-

силось. И Меркуловъ такъ же равнодушно испускаетъ, вмѣсто отвѣта, длинное ругательство, неизвѣстно кому адресованное: двумъ ли солдатамъ, которые имѣютъ возможность объѣдаться хлѣбомъ съ саломъ, или начальству, заставившему Меркулова не въ очередь дневалить.

Онъ отходитъ отъ пріятелей, продолжающихъ свою молчаливую, медленную ѣду, и бредетъ дальше. Сырая казарма быстро нагрѣвается человѣческимъ дыханіемъ: Меркулову даже становится жарко въ его шинели. Нѣсколько разъ кряду онъ обходитъ всѣ взводы, со скукой прислушиваясь къ разговору, громкому смѣху, руготнѣ и пѣнію, долго не смолкающимъ въ ротѣ. Ничего его не смѣшитъ и не занимаетъ, но въ душѣ ему сильно хочется, чтобы еще долго, долго, хоть всю ночь, не затихалъ этотъ шумъ, чтобы только ему, Меркулову, не оставаться одному въ ужасной тишинѣ спящей казармы.

Въ концѣ перваго взвода стоитъ отдѣльная нара унтеръ-офицера Евдокима Ивановича Ноги, ближайшаго начальника Меркулова. Евдокимъ Ивановичъ — большой франтъ, бабникъ, говорунъ и человѣкъ зажиточный. Его нара поверхъ сѣнника покрыта толстымъ ватнымъ одѣяломъ, сшитымъ изъ множества разноцвѣтныхъ квадратиковъ и треугольниковъ; въ головахъ къ деревянной спинкѣ прилѣплено хлѣбомъ маленькое, круглое, треснутое посрединѣ зеркальце въ жестяной оправѣ.

Евдокимъ Ивановичъ безъ мундира и босой лежитъ сверхъ своего великолъпнаго одъяла на спинъ, заложивъ за голову руки и задравъ кверху ноги, изъ которыхъ одна упирается пяткой въ стъну, а другая черезъ нее перекинута. Изъ угла рта торчитъ у него камышевый мундштукъ со вставленной въ него дымящейся «кручонкой». Передъ унтеръ-офицеромъ въ понурой, печальной и покорной позъ большой обезьяны стоитъ рядовой его взвода Шангирей Камафутдиновъ — блъд-

ный, грязный, глуповатый татаринъ, не выучившій за три года своей службы почти ни одного русскаго слова, — посмъшище всей роты, ужасъ и позоръ инспекторскихъ смотровъ.

Ногъ не спится, и, пользуясь минутой, онъ «репетитъ» съ Камафутдиновымъ «словесность». У татарина отъ умственнаго напряженія виски и конецъ носа покрылись мелкими каплями пота. Время отъ времени онъ вытаскиваетъ изъ кармана грязную ветошку и сильно третъ ею свои зараженные трахомой, воспаленные, распухшіе, гноящіеся глаза.

- Идіотъ турецкій! Морда! Что я тебя спрашиваю? Ну! Что я тебя спрашиваю, идолъ? — кипятится Нога. Камафутдиновъ молчитъ.
- Эоіопъ неумытый! Какъ твое ружье называется? Говори, какъ твое ружье называется, скотина подлая! Камафутдиновъ третъ свои больные глаза, переминается съ ноги на ногу, но продолжаетъ молчать.
- Ахъ, ты!.. Нътъ съ тобой никакой моей возможности! Ну, повторяй за мной... И Нога произноситъ, громко отчеканивая каждый слогъ: Ма-ло-кали-бер-на-я, ско-ро-стръль-на-я.
- Малякарли... карасти... испуганно и торопливо повторяетъ Камафутдиновъ.
- Дура! Не спѣши... Еще разъ: малокалиберная, скорострѣльная...
 - Малякяли... скарлястиль...
- У-у! Образина татарская! И Нога дълаетъ на него злобно-искаженную физіономію. Ну, чортъ съ тобой. . . Дальше повторяй: пъхотная винтовка. . .
 - Пихоть бинтофкъ...
 - Со скользящимъ затворомъ...
 - Заскальзяситворомъ...
 - Системы Бердана, номеръ второй...
 - Ссемъ бирданъ, номеръ тарой.

- Такъ... Ну, катай сначала.

Татаринъ вяло мнется и опять лѣзетъ въ карманъ за тряпкой.

- Ну же! Чортъ!
- К... к... кали... калибри... заскальзи... Камафутдиновъ наугадъ подбираетъ первые попадающіеся ему звуки.
- Заскальзи-и! перебиваетъ его унтеръ-офицеръ. Самъ ты заскальзи. Вставать мнѣ только не хочется, а то бы я тебѣ выутюжилъ морду-то! Весь фасонъ ты у меня во взводѣ нарушаешь!.. Ты думаешь, съ меня изъ-за тебя не зиськуется? Строго, братъ, зиськуется... Ну, повторяй опять: малокалиберная, скорострѣльная...

Въ концѣ перваго взвода, близъ желѣзной печки, разлеглись на нарахъ головами другъ къ другу трое старыхъ солдатъ и поютъ вполголоса, но съ большимъ чувствомъ и съ виднымъ удовольствіемъ вольную, «свою», деревенскую пѣсню. Первый голосъ высокимъ, нѣжнымъ фальцетомъ выводитъ грустную мелодію, небрежно выговаривая слова и вставляя въ нихъ для пѣвучести лишнія гласныя. Другой пѣвецъ старательно и бережно вторитъ ему въ терцію сиплымъ, но пріятнымъ и сочнымъ теноркомъ, немного въ носъ. Третій поетъ въ октаву съ первымъ глухимъ и невыразительнымъ голосомъ; въ иныхъ мѣстахъ онъ нарочно молчитъ, пропускаетъ два такта и вдругъ сразу подхватываетъ и догоняетъ товарищей въ своеобразной фугѣ.

Прощай, радость моя и покой, — Слышу, уважаеть оть меня милой. Ахъ, намы долыжно Съ та-або-ой... —

согласно и красиво вытягиваютъ первые голоса, а третій, отставшій отъ нихъ послѣ слова «должно», вдругъ

присоединяется къ нимъ рѣшительнымъ, крѣпкимъ подхватомъ:

Съ тобой разстаться.

И затъмъ всъ трое поютъ вмъстъ:

Тебя мнѣ не видать, Темною ночкой вмѣстѣ не гулять.

Закончивъ куплетъ, голосъ, пъвшій мелодію, вдругъ беретъ страшно высокую ноту и долго-долго тянетъ ее, широко раскрывъ при этомъ ротъ, зажмуривъ глаза и поморщивъ отъ усилія носъ. Потомъ, сразу оборвавъ, точно отбросивъ эту ноту, онъ дълаетъ маленькую паузу, откашливается и начинаетъ снова:

Ахы, темыною ночикой Мнъ-ъ не сыпится, Сама я не знаю по-оче-ему...

— Сударь, почему! — ввертываетъ вдругъ третій увъреннымъ речитативомъ, и опять всъ втроемъ продолжаютъ:

Ахъ, буду помнить я Твои ласковые взоры, Твой веселый разговоръ...

Пѣсня эта знакома Меркулову еще съ деревни, и поэтому онъ слушаетъ ее очень внимательно. Ему кажется, что хорошо было бы теперь лежать раздѣтымъ, укрывшись съ головой шинелью, и думать про деревню и про своихъ, думать до тѣхъ поръ, пока сонъ тихо и ласково не заведетъ ему глазъ.

Пѣвцы вдругъ замолкаютъ. Меркуловъ долго дожидается, чтобы они опять запѣли; ему нравится неопредѣленная грусть и жалость къ самому себѣ, которую всегда вызываютъ въ немъ печальные мотивы. Но солдаты лежатъ молча на животахъ, головами другъ къ

другу: должно-быть, заунывная пъсня и на нихъ навъяла молчаливую тоску. Меркуловъ глубоко вздыхаетъ, долго скребетъ подъ шинелью зачесавшуюся грудь, сдълавъ при этомъ страдающее лицо, и медленно отходитъ отъ пъвцовъ.

Казарма затихаетъ постепенно. Только во второмъ взводъ слышатся то и дъло взрывы буйнаго хохота. Замошниковъ уже окончилъ исторію про солдата съ желѣзными когтями и теперь начинаетъ «приставлять». Онъ самъ — и актеръ и импровизаторъ. Его любимый номеръ, который онъ сейчасъ и разыгрываетъ, — это полковой смотръ, производимый строгимъ генераломъ Замошниковымъ. Здѣсь онъ является поочередно и толстымъ генераломъ съ одышкой, и полковымъ командиромъ, и штабсъ-капитаномъ Глазуновымъ, и фельдфебелемъ Тарасомъ Гавриловичемъ, и старухой-хохлушкой, которая только-что пришла изъ деревни и «восемнадцать літъ москаливъ не бачила», и кривоногимъ, косымъ рядовымъ Твердохлабомъ, и плачущимъ ребенкомъ и сердитой барыней съ собачкой, и татариномъ Камафутдиновымъ, и цълымъ батальономъ солдатъ, и музыкой, и полковымъ врачомъ. Навърно, каждый изъ слушателей не менъе десяти разъ присутствовалъ на «приставленьяхъ» Замошникова, но интересъ вовсе не ослабъваетъ отъ этого, тъмъ болъе, что Замошниковъ всегда наново разукрашиваетъ свое діалоги бойкими риомами и то и дъло загибаетъ поговорки, одна другой неожиданнъй и непристойнъй... Замошниковъ ведетъ сцену, стоя въ проходъ между нарами и окномъ, зрители разсѣлись и разлеглись на нарахъ.

— Муз-зыканты, по мъст-а-а-амъ! — командуетъ Замошниковъ хриплымъ, нарочно задушеннымъ голосомъ, преувеличенно разъвая ротъ и тряся закинутой назадъ головой: онъ, конечно, боится кричать громко и этими пріемами изображаетъ до извъстной степени

оглушительнож команды полкового командира. — Поолкъ! Слуша-а-ай! На крау-у-улъ! Музыка, играй... Трамъ, папимъ, тати-ра-рамъ...

Замошниковъ трубитъ маршъ, раздувая щеки и хлопая себя по нимъ ладонями, какъ по барабану. Затъмъ онъ говоритъ бойкой скороговоркой:

— Вотъ тдетъ на бъломъ конт храбрый генералъ Замошниковъ. Смотритъ соколомъ, грудь колесомъ. Весь мундиръ въ орденахъ, посмотришь — прямо тибъ беретъ страхъ. — «Здорово, молодцы, славные нижнеломовцы!» — «Здра-жела-вассс!» — «Молодцы, ребята!» — «Ради стараться, вассс!..» Сейчасъ полковой къ нему съ рапортомъ: — «Вашему пріасходительству, славному и храброму генералу Замошникову имъю честь лепортовать... Въ Нижнеломовскомъ развеселомъ полкъ все обстоитъ благополучно. По списку солдатовъ цълая тыща. Сто человъкъ въ лазаретъ валяется, сто по кабакамъ шатается, да сто въ бъгахъ обрътается. Пятьдесять подъ заборомъ лежатъ, пятьдесять подъ арестомъ сидятъ, а пятьдесятъ пьяные — на ногахъ не стоятъ... Двъсти по-міру пошли побираться, а другіе и совсъмъ никуда не годятся. Не стрижены, не бриты, морды у нихъ не умыты, подъ глазами синяки подбиты. Цълый годъ ничего не ъли, не пили, а только все по дъвкамъ ходили. Нътъ нашего полка на свътъ веселѣе!» — «Молодцы, ребята, спасибо, красавцы!» — «Ради стараться, вассс...» — «Претензій не имѣете?» — «Никакъ нътъ, вассс...» — «Хлъба много ъдите?» — «Точно такъ, вассс... очинно много: какъ фдимъ, такъ за ушами трещить, а съфдимъ, такъ въ брюхф пишшить». — «Молодцы, братцы. Такъ и надоть. Пой пъсни, хоть тресни, гляди орломъ, а ъсть не проси. Выдать каждому солдатику по манеркъ водки, да по фунту: табаку, да деньгами полтинникъ». — Покорнъйше благодаримъ вассс...»

«А тутъ с'часъ полковой впередъ выѣзжаетъ. — «По цирмуріальному маршу, по-ротно, на двухвзводную дистанцію... Первая рота шагомъ!» Музыка. Ту-рурумъ турумъ... Идутъ — ать, два! ать, два... Лѣвой!.. Лѣвой!.. Вдругъ: «Сто-ой! На-за-адъ! Отстави-ить!» — «Что т-такое за исторія?» — «Это у васъ какая рота, полковникъ?» — «Четырнадцатая — нарѣзная, вассс...» — «А это что за морда кривая стоитъ въ строю?» — «Рядовой Твердохлѣбъ, вассс...» — «Прогнать со смотра и всыпать пятьдесятъ...»

Солдаты хохочутъ, и всѣхъ громче рядовой Твердохлѣбъ, котораго со всѣхъ сторонъ толкаютъ подъ бока локтями. Дальше обыкновенно слѣдуетъ разсказъ о томъ, какъ послѣ смотра генералъ Замошниковъ обѣдаетъ у полкового командира.

«Вамъ борщу или супу, вассс?..» — «Мнѣ бы того и другого... поболѣ...» — «А водочки, вассс?..» — «Гм... можно и водочки... стаканчикъ». Затѣмъ идетъ изысканный разговоръ съ полковничьей дочкой. — «Барышня, угостите поцѣлуйчикомъ». — «Ахъ, что вы-съ... нешто это можно при папашахъ?.. Они увидаютъ...» — «Нельзя, значитъ?» — «Ахххъ... никакъ невозможно». — «Въ такомъ разѣ предпожалуйте ручку». — «Ручку извольте...»

Но Замошниковъ не успъваетъ докончить «приставленья». Внезапно растворяется дверь казармы, и въ просвътъ показывается фигура фельдфебеля Тараса Гавриловича, въ одномъ нижнемъ бъльъ, въ туфляхъ на босу ногу и въ очкахъ.

— Чего вы гогочете, словно жеребцы на овесъ? — раздается его сердитый старческій окрикъ. — Когда вы утихомиритесь?! Вотъ я васъ всѣхъ сейчасъ по мордамъ раскассирую. Ну!.. Живо расходись!..

Солдаты медленно, неохотно расходятся по своимъ мѣстамъ. Необыкновенно быстро, въ какихъ-нибудь

пять минуть, казарма совсъмъ стихаетъ. Гдъ-то среди наръ слышится торопливый шопотъ молитвы: «Господи, Сусе Христе... Сыне Божій, помилуй насъ... Пресвятая Троица, помилуй насъ». Гдъ-то звучно падаютъ одинъ за другимъ на асфальтовый полъ сброшенные съ ногъ сапоги. Кто-то кашляетъ глухо, съ надсадой, по-овечьи... Жизнь сразу прекратилась.

Меркуловъ продолжаетъ ходить по казармъ. Онъ идетъ вдоль стѣны, машинально обдирая ногтемъ большого пальца масляную краску. Солдаты лежатъ на нарахъ, покрытые сверху сѣрыми шинелями, тѣсно прижавшись другъ къ другу. При тускломъ, коптящемъ свѣтѣ ночниковъ очертанія спящихъ фигуръ теряютъ рѣзкость, сливаются, и кажется, будто это лежатъ не люди, а сѣрые, однообразные и неподвижные вороха шинелей.

Отъ-нечего-дълать Меркуловъ присматривается къ спящимъ. Одинъ лежитъ на спинъ, поднявъ и согнувъ подъ острымъ угломъ ноги; онъ полураскрылъ ротъ и дышитъ глубоко и ровно; съ лица его не сходитъ спокойное, глупое выражение. Другой спить на животъ. уткнувшись головой въ сгибъ лѣвой руки, между тѣмъ какъ правая протянута вдоль тъла и выворочена ладонью наружу. Голыя ноги высунулись изъ-подъ короткой шинели; икры на нихъ напружились, а концы пальцевъ сведены, какъ въ судорогъ. Вотъ скорчился солдатъ Естифеевъ, землякъ Меркулова и сосъдъ его по строю. Кажется, нарочно не примешь такой неестественной позы: голова глубоко засунута подъ кумачевую засаленную подушку, ноги прижаты чуть не къ самому подбородку. Должно-быть, кровь прилила Естифееву къ головъ, потому что изъ-подъ подушки раздаются медленные, мучительные стоны.

Меркулову жутко и тягостно. Всего нъсколько минутъ назадъ всъ эти сто человъкъ ходили, смъялись,

разговаривали, бранились... и вотъ они, всѣ до одного, лежатъ неподвижные, стонущіе и храпящіе, объятые и унесенные какой-то другой, непонятной, таинственной жизнью. Для каждаго изъ нихъ уже нѣтъ болѣе ни военной службы съ ея тягостями и напускнымъ весельемъ, ни скучнаго мрака казармы, ни сосѣда, безпокойно мечущагося у него на груди головой, ни одиноко бродящаго со своей тоской Меркулова. И темный ужасъ заползаетъ понемногу въ сердце Меркулова, съеживаетъ кожу на его черепѣ и волной холодныхъ мурашекъ бѣжитъ по его спинѣ.

Онъ останавливается противъ часовъ, висящихъ въ третьемъ взводѣ подъ ночникомъ, и долго, пристально смотритъ на нихъ. Меркуловъ плохо разбираетъ время, но онъ знаетъ (это ему терпѣливо и пространно объяснялъ сегодня дежурный), что когда большая стрѣлка станетъ прямо вверхъ, а маленькая почти перпендикулярно къ ней вправо, то тогда надо ему смѣняться. Это — обыкновенные двухрублевые часы съ бѣлымъ квадратнымъ циферблатомъ, разрисованнымъ по угламъ розанами, съ мѣдными гирьками, къ одной изъ которыхъ подвязаны веревкой камень и желѣзный болтъ, съ избитымъ отъ времени, точно изжеваннымъ, мѣднымъ маятникомъ.

— Ти-та, ти-та, — отсчитываетъ среди тишины маятникъ, и Меркуловъ внимательно прислушивается къ его ходу. Первый ударъ слабѣе и чище, а второй звучитъ глухо и выбивается съ трудомъ, какъ будто бы его что-то задерживаетъ внутри, и слышно, какъ между обоими ударами въ серединѣ часовъ передергивается какая-то цѣпочка. — Ти-к-та, ти-к-та. . . — И Меркуловъ шепчетъ вслѣдъ за ходомъ часовъ: «Тягота, тягота». . . Странная духовная связь есть между этими часами и ночнымъ бодрствованіемъ Меркулова: точно оба они — одни въ казармѣ — осуждены какой-то жестокой силой

тоскливо отсчитывать секунды и томиться долгимъ одиночествомъ. «Тягота, тягота», — монотонно и устало шепчетъ маятникъ. Въ казармъ скучно и жутко, ночники еле свътятъ, въ углахъ громоздятся безобразныя тъни, и Меркуловъ сонно шепчетъ вмъстъ съ маятникомъ: «Тя-го-та...»

Потомъ онъ идетъ въ дальній уголъ перваго взвода и садится между печкой и ружейной пирамидой, на высокомъ табуретъ съ залосненнымъ и почернъвшимъ отъ времени сидъньемъ. Отъ желъзной печки идетъ легкое тепло вмъстъ съ запахомъ угара. Меркуловъ глубоко засовываетъ руки въ рукава и задумывается.

Вспоминается ему письмо, полученное третьяго-дня «съ родины». Это письмо читали ему вслухъ: сначала взводный унтеръ-офицеръ, потомъ ротный писарь, потомъ всъ грамотные земляки, такъ что текстъ письма Меркуловъ успълъ выучить наизусть и даже подсказывалъ чтецамъ неразборчивыя мъста.

«Письмо солдатское, пъхотное, очень нужное. Письмо пущено съ родины 20-го сентября настоящаго года. Село Мокрые Верхи, отъ отца вашего.

«Любезный сынокъ нашъ Лука Моисеевичъ!

«Во первыхъ строкахъ сего письма посылаемъ тебѣ родительское наше благословеніе и желаемъ отъ Господа Бога скораго и счастливаго успѣха въ дѣлахъ вашихъ и увѣдомляемъ васъ, что мы съ матушкой вашей Лукерьей Трофимовной, слава Богу, живы и здоровы, чего и вамъ желаемъ. Еще кланяется вамъ любящая супруга Татьяна Ивановна и посылаетъ свое искренно любящее супружеское почтеніе, съ любовью низкій поклонъ и желаетъ вамъ отъ Бога всего хорошаго. Еще кланяется тебѣ любезный тестичекъ твой Иванъ Өедосеевичъ съ супругой и съ дѣтками и желаетъ вамъ успѣха въ дѣлахъ вашихъ. Еще кланяется вамъ братецъ

вашъ Николай Моисеевичъ съ супругой и съ дътками и съ низкимъ поклономъ желаетъ вамъ отъ Бога всего хорошаго.

«А у насъ все, слава Богу, благополучно, чего и тебѣ отъ всей души желаемъ. Въ деревнѣ у насъ все по-старому. На пречистую сгорѣлъ у насъ Николай Ивановъ съ большой дороги. Безпремѣнно не кто, какъ Матюшка спалилъ; такъ и урядникъ сказалъ. Милый Лукаша, прошу я тебя, пропиши пояснѣе, я въ вашемъ письмѣ ничего не понялъ, потому-что плохо писано, никто не можетъ прочитать, и пропиши, кто ее писалъ и кто писалъ адресъ, нельзя понять, чья это рука писала, но приблизительно вы пишите такую чушь, что не можно и вѣрить такой эрундѣ. За симъ остаюсь любящій отецъ М. Меркуловъ, а за него, безграмотнаго, расписался Ананій Климовъ».

— Ахъ, бъда, бъда, — шепчетъ Меркуловъ и при этомъ качаетъ головой и горестно прищелкиваетъ языкомъ. Думаетъ онъ о томъ, что еще два года слишкомъ осталось ему «сполнять долгъ отечества», о томъ, какъ трудно и тяжело жить на чужой сторонъ, думаетъ и о своей женъ Татьянъ Ивановнъ. — «Бабочка она молодая, веселая, балованная. Тоже, поди, не легко жить четыре-то года безъ мужа, въ чужой семьъ... Солдатка... Извъстно, какія онъ, солдатки-то эти самыя... Вотъ поручикъ Забіякинъ всегда смѣются... — «Ты женатый?» спроситъ. — «Точно такъ, вашбродь, женатый». — «Ну, такъ погоди, погоди, говоритъ, воротишься со службы — въ домъ новые работники прибудутъ». Гм!.. Хорошо ему смъяться. Толстый, да гладкій... Всталъ утречкомъ — чайку съ булочкой напился... денщикъ ему сапожки чистые подалъ. Вышелъ на ученье — знай себъ папиросочки попаливаетъ. А ты вотъ, сиди целую ночь... Эхъ, беда, беда, беда-а-а, — шепчетъ Меркуловъ, оканчивая послъднее слово длиннымъ, глубокимъ зъвкомъ, отъ котораго у него даже слезы выступаютъ на глазахъ.

Никогда еще Меркуловъ не чувствовалъ себя такимъ покинутымъ, затеряннымъ, жалкимъ. . . Хочется ему поговорить съ какимъ-нибудь добрымъ и молчаливымъ человѣкомъ, объяснить ему жалостными словами всѣ свои горести и заботы, и чтобы этотъ добрый и молчаливый человѣкъ слушалъ внимательно, все бы понималъ и всему сочувствовалъ. . . Да гдѣ жъ его найдешь, этого человѣка? Каждому до себя, до своей заботушки. «Горько, братецъ мой», — думаетъ, покачивая головой, Меркуловъ и вслѣдъ затѣмъ произноситъ вслухъ, протяжнымъ, пѣвучимъ голосомъ: «о-охъ и го-о-орько...»

И вотъ, понемножку, вполголоса Меркуловъ начинаетъ напѣвать. Сначала въ его пѣснѣ почти нѣтъ словъ. Выходитъ что-то заунывное, печальное и безтолковое, но размягчающее и пріятно шевелящее душу: «Э-э-а-ахъ ты-ы, да э-э-охъ го-о-орько-о»... Потомъ начинаютъ подбираться и слова — все такія хорошія, трогательныя слова:

О-охъ да ты моя матушка, Э-охъ да моя робименька-я-а...

Тутъ Меркуловъ окончательно проникается глубокой жалостью къ бѣдному, забытому солдату Лукѣ Меркулову. Кормятъ его впроголодь, наряжаютъ не въ очередь дневалить, взводный его ругаетъ, отдѣленный ругаетъ, — иной разъ и кулакомъ ткнетъ въ зубы, — ученье тяжелое, трудное... Долго ли заболѣть, руку ли, ногу сломать, отъ глазной болѣзни ослѣпнуть, — вонъ, у половины роты глаза гноятся? А то, можетъ, и умереть на чужой сторонѣ придется... Что-то горестное подступаетъ Меркулову къ самой глоткѣ, что-то

начинаетъ слегка пощипывать ему вѣки, а въ груди подъ ложечкой онъ ощущаетъ приливъ искусственной, замирающей, томной, сладковатой тоски. И еще больше трогаютъ его печальныя слова импровизированной пѣсни, еще нѣжнѣе и прекраснѣе кажется ему свой собственный мотивъ:

Охъ, ты, моя мамынька. Положи жъ ты минъ во гро-опъ, Положи во сосновый да во гропъ, Во сосновый гропъ, да во осиновый...

Воздухъ въ казармъ сгустился и сталъ невыносимо тяжелъ. Точно въ банъ, сквозь завъсу пара, слабыми, расплывчатыми пятнами свътятъ ночники, у которыхъ стекла почернѣли сверху отъ копоти. Меркуловъ сидитъ, сгорбившись, переплетя ноги за табуретную перекладину и глубоко вдвинувъ руки въ рукава шинели. Тъсно, жарко и неловко ему въ шинели, — воротникъ третъ затылокъ, крючки давятъ горло, и спать ему хочется страшно. Въки у него точно распухли и зудятъ, въ ушахъ стоитъ какой-то глухой, непрерывный шумъ, а гдъ-то внутри, не то въ груди, не то въ животъ, все не проходитъ тягучая, приторная, физическая истома. Меркуловъ не хочетъ поддаваться сну, но временами что-то мягкое и властное пріятно сжимаеть его голову; тогда въки вдругъ задрожатъ и сомкнутся съ усталой рѣзью, приторная истома сразу пропадаетъ, и уже нѣтъ больше ни казармы ни длинной ночи, и на нъсколько секундъ Меркулову легко и покойно до блаженства. Онъ самъ не замъчаетъ въ это время, что голова его короткими, внезапными толчками падаетъ все ниже и ниже, и вдругъ... сильно качнувшись всъмъ тъломъ впередъ, онъ съ испугомъ открываетъ глаза, выпрямляется, встряхиваетъ головой, и опять вступаетъ ему въ грудь приторная, сосущая истома безсонья.

А память Меркулова въ эти короткія секунды неожиданной полудремоты все не можетъ оторваться отъ деревни, и пріятно ему и занимательно, что о чемъ бы онъ ни вспомнилъ, такъ сейчасъ же это и видитъ передъ глазами, — такъ ярко, отчетливо и красиво видитъ, какъ никогда не увидишь наяву. Вотъ его старый, бѣлый, весь усѣянный «гречкой» меринъ. Стоитъ онъ на зеленомъ выгонѣ со своими согнутыми передними ногами, съ торчащими костяжками на крестцѣ, съ выступающими рѣзко на бокахъ ребрами. Голова его уныло и неподвижно опущена внизъ, дряблая нижняя губа, съ рѣдкими, прямыми и длинными волосами, отвисла, глаза, цвѣта линялой бирюзы, съ бѣлыми рѣсницами, смотрятъ тупо и удивленно.

А тутъ, сейчасъ же за выгономъ, идетъ проъзжая широкая дорога. И кажется Меркулову, что теперь теплый вечеръ ранней весны, и что вся дорога, черная отъ грязи, изборождена слъдами копытъ, а въ глубокихъ колеяхъ стоитъ вода, розовая и янтарная отъ вечерней зари. Пересъкая дорогу, вьется изъ-подъ бревенчатаго мостка узкая ръчонка, точно сжатая въ невысокихъ, но крутыхъ изумрудно-зеленыхъ берегахъ, гладкая, какъ зеркало, и уже чуть-чуть подернутая вдали легкимъ туманомъ. Върно и ръзко отразились въ ней внизъ верхушками прибрежныя крутыя, покрытыя желто-зеленымъ пухомъ ветлы и самые берега, которые кажутся въ водъ еще свъжъй, еще изумруднъй. А вонъ вдалекъ, на ясномъ небъ стройно и четко рисуется колокольня церкви, деревянная, бълая съ розовыми продольными полосами и съ крутой зеленой крышей. Сейчасъ же рядомъ съ церковью и меркуловскій огородъ: вонъ даже видно покривившееся набокъ и точно падающее впередъ чучело въ старомъ отцовскомъ картузъ, съ растопыренными рукавами, отрепанными на

концахъ, навсегда застывшее въ рѣшительной и напряженной позѣ...

И кажется Меркулову, что онъ самъ ѣдетъ по этой черной, грязной дорогѣ, возвращаясь съ пашни. Онъ бокомъ сидитъ на бѣломъ меринѣ, мотая спущенными внизъ ногами и ерзая, при каждомъ шагѣ лошади, взадъ и впередъ на ея хребтѣ. Ноги лошади звучно чмокаютъ, вылѣзая изъ грязи. Легкій вѣтерокъ чуть задѣваетъ лицо Меркулова, принося съ собой глубокій, свѣжій ароматъ земли, еще не высохшей послѣ снѣга, и хорошо, радостно на душѣ у Меркулова. Усталъ онъ, выбился изъ силъ, взодравъ за нынѣшній день чуть ли не цѣлую десятину земли; ноетъ у него все тѣло, ломитъ руки, трудно разгибать и сгибать спину, а онъ, небрежно болтая ногами, знай заливается во всю грудь:

Вы сады-ы ль, мои са-ады!...

Ахъ, какъ хорошо ему будетъ сейчасъ, когда онъ уляжется въ прохладной ригѣ, на соломѣ, вытянувъ и свободно разбросавъ натруженныя руки и ноги!..

Голова Меркулова опять падаетъ внизъ, чуть не касаясь колѣнъ, и опять Меркуловъ просыпается съ приторнымъ, томящимъ ощущеніемъ въ груди. «Никакъ я вздремалъ? — шепчетъ онъ въ удивленіи. — Вотъ такъ штука!» Ему страшно жаль только-что видѣнной черной весенней дороги, запаха свѣжей земли и наряднаго отраженія прибрежныхъ ветелъ въ гладкомъ зеркалѣ рѣчки. Но онъ боится спать и, чтобы ободриться, опять начинаетъ ходить по казармѣ. Ноги его замлѣли отъ долгаго сидѣнья, и при первыхъ шагахъ онъ совсѣмъ не чувствуетъ ихъ.

Проходя мимо часовъ, Меркуловъ смотритъ на циферблатъ. Большая стрълка уперлась прямо вверхъ, а маленькая отошла отъ нея чуть-чуть вправо. «Послъ полуночи», — соображаетъ Меркуловъ. Онъ сильно

зѣваетъ, быстрымъ движеніемъ нѣсколько разъ кряду креститъ ротъ и бормочетъ что-то въ родѣ молитвы: «Господи... Царица Небесная... еще, небось, часа два съ половиной осталось... Святые угодники... Петра, Алексѣя, Іоны, Филиппа... добропожившихъ отцовъ и братій нашихъ...»

Керосинъ догораетъ въ ночникахъ, и въ казармъ становится совсъмъ темно. Позы у спящихъ мучительно-напряженныя, неестественныя. Должно-быть, у всъхъ на жесткихъ сънникахъ обомлъли руки и затекли головы. Отовсюду, со всъхъ сторонъ, раздаются жалобные стоны, глубокіе вздохи, нездоровый, захлебывающійся храпъ. Что-то зловъщее, удручающее, таинственное слышится въ этихъ нечеловъческихъ звукахъ, идущихъ среди печальнаго мрака изъ-подъ сърыхъ, однообразныхъ вороховъ...

— На дворъ выттить, что ль? — говоритъ Меркуловъ самому себъ вслухъ и медленно идетъ къ дверямъ.

На дворъ — густая темень, и льеть, не переставая, мелкій, частый дождь. На другомъ концъ двора едва обрисовывается рядъ слабо освъщенныхъ оконъ: это казармы пятнадцатой и шестнадцатой ротъ. Дождикъ глухо барабанить по крышь, стучить въ оконныя стекла. стучитъ по меркуловской фуражкъ. Гдъ-то вблизи вода бѣжитъ со звономъ и торопливымъ журчаніемъ изъ жолоба и потомъ плещется по какимъ-то камнямъ. Сквозь этотъ шумъ Меркулову слышатся порою странные звуки! Точно кто-то идетъ къ нему вдоль казарменной стъны, часто и тяжело шлепая по лужамъ ногами. Меркуловъ оборачивается въ эту сторону и напрягаетъ зрѣніе. Шлепанье тотчасъ же прекращается. Но едва Меркуловъ отвернется, какъ опять начинаютъ шлепать по водъ грузные, спъшные шаги. «Мерещится!» — рѣшаетъ Меркуловъ и подымаетъ кверху голову,

подставляя лицо подъ частыя капли... На небѣ нѣтъ ни одной звѣзды...

Вругъ рядомъ, въ казармѣ тринадцатой роты, быстро раскрывается наружу входная дверь, и дверной блокъ пронзительно взвизгиваетъ на весь дворъ. На секунду въ слабомъ свѣтѣ распахнутой двери мелькаетъ фигура солдата въ шинели и въ шапкѣ. Но дверь тотже захлопнулась, увлекаемая снова взвизгнувшимъ блокомъ, и въ темнотѣ нельзя даже опредѣлить ея мѣста. Вышедшій изъ казармы солдатъ стоитъ на крыльцѣ; слышно, какъ онъ крякаетъ отъ свѣжаго воздуха и сильно потираетъ руками одна о другую.

«Тоже дневальный, должно-быть», — думаетъ Меркуловъ, и его страстно тянетъ подойти къ этому бодрствующему, живому человъку, посмотръть на его лицо или хоть послушать его голосъ.

- Эй, землячокъ! окликаетъ Меркуловъ невидимаго въ темнотъ солдата. А нътъ ли у васъ, землячокъ, спички?
- Кажись, должны быть, отвъчаетъ съ крыльца глухой и сиплый голосъ. Постой. . . я сейчасъ. . .

И Меркуловъ слышитъ, какъ солдатъ долго охлопываетъ себя по карманамъ, и какъ наконецъ тарахтятъ въ коробкъ найденныя спички.

Оба солдата сходятся на серединъ между объими казармами, у колодца, отыскивая другъ друга по звуку сапогъ, шлепающихъ по мокрой, скользкой глинъ.

— Вотъ вамъ спички, — говоритъ солдатъ, и такъ какъ Меркуловъ не можетъ сразу найти его протянутой руки, то онъ слегка погромыхиваетъ коробкой.

Но Меркулову спички вовсе не нужны, — онъ не куритъ, — ему только хотълось хоть минуту побыть около живого человъка, не охваченнаго этой странной, сверхъ естественной силой сна.

— Спасибо вамъ, — говоритъ Меркуловъ: — мнѣ только парочку. У меня въ казармѣ есть коробка, да вотъ спички-то, признаться, вышли.

Оба солдата заходятъ подъ высокій навѣсъ, устроенный надъ колодцемъ. Меркуловъ для чего-то трогаетъ огромное деревянное колесо, приводящее въ движеніе валъ. Колесо жалобно скрипитъ и дѣлаетъ мягкій размахъ. Солдаты облокачиваются на верхній срубъ колодца и, свѣсивъ внизъ головы, пристально глядятъ въ зіяющую темноту.

— Спать хочется, братецъ мой, — страсть! — говоритъ Меркуловъ и громко зъваетъ.

Зъваетъ тотчасъ же и другой солдатъ. Ихъ голоса и зъвки глухо, раскатисто и усиленно отдаются въ пустотъ глубокаго колодца.

— Часъ, должно, первый въ началѣ? — спрашиваетъ нехотя, вялымъ голосомъ солдатъ тринадцатой роты. — Вы съ какого года?

По измънившемуся звуку голоса Меркуловъ догадывается, что солдатъ повернулся къ нему лицомъ. Повертывается и Меркуловъ, но въ темнотъ не видитъ даже фигуры своего собесъдника.

- Я съ девяностаго. А вы?
- И я съ девяностаго. Вы тоже орлоцкіе?
- Мы кромскіе, отвѣчаетъ Меркуловъ. Наша деревня Мокрые Верхи прозывается. Можетъ, слышали?
- Не... Мы дальніе... мы изъ-подъ самаго Ельца. И скука же, братецъ ты мой! Послѣднія слова онъ произноситъ вмѣстѣ съ зѣвкомъ, глухимъ, нутрянымъ голосомъ и неразборчиво, такъ что у него выходитъ: «ы гугу ы аа̀тецъ ты мой!»

Оба они замолкаютъ на нѣкоторое время. Солдатъ изъ Ельца плюетъ сквозь зубы прямо въ колодецъ. Проходитъ около десяти секундъ, въ теченіе которыхъ

Меркуловъ съ любопытствомъ прислушивается, наклонивъ голову набокъ. Вдругъ изъ темноты доносится необычно чистый и ясный — точно ударъ двухъ гладкихъ камней другъ о друга — звукъ шлепка.

- И глыбоко же тута! говоритъ солдатъ изъ Ельца и опять плюетъ въ колодецъ.
- Грѣхъ въ воду плевать. Не годится это, поучительно замѣчаетъ Меркуловъ и тотчасъ же самъ плюетъ въ свою очередь.

Обоихъ солдатъ чрезвычайно занимаетъ то, что между плевкомъ и звукомъ, раздающимся потомъ изъ колодца, проходитъ такъ много времени.

- А что, ежели туда сигануть? вдругъ спрашиваетъ солдатъ изъ Ельца. Небось, покамъсть долетишь, такъ объ стънки головой изобъешься?
- Какъ не избиться... Изобьешься, увъренно отзывается Меркуловъ. Въ лучшемъ видъ изобъешься.
- Бяда! говоритъ другой солдатъ, и Меркуловъ догадывается, что онъ качаетъ головой.

Опять наступаетъ долгое молчаніе, и опять солдаты плюютъ въ колодецъ. Вдругъ Меркуловъ оживляется.

— Вотъ штука-то была, братецъ мой! Сижу я сейчасъ въ казармѣ и того... задремалъ, должно-быть, немножко... И какой мнѣ это... чудной сонъ приснился.

Ему хочется разсказать свой сонъ со всей прелестью мелкихъ поэтическихъ подробностей, съ чарующимъ ароматомъ родной земли и далекой, привычной, любимой жизни. Но у него выходитъ что-то слишкомъ простое, блѣдное и неинтересное.

- Вижу я, будто бы я, значитъ, у себя въ деревнѣ. И какъ будто бы вечеръ... И все мнѣ скрозь видно... то-есть такъ видно, такъ видно, точно и не во снѣ...
- H-на... это бываетъ, равнодушно и небрежно вставляетъ другой солдатъ, почесывая щеку.

- А я самъ, какъ будто бы, ѣду верхомъ на лошади... на меринѣ... Есть у насъ такой меринъ бѣлый, годовъ двадцать ему, небось, будетъ... Можетъ, ужъ поколѣлъ теперь...
- Лошадь видѣть это означаетъ ложь... Омманетъ тебя кто-нибудь, замѣчаетъ солдатъ.
- А я будто бы ѣду на меринѣ, и все мнѣ скрозь видно... Ну вотъ просто, какъ наяву... То-есть такой это чудный сонъ мнѣ приставился...
- Н-на... разные сны бывають, лѣниво вставляеть солдать. Одначе прощенья просимъ, говорить онъ, подымаясь со сруба. У насъ фитьфебель чорть, по ночамъ шляется. До свиданья вамъ.
- До свиданьичка... Ночь-то, ночь какая... ахъ, ты, Господи, Боже мой... зги не видно.

Со свѣжаго воздуха казарменная атмосфера въ первыя минуты кажется просто невыносимой. Воздухъ весь пропитанъ тяжелыми человъческими испареніями, ъдкимъ дымомъ махорки, кислой затхлостью шинельнаго сукна и густымъ запахомъ невыпеченнаго хлъба. Люди спятъ неспокойно, мечутся, стонутъ и такъ храпятъ, какъ будто бы имъ каждый вздохъ стоитъ громадныхъ усилій. Когда Меркуловъ проходитъ третьимъ взводомъ, какой-то солдатъ быстро вскакиваетъ и садится на нарахъ. Онъ нъсколько секундъ дико озирается вокругъ, точно въ недоумъніи, и долго чавкаетъ губами. Потомъ онъ начинаетъ яростно скрести пятерней: сначала голову, затъмъ грудь, и вдругъ, точно подкошенный сномъ, мгновенно падаетъ на бокъ. Другой деревяннымъ и хриплымъ голосомъ быстро бормочетъ длинную фразу. Меркуловъ прислушивается съ суевърнымъ страхомъ и разбираетъ отдъльныя слова: «Не обрывай!.. Завяжи узломъ!.. Узломъ завяжи, говорять тебъ!..» Въ бредъ, раздающемся среди ночи, всегда есть что-то ужасное для Меркулова. Ему кажется, что эти отрывочныя, внезапныя слова произносить не человъкъ, а кто-то другой, не з р и м ы й, вселившійся въ его душу и овладъвшій ею.

Часы попрежнему тикаютъ неровно, точно задерживая второй ударъ, но стрѣлки ихъ, повидимому, остались все въ томъ же положеніи. Въ головѣ Меркулова вдругъ проносится ужасное, нелѣпое, фантастическое предположеніе, что, можетъ-быть, время совсѣмъ остановилось, и что цѣлые мѣсяцы, цѣлые года — вѣчно будетъ длиться эта ночь; будутъ такъ же тяжело дышать и бредить спящіе, такъ же тускло будутъ свѣтить умирающіе ночники, такъ же равнодушно и медлительно стучать маятникъ. Это темное, быстрое, непонятное самому Меркулову ощущеніе переполняетъ его душу злобой и тоской. И онъ грозитъ въ пространство крѣпко сжатымъ кулакомъ и шепчетъ, не раскрывая стиснутыхъ челюстей:

— У-у, дьяволы!.. Погодите ужо-тко!

Онъ опять садится на то же самое мѣсто, между печкой и ружейной пирамидкой, и почти тотчасъ же мягко и нѣжно сжимаетъ его виски дремота. «О чемъ? О чемъ я теперь? — спрашиваетъ себя шопотомъ Меркуловъ, зная, что теперь въ его власти вызвать передъ глазами что-то очень пріятное и знакомое. — Ахъ, да! Деревня... рѣчка... А ну-ка, ну-ка... Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя...»

И снова змѣится въ зеленой свѣжей травѣ рѣчка, то скрываясь за бархатными холмами, то опять блестя своей зеркальной грудью, снова тянется широкая, черная, изрытая дорога, благоухаетъ талая земля, розовѣетъ вода въ поляхъ, вѣтеръ съ ласковой, теплой улыбкой обвѣваетъ лицо, и снова Меркуловъ покачивается мѣрно взадъ и впередъ на остромъ лошадиномъ хребтѣ, между тѣмъ какъ сзади тащится по дорогѣ соха, перевернутая сошникомъ вверхъ.

Вы сады-ы ль, мои са-ды! --

громко, во всю мочь голоса поетъ Меркуловъ и съ удовольствіемъ думаетъ о томъ, какъ сладко ему будетъ сейчасъ вытянуться усталымъ тѣломъ на высоко взбитой охапкѣ соломы. По обѣимъ сторонамъ дороги идутъ вспаханныя поля, и по нимъ ходятъ, степенно переваливаясь съ боку на бокъ, черно-сизые, блестящіе грачи. Лягушки въ болотцахъ и лужахъ кричатъ дружнымъ, звенящимъ, оглушительнымъ хоромъ. Тонко пахнетъ цвѣтущая верба.

Ахъ, и вы сады-ы ль, мои са-ды!...

Одно только кажется Меркулову страннымъ: какъто ужъ неровно идетъ сегодня бѣлый меринъ. Такъ и шатаетъ его изъ стороны въ сторону... Ишь, какъ качнуло. Насилу удержался Меркуловъ, чтобы не полетъть съ лошади впередъ головой. Нѣтъ, надо усѣсться верхомъ, какъ слѣдуетъ. Пробуетъ Меркуловъ перебросить правую ногу на другую сторону, но нога не шевелится, отяжелѣла — точно къ ней кто привязалъ странную тяжесть. А лошадъ такъ и ходитъ, такъ и шатается подъ нимъ. — «Но, ты, чо-ортъ! Засну-улъ?..»

Меркуловъ стремглавъ падаетъ съ лошадиной спины, съ размаху ударяется лицомъ объ вемлю и... открываетъ глаза.

— Чортъ! Заснулъ! — кричитъ надъ Меркуловымъ чей-то голосъ.

Меркуловъ вскакиваетъ съ табуретки и растерянно нащупываетъ на головъ фуражку. Передъ нимъ стоитъ со взлохмаченной головой, въ одномъ нижнемъ бъльъ, фельдфебель Тарасъ Гавриловичъ. Это онъ разбудилъ сейчасъ Меркулова, ткнувъ его кулакомъ въ щеку.

— Заснулъ! — повторяетъ грозно фельдфебель. — Ахъ, ты!.. Спать на дневальствъ? Я т-тебъ покажу, какъ спать!..

Меркуловъ отшатывается назадъ отъ быстраго удара по скулъ, встряхиваетъ головой и хрипло бормочетъ:

- Намаялся, господинъ фитфебель...
- A-a! Намаялся? Такъ вотъ, чтобы ты не маялся, будешь еще два раза не въ очередь дневалить. Когда смѣняешься?
 - Въ два, господинъ фитьфебель.
- Ахъ, мерзавецъ... Ты и смѣну-то свою проспалъ! Ну!.. Живо, буди очередного... Маршъ!..

Фельдфебель уходитъ. Меркуловъ бѣгомъ бросается къ той нарѣ, гдѣ спитъ очередной дневальный — старый солдатъ Рябошапка. «Спать, спать, спать, спать! — кричитъ въ душѣ Меркулова какой-то радостный, ликующій голосъ. — Два лишнихъ дневальства? Это пустяки, это потомъ, а теперь спать, спать!..»

- Дядька Рябошапка, а, дядька Рябошапка, пугающимъ шопотомъ вскрикиваетъ Меркуловъ, теребя за ногу спящаго солдата.
 - Мрмр... брайсь...
 - Дядька Рябошапка, вставайте... Смъна...
 - Поди ссе...

Безсонница такъ измучила Меркулова, что у него больше не хватаетъ терпънія будить Рябошапку. Онъ бѣжитъ къ своему мѣсту на нарахъ, торопливо раздѣвается и протискивается между двумя сосѣдями, которые тотчасъ же грузно, безжизненно наваливаются на него боками.

На секунду встаетъ въ воображеніи Меркулова колодецъ, густая темнота ночи, мелкій дождикъ, журчанье воды, бъгущей изъ жолоба, и шлепанье по грязи чьихъто таинственныхъ ногъ. О! Какъ тамъ теперь холодно, непріятно и жутко... Все тъло, все существо Меркулова проникается блаженной животной радостью. Онъ

кръпко прижимаетъ локти къ тълу, съеживается, уходитъ поглубже головой въ подушку и шепчетъ самому себъ:

— Ну, а теперь... поскоръе — дорогу... дорогу... Снова передъ его глазами отчетливо и красиво извивается черная изрытая дорога, снова смотрится въ зеркало ръки нъжная зелень ветелъ... И внезапно Меркуловъ летитъ со страшной, но пріятной быстротой въ какую-то глубокую, мягкую мглу...

волото.



Лѣтній вечеръ гаснетъ. Въ засыпающемъ лѣсу стоитъ гулкая тишина. Вершины огромныхъ строевыхъ сосенъ еще алѣютъ нѣжнымъ отблескомъ догорѣвшей зари, но внизу уже стало темно и сыро. Острый, жаркій, сухой ароматъ смолистыхъ вѣтвей слабѣетъ, зато сильнѣе чувствуется сквозь него приторный запахъ дыма, которымъ тянуло весь день съ дальняго лѣсного пожарища. Неслышно и быстро опускается на землю мягкая сѣверная ночь. Птицы замолчали съ заходомъ солнца. Одни только дятлы еще выбиваютъ лѣниво, точно сквозь сонъ, свою глухую, монотонную дробь.

Вольнопрактикующій землемъръ Жмакинъ и студентъ Николай Николаевичъ, сынъ небогатой вдовыпомъщицы Сердюковой, возвращаются со съемки. Итти домой, въ Сердюковку, имъ поздно и далеко: они заночуютъ сегодня въ казенномъ лѣсу, у знакомаго лѣсника — Степана. Узкая тропинка вьется между деревьями, исчезая въ двухъ шагахъ впереди. Высокій и худой землемъръ идетъ, сгорбившись и опустивъ внизъ голову, — идетъ тѣмъ рѣдкимъ, присѣдающимъ, но размашистымъ шагомъ, какимъ ходятъ привычные къ длиннымъ дорогамъ люди: мужики, охотники и землемъры. Коротконогій, низенькій и полный студентъ едва поспѣваетъ за нимъ. Онъ вспотѣлъ и тяжело дышитъ открытымъ ртомъ; бѣлая фуражка сбита на затылокъ; рыжеватые спутанные волосы упали на лобъ;

пенснэ сидитъ бокомъ на мокромъ носу. Ноги его то скользятъ и разъѣзжаются по прошлогодней, плотно улежавшейся хвоѣ, то съ грохотомъ цѣпляются за узловатыя корневища, протянувшіяся черезъ дорогу. Землемѣръ отлично видитъ это, но нарочно не убавляетъ шагу. Онъ усталъ, золъ и голоденъ. Затрудненія, испытываемыя студентомъ, доставляютъ ему злорадное удовольствіе.

Землемъръ Жмакинъ дълаетъ, по приглашенію г-жи Сердюковой, упрощенный планъ хозяйства въ ея жиденькихъ, потравленныхъ скотомъ и вырубленныхъ крестьянами лъсныхъ урочищахъ. Николай Николаевичъ добровольно вызвался помогать ему. Помощникъ онъ старательный и толковый, и характеръ у него самый удобный для компаніи: свътлый, ровный, безхитростный и ласковый, только въ немъ много еще осталось чего-то дътскаго, что сказывается въ нъкоторой наивной торопливости и восторженности. Землемъръже, наоборотъ, человъкъ старый, одинокій, подозрительный и черствый. Всему утзду извъстно, что онъ подверженъ тяжелымъ, продолжительнымъ запоямъ, и потому на работу его приглашаютъ ръдко и платятъ скупо.

Днемъ у него еще кое-какъ ладятся отношенія съ молодымъ Сердюковымъ. Но къ вечеру землемѣръ обыкновенно устаетъ отъ ходьбы и отъ крика, кашляетъ и становится мелочно-раздражительнымъ. Тогда ему снова начинаетъ казаться, что студентъ только притворяется, что его интересуетъ съемка и болтовня съ крестьянами на привалахъ, а что на самомъ дѣлѣ онъ приставленъ помѣщицей съ тайнымъ наказомъ наблюдать, не пьетъ ли землемѣръ во время работы. И то обстоятельство, что студентъ такъ живо, въ недѣлю, освоился со всѣми тонкостями астролябической съемки, возбуждаетъ ревнивую и оскорбительную за-

висть въ Жмакинъ, который три раза проваливался, держа экзаменъ на частнаго землемъра. Раздражаетъ старика и неудержимая разговорчивость Николая Николаевича, и его свъжая, здоровая молодость, и заботливая опрятность въ одеждъ, и мягкая, въжливая уступчивость; но мучительнъе всего для Жмакина сознаніе своей собственной жалкой старости, грубости, пришибленности и безсильной, несправедливой злости.

Чъмъ ближе подходитъ дневная съемка къ концу, тъмъ ворчливъе и безцеремоннъе дълается землемъръ. Онъ желчно подчеркиваетъ промахи Николая Николаевича и обрываетъ его на каждомъ шагу. Но въ студентъ такая бездна молодой, неисчерпаемой доброты, что онъ, повидимому, совершенно неспособенъ обижаться. Въ своихъ ошибкахъ онъ извиняется съ трогательной готовностью, а на угловатыя выходки Жмакина отвъчаетъ оглушительнымъ хохотомъ, который долго и раскатисто гуляетъ между деревьями. Точно не замъчая мрачнаго настроенія землемъра, онъ засыпаетъ его шутками и разспросами съ тъмъ же веселымъ, немного неуклюжимъ и немного назойливымъ добродушіемъ, съ какимъ жизнерадостный щенокъ теребитъ за ухо большого, стараго, угрюмаго пса.

Землемъръ шагаетъ молча и понуро. Николай Николаевичъ старается итти рядомъ съ нимъ, но такъ какъ онъ путается между деревьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку. Въ то же время, несмотря на одышку, онъ говоритъ громко и горячо, съ оживленными жестами и съ неожиданными выкриками, отъ которыхъ идетъ гулъ по заснувшему лъсу.

— Я живу въ деревнѣ недолго, Егоръ Иванычъ, — говоритъ онъ, стараясь сдѣлать свой голосъ проникновеннымъ, и убѣдительно прижимаетъ руки къ груди. — И я согласенъ, я абсолютно согласенъ съ вами въ томъ,

145

что я не знаю деревни. Но во всемъ, что я до сихъ поръ видѣлъ, такъ много трогательнаго, и глубокаго, прекраснаго... Ну да, вы, конечно, возразите, что я молодъ, что я увлекаюсь... Я и съ этимъ готовъ согласиться, но, жестоковыйный практикъ, поглядите на народную жизнь съ философской точки зрѣнія...

Землемъръ презрительно пожалъ однимъ плечомъ, усмъхнулся криво и язвительно, но продолжалъ молчать.

— Посмотрите, дорогой Егоръ Иванычъ, какая страшная историческая древность во всемъ укладъ деревенской жизни. Соха, борона, изба, телъга — кто ихъ выдумалъ? Никто. Весь народъ скопомъ. Двъ тысячи лътъ тому назадъ эти предметы были точка въ точку въ такомъ же видъ, какъ и теперь. Совсъмъ такъ же люди тогда и съяли, и пахали, и строились. Двъ тысячи лътъ тому назадъ!.. Но когда же, въ какія чертовски отдаленныя времена сложился этотъ циклопическій обиходъ? Мы объ этомъ не смѣемъ даже думать, милый Егоръ Иванычъ. Здѣсь мы съ вами проваливаемся въ бездонную пропасть въковъ. Мы ровно ничего не знаемъ. Какъ и когда додумался народъ до своей первобытной телъги? Сколько сотенъ, можетъбыть, тысячъ лѣтъ ушло на эту творческую работу? Чортъ его знаетъ! — вдругъ крикнулъ во весь голосъ студентъ и торопливо передвинулъ фуражку съ затылка на самые глаза. Я не знаю, и никто ничего не знаетъ... И такъ — все, чего только ни коснись: одежда, утварь, лапти, лопата, прялка, решето!.. Ведь покольнія за покольніями, милліоны людей посльдовательно ломали голову надъ ихъ изобрътеніемъ. У народа своя медицина, своя поэзія, своя житейская мудрость, свой великолъпный языкъ, и при этомъ, замътъте, — ни одного имени, ни одного автора! И хотя все это жалко и скудно въ сравненіи съ броненосцами и телескопами, но — простите — меня какіянибудь вилы удивляютъ и умиляютъ несравненно больше!..

- Ту-ру-ру, ти-лю-лю, запѣлъ фальшиво Жмакинъ и завертѣлъ рукой, подражая шарманщику. — Завели машину. Удивляюсь, какъ это вамъ не надоѣстъ: каждый день одно и то же?
- Нѣтъ, Егоръ Иванычъ, ради Бога! заторопился студентъ. Вы только послушайте, только послушайте меня. Мужикъ, куда онъ у себя ни оглянется,
 на что ни посмотритъ, вездѣ кругомъ него стараяпрестарая, сѣдая и мудрая истина. Все освѣщено дѣдовскимъ опытомъ, все просто, ясно и практично. А
 главное абсолютно никакихъ сомнѣній въ цѣлесообразности труда. Возьмите вы доктора, судью, литератора. Сколько спорнаго, условнаго, скользкаго въ
 ихъ профессіяхъ! Возьмите педагога, генерала, чиновника, священника...
- Попросилъ бы не касаться религіи, внушительнымъ басомъ замѣтилъ Жмакинъ.
- Ахъ, не въ этомъ дѣло, Егоръ Иванычъ, нетерпѣливо и досадливо вамахалъ рукой Сердюковъ. Возьмите наконецъ прокурора, художника, музыканта. Я ничего не говорю, все это лица почтенныя. Но каждому изъ нихъ, навѣрное, хоть разъ приходила въ голову мысль: а вѣдь, чортъ побери, такъ ли ужъ нуженъ человѣчеству мой трудъ, какъ это кажется? У мужика же все удивительно стройно и ясно. Если ты весною посѣялъ, то зимою ты сытъ. Корми лошадь, и она тебя прокормитъ. Что можетъ быть вѣрнѣе и проще? И вотъ этого самаго практическаго мудреца извлекаютъ за шиворотъ изъ нѣдръ его удобопонятной жизни и тычутъ лицомъ къ лицу съ цивилизаціей. «Въ силу статьи такой-то и на основаніи кассаціоннаго рѣшенія за номеромъ такимъ-то, крестьянинъ Иванъ Си-

доровъ, нарушившій интересы черезполоснаго владѣнія, приговаривается», и такъ далѣе. Иванъ Сидоровъ на это весьма резонно отвѣчаетъ: «Ваше благородіе, да вѣдь еще наши дѣды-прадѣды пахали по эту вербу, вотъ и пень отъ нея остался» Но тогда является на сцену землемѣръ Егоръ Иванычъ Жмакинъ.

- Прошу безъ намековъ по моему адресу, обидчиво прервалъ Жмакинъ.
- Является... ну, скажемъ, землемъръ Сердюковъ, если это вамъ больше нравится, и изрекаетъ: «Линія А В, отграничивающая владънія Ивана Сидорова, идетъ по румбу зюйдъ-остъ, сорокъ градусовъ тридцать минутъ». Очевидно, что Иванъ Сидоровъ, совмъстно съ дъдомъ и прадъдомъ, запахалъ чужую землю. И вотъ Иванъ Сидоровъ сидитъ въ кутузкъ, сидитъ совершенно правильно, по всъмъ статьямъ уложенія о наказаніяхъ, но все-таки онъ ровно ничего не понимаетъ и хлопаетъ глазами. Что значитъ для него вашъ румбъ въ сорокъ градусовъ, если онъ съ молокомъ матери всосалъ убъжденіе, что чужой земли на свътъ не бываетъ, а что вся земля Божья?..
- Къ чему вы все это выражаете? угрюмо спросилъ Жмакинъ.
- Или вотъ еще: гонятъ Ивана Сидорова на военную службу, горячо продолжалъ Сердюковъ, не слушая землемъра. И вотъ дядька учитъ его: «Доверни прикладъ, втяни животъ, дълай рразъ! Подавайся всъмъ корпусомъ упередъ...» Да позвольте же, господа! Я самъ прослужилъ отечеству два мъсяца и охотно върю, что для военной службы эти кунштюки необходимы. Но въдь это же для мужика чистая абракадабра, колокольня въ уксусъ, сапоги всмятку! Какъ хотите, но не можетъ же взрослый человъкъ, оторванный отъ простой, серьезной и понятной жизни, повърить вамъ на слово, что эти фокусы дъйствительно

необходимы и имъютъ разумное основаніе. И, конечно, онъ глядитъ на васъ, какъ баранъ на новыя ворота.

— Не довольно ли на сегодняшній разъ, Николай Николаевичъ? — сказалъ землемѣръ. — Мнѣ, по правдѣ говоря, надоѣла уже эта антимонія. Что-то вы такое изъ себя хотите изобразить, но толку у васъ ничего не выходитъ. Какого-то донъ-жуана изъ себя строите! И къ чему весь этотъ разговоръ, не понимаю я.

Огибавшій кустъ студентъ рысцой догналъ мрачно

шагавшаго землемъра.

— Вотъ вы сегодня утромъ говорили, что мужикъ глупъ, что мужикъ лѣнивъ, мужика надо драть, мужикъ раздурачился. Говорили вы это съ ненавистью и потому, конечно, были несправедливъе, чъмъ хотъли бы. Но поймите же, дорогой Егоръ Иванычъ, что у насъ съ мужикомъ разныя измъренія: онъ съ трудомъ постигаетъ третье, а мы уже начинаемъ предчувствовать четвертое. Сказать, что мужикъ глупъ! Послушайте, какъ онъ говоритъ о погодъ, о лошади, о сънокосъ. Чудесно: просто, мътко, выразительно, каждое слово взвъшено и прилажено... Но послушайте вы того же мужика, когда онъ разсказываеть о томъ, какъ онъ быль въ городъ, какъ заходиль въ театръ и какъ по-благородному провелъ время въ трактиръ съ машиной... Какія хамскія выраженія, какія дурацкія, исковерканныя слова, что за подлый, лакейскій языкъ. Господа, нельзя же такъ! — воскликнулъ студентъ, обращаясь въ пространство и разводя руками съ такимъ видомъ, какъ будто весь лъсъ былъ наполненъ слушателями. — Ну да, я знаю, мужикъ бъденъ, невъжествененъ, грязенъ... Но дайте же ему вздохнуть. У него отъ въчной натуги грыжа, — историческая, соціальная грыжа. Накормите его, вылъчите, выучите грамотъ, а не пришибайте его вашимъ четвертымъ измъреніемъ. Потому что я твердо увъренъ, что, пока вы не просвътите народа, всѣ ваши кассаціонныя рѣшенія, румбы, нотаріусы и сервитуты будутъ для него мертвыми словами чётвертаго измѣренія!..

Жмакинъ вдругъ рѣзко остановился и повернулся къ студенту.

— Николай Николаевичъ! Да прошу же я васъ, наконецъ! — воскликнулъ онъ плачущимъ, бабъимъ голосомъ. — Такъ вы много разговариваете, что терпѣніе мое лопнуло. Не могу я больше, не желаю!.. Кажется, интеллигентный человѣкъ, а не понимаете такой простой вещи. Ну, говорили бы дома или съ товарищемъ своимъ. А какой же я вамъ товарищъ, спрашивается? Вы сами по себѣ, я самъ по себѣ и... и не желаю я этихъ разговоровъ. Имѣю полное право...

Николай Николаевичъ бокомъ, поверхъ стеколъ пенснэ, поглядълъ на Жмакина. У землемъра было необыкновенное лицо: спереди узкое, длинное и острое до карикатурности, но широкое и плоское, если глядъть на него сбоку, — лицо безъ фаса, а съ однимъ только профилемъ и съ унылымъ, висячимъ носомъ. И въ мягкомъ отчетливомъ сумракъ поздняго вечера студентъ увидълъ на этомъ лицъ такое скучное, тяжелое и сердитое отвращеніе къ жизни, что у него сердце заныло мучительной жалостью. Сразу, съ какой-то проникновенною, больною ясностью онъ вдругъ понялъ и почувствовалъ въ самомъ себъ всю ту мелочность, ограниченность и безцъльное недоброжелательство, которыя наполняли скудную и одинокую душу этого неудачника.

— Да вы не сердитесь, Егоръ Иванычъ, — сказалъ онъ примирительно и смущенно. — Я не хотълъвасъ обидъть. Какой вы раздражительный!

— Раздражительный, раздражительный, — съ безтолковою злостью подхватилъ Жмакинъ. — Вполнъ станешь раздражительнымъ. Не люблю я этихъ разго-

воровъ... вотъ что... Да и вообще, какая я вамъ компанія? Вы человъкъ образованный, аристократъ, а я что? Сърое существо, и ничего больше.

Студентъ разочарованно замолчалъ. Ему всегда становилось грустно, когда онъ въ жизни натыкался на грубость и несправедливость. Онъ отсталъ отъ землемъра и молча шелъ за нимъ, глядя ему въ спину. И даже эта согнутая, узкая, жесткая спина, казалось, безъ словъ, но съ мрачною выразительностью говорила о нелъпо и жалко проволочившейся жизни, о нескончаемомъ рядъ пошлыхъ обидъ судьбы, объ упрямомъ и озлобленномъ самолюбіи...

Въ лѣсу совсѣмъ стемнѣло, но глазъ, привыкшій къ постепенному переходу отъ свѣта къ темнотѣ, различалъ вокругъ неясные, призрачные силуэты деревьевъ. Былъ тихій, дремотный часъ между вечеромъ и ночью. Ни звука ни шороха не раздавалось въ лѣсу, и въ воздухѣ чувствовался тягучій, медвяный травяной запахъ, плывшій съ далекихъ полей.

Дорога шла внизъ. На поворотъ въ лицо студента вдругъ пахнуло, точно изъ глубокаго погреба, сырымъ холодкомъ.

— Осторожнъе, здъсь болото, — отрывисто и не оборачиваясь, сказалъ Жмакинъ.

Николай Николаевичъ только теперь замѣтилъ, что ноги его ступали неслышно и мягко, какъ по ковру. Вправо и влѣво отъ тропинки шелъ невысокій путаный кустарникъ, и вокругъ него, цѣпляясь за вѣтки, колеблясь и вытягиваясь, бродили разорванные неясно-бѣлые клочья тумана. Странный звукъ неожиданно пронесся по лѣсу. Онъ былъ протяженъ, низокъ и гармоничнопечаленъ и, казалось, выходилъ изъ-подъ земли. Студентъ сразу остановился и затрясся на мѣстѣ отъ испуга.

— Что это, что? — спросилъ онъ дрожащимъ голосомъ. Выпь, — коротко и угрюмо отвѣтилъ землемѣръ.
Идемте, идемте. Это плотина.

Теперь ничего нельзя было разобрать. И справа и слѣва туманъ стоялъ сплошными бѣлыми мягкими пеленами. Студентъ у себя на лицѣ чувствовалъ его влажное и липкое прикосновеніе. Впереди равномѣрно колыхалось темное расплывающееся пятно: это была спина шедшаго впереди землемѣра. Дороги не было видно, но по сторонамъ отъ нея чувствовалось болото. Изъ него подымался тяжелый запахъ гнилыхъ водорослей и сырыхъ грибовъ. Почва плотины пружинилась и дрожала подъ ногами, и при каждомъ шагѣ гдѣто сбоку и внизу раздавалось жирное хлюпанье просачивающейся тины.

Землемъръ вдругъ остановился. Сердюковъ съ размаху уткнулся лицомъ ему въ спину.

— Тише. Экъ васъ несетъ! — сердито огрызнулся Жмакинъ. — Подождите, я покричу лѣсника. Еще ухнешь, пожалуй, въ эту чортову трясину.

Онъ приложилъ ладони трубой ко рту и закричалъ протяжно:

- Степ-а-анъ!

Уходя въ мягкую бездну тумана, голосъ его звучалъ слабо и безцвътно, точно онъ отсырълъ въ мокрыхъ болотныхъ испареніяхъ.

- А чортъ его знаетъ, куда тутъ итти! злобно проворчалъ, стиснувъ зубы, землемъръ. Впору хотъ на четверенькахъ ползти. Степ-а-анъ! крикнулъ онъ еще разъ раздраженнымъ и плачущимъ голосомъ.
- Степанъ! поддержалъ отрывистымъ и глухимъ басомъ студентъ.

Они долго кричали по очереди, кричали до тѣхъ поръ, пока въ страшномъ отдаленіи отъ нихъ туманъ не засвѣтился въ одномъ мѣстѣ большимъ желтымъ безформеннымъ сіяніемъ. Но это свѣтящееся мутное

пятно, казалось, не приближалось къ нимъ, а медленно раскачивалось влѣво и вправо.

- Степанъ, ты, что ли? крикнулъ въ эту сторону землемъръ.
- Гопъ-гопъ! отозвался изъ безконечной дали задушевный голосъ. Никакъ Егоръ Иванычъ?

Мутное пятно въ одно мгновеніе приблизилось, разрослось, весь туманъ вокругъ сразу засіялъ золотымъ дымнымъ свѣтомъ, чья-то огромная тѣнь заметалась въ освѣщенномъ пространствѣ, и изъ темноты вдругъ вынырнулъ маленькій человѣкъ съ жестянымъ фонаремъ въ рукахъ.

— Такъ и есть, онъ самый, — сказалъ лѣсникъ, подымая фонарь на высоту лица. — А это кто съ вами? Никакъ сердюковскій барчукъ? Здравія желаемъ, Миколай Миколаичъ. Должно, ночевать будете? Милости просимъ. А я-то думаю себѣ: кто такой кричитъ? Ружье захватилъ на всякій случай.

Въ желтомъ свътъ фонаря лицо Степана ръзко и выпукло выдълялось изъ мрака. Все оно сплошь заросло русыми, курчавыми, мягкими волосами бороды, усовъ и бровей. Изъ этого лъса выглядывали только маленькіе голубые глаза, вокругъ которыхъ лучами расходились тонкія морщинки, придававшія имъ всегдашнее выраженіе ласковой, усталой и въ то же время дътской улыбки.

- Такъ пойдемте, сказалъ Степанъ и, повернувшись, вдругъ исчезъ, какъ будто растаялъ въ туманѣ. Большое желтое пятно его фонаря закачалось низко надъ землей, освѣщая кусочекъ узкой тропинки.
- Ну, чтò, Степанъ, все еще трясетъ тебя? спросилъ Жмакинъ, идя вслъдъ за лъсникомъ.
- Все трясетъ, батюшка Егоръ Иванычъ, отвътилъ издалека голосъ невидимаго Степана. Днемъеще кръпимся понемногу, а какъ вечеръ, такъ и пошло

трясти. Да вѣдь, Егоръ Иванычъ, ничего не подѣлаешь... Привыкли мы къ этому.

- А Марьъ не лучше?
- Гдѣ ужъ тамъ лучше. И жена и ребятишки всѣ извелись, просто бѣда. Грудной еще ничего покуда, да къ нимъ, конечно, не пристанетъ... А мальчонку, вашего крестника, на прошлой недѣлѣ свезли въ Никольское... Это ужъ мы третьяго по счету схоронили... Позвольте-ка, Егоръ Иванычъ, я вамъ посвѣчу. Поосторожнѣе тутъ.

Сторожка лѣсника, какъ успѣлъ замѣтить Николай Николаевичъ, была поставлена на сваяхъ, такъ что между ея поломъ и землею оставалось свободное пространство, аршина въ два высотою. Раскосая, крутая лѣстница вела на крыльцо. Степанъ свѣтилъ, поднявъ фонарь надъголовой, и, проходя мимо него, студентъ замѣтилъ, что лѣсникъ весь дрожитъ мелкой, ознобной дрожью, ежасъ въ своемъ сѣромъ форменномъ кафтанѣ и пряча голову въ плечи.

Изъ отворенной двери пахнуло теплымъ, прѣлымъ воздухомъ мужичьяго жилья вмѣстѣ съ кислымъ запахомъ дубленыхѣ полушубковъ и печенаго хлѣба. Землемѣръ первый шагнулъ черезъ порогъ, низко согнувшись подъ притолкой.

— Здравствуй, хозяюшка! — сказалъ онъ привътливо и развязно.

Высокая, худая женщина, стоявшая у открытаго устья печи, слегка повернулась въ сторону Жмакина, сурово и безмолвно поклонилась, не глядя на него, и опять закопошилась у шестка. Изба у Степана была большая, но закопченная, пустая и холодная и потому производила впечатлъніе заброшеннаго, нежилого мъста. Вдоль двухъ темныхъ бревенчатыхъ стънъ, сходясь къ переднему углу, шли узкія и высокія дубовыя скамейки, неудобныя ни для лежанья, ни для сидънья. Передній

уголъ былъ занятъ множествомъ совершенно черныхъ образовъ, а вправо и влѣво висѣли, приклеенныя къ стънамъ хлъбнымъ мякишемъ, извъстныя лубочныя картины: страшный судъ со множествомъ зеленыхъ чертей и бълыхъ ангеловъ съ овечьими лицами, притча о Богатомъ и Лазаръ, ступени человъческой жизни, русскій хороводъ. Весь противоположный уголъ, тотъ, что былъ сейчасъ же влъво отъ входа, занимала большая печь, разъъхавшаяся на треть избы. Съ нея глядъли, свъсившись внизъ, двъ дътскія головки, съ такими бълыми, выгоръвшими на солнцъ волосами, какіе бываютъ только у деревенскихъ ребятишекъ. Наконецъ у задней стѣны стояла широкая, двухспальная кровать съ краснымъ ситцевымъ пологомъ. На ней, далеко не доставая ногами до пола, сидъла дъвочка лътъ десяти. Она качала скрипучую дѣтскую люльку и съ испугомъ въ огромныхъ свътлыхъ глазахъ глядъла на вошедшихъ.

Въ углу, передъ образомъ, стоялъ пустой столъ, и надъ нимъ на металлическомъ прутѣ спускалась съ потолка висячая убогая лампа съ чернымъ отъ копоти стекломъ. Студентъ присѣлъ около стола, и тотчасъ же ему стало такъ скучно и тяжело, какъ будто бы онъ уже пробылъ здѣсь много-много часовъ въ томительномъ и вынужденномъ бездѣйствіи. Отъ лампы шелъ керосиновый чадъ, и запахъ его вызвалъ въ умѣ Сердюкова какое-то далекое, смутное, какъ сонъ, воспоминаніе. Гдѣ и когда это было? Онъ сидѣлъ одинъ въ пустой, сводчатой, гулкой комнатѣ, похожей на коридоръ; пахло ѣдкимъ чадомъ керосиновой лампы; за стѣной съ усыпляющимъ звономъ, капля по каплѣ, падала вода на чугунную плиту, а въ душѣ Сердюкова была такая длительная, сѣрая, терпѣливая скука.

[—] Поставь намъ самоварчикъ, Степанъ, и взбодри яишенку, — приказалъ Жмакинъ.

- Сейчасъ, батюшка Егоръ Иванычъ, сейчасъ, засуетился Степанъ. Марья, неувъренно обратился онъ къ женъ: какъ бы ты тамъ постаралась самоваръ? Господа будутъ чай пить.
- Да ужъ ладно. Не толкись, толкачъ, съ неудовольствіемъ отозвалась Марья.

Она вышла въ сѣни. Землемѣръ покрестился на образа и сѣлъ за столъ. Степанъ помѣстился поодаль отъ господъ, на самомъ краю скамейки, тамъ, гдѣ стояли ведра съ водой.

— А я думаю себѣ, кто такой кричитъ? — началъ добродушно Степанъ. — Ужъ не лѣсничій ли нашъ? Да нѣтъ, думаю, куда ему ночью, — онъ ночью и дороги сюда не найдетъ. Чудной онъ у насъ баринъ. Непременно, чтобы ему лѣсники ружьемъ на караулъ дѣлали, по-солдатски. Первое для него удовольствіе. Выйдешь съ ружьемъ и, конечно, рапортуешь: «Ваше-скородіе, во ввѣренномъ мнѣ обходѣ чернятинской лѣсной дачи все обстоитъ благополучно»... Ну, а впрочемъ, баринъ ничего, справедливый. А что касаемо, что дѣвокъ онъ портитъ, ну, это, конечно, не наше дѣло...

Онъ замолчалъ. Слышно было, какъ рядомъ, въ съняхъ, Марья со звономъ накладывала угли въ самоваръ, какъ на печкъ громко дышали дъти. Люлька продолжала скрипъть монотонно и жалобно. Сердюковъ вглядълся внимательнъе въ лицо дъвочки, сидъвшей на кровати, и оно поразило его своею болъзненною красотой и необычайнымъ, непередаваемымъ выраженіемъ. Черты этого лица, несмотря на нъкоторую одутловатость щекъ, были такъ нъжны и тонки, что казались нарисованными безъ тъней и безъ красокъ на прозрачномъ фарфоръ, и тъмъ ярче выступали среди нихъ неестественно большіе, свътлые, прекрасные глаза, которые глядъли съ задумчивымъ и наивнымъ удивле-

ніемъ, какъ глаза у святыхъ дѣвственницъ на картинахъ прерафаэлитовъ.

— Какъ тебя зовутъ, красавица? — спросилъ ласково студентъ.

Большеглазая дъвочка закрыла лицо руками и быстро спряталась за пологъ.

- Боится. Ну, чего ты, глупая? сказалъ Степанъ, точно извиняясь за дочь. Онъ неловко и добродушно улыбнулся, отчего все его лицо ушло въ бороду и стало похоже на свернувшагося клубкомъ ежа. Варей ее звать. Да ты не бойся, дурочка, баринъ добрый, успокаивалъ онъ дъвочку.
- И она тоже больна? спросилъ Николай Николаевичъ.
- Что-съ? переспросилъ Степанъ. Густая щетина на его лицъ разошлась, и опять изъ нея выглянули добрые, усталые глаза. Больная, вы спрашиваете? Всъ мы тутъ больные. И жена, и эта вотъ, и тъ, что на печкъ. Всъ. Во вторникъ третье дитя похоронили. Конечно, мъстность у насъ сырая, это главное. Трясемся вотъ, и шабашъ!..
- Лѣчились бы, сказалъ, покачавъ головой, студентъ. Зайди какъ-нибудь ко мнѣ въ Сердюковку, я хины дамъ.
- Спасибо, Миколай Миколаевичъ, дай вамъ Богъ здоровья. Пробовали мы лѣчиться, да что-то ничего не выходитъ, безнадежно развелъ руками Степанъ. Трое вотъ, конечно, умерли у меня... Главная сила, мокреть здѣсь, болото, ну и духъ отъ него тяжелый, ржавый.
- Отчего же вы не переведетесь куда-нибудь въ другое мъсто?
- Чего-съ? Да, въ другое мъсто, вы сказываете? опять переспросилъ Степанъ. Казалось, онъ не сразу понималъ то, что ему говорятъ, и съ видимымъ уси-

ліемъ, точно стряхивая съ себя дремоту, направлялъ на слова Сердюкова свое вниманіе. — Оно бы, баринъ, чего-лучше перевестись. Да вѣдь все равно, кому-нибудь и здѣсь жить надо. Дача, конечно, аграматная, и безъ лѣсника никакъ невозможно. Не мы — такъ другіе. До меня въ этой самой сторожкѣ жилъ лѣсникъ Галактіонъ, трезвый былъ такой человѣкъ, самостоятельный... Ну, конечно, похоронилъ сначала двоихъ ребятокъ, потомъ жену, а потомъ и самъ померъ. Я такъ полагаю, Миколай Миколаичъ, что это все равно, гдѣ жить. Ужъ Батюшка, Царь небесный, Онъ лучше знаетъ, кому гдѣ надлежитъ жить и что дѣлать.

Марья вошла съ самоваромъ, отворивъ и затворивъ за собою дверь локтемъ.

— Усълся, трутень безмедовый! — накинулась она на Степана. — Подай хоть чашки-то!..

Она съ такою силой поставила на столъ самоваръ, точно хотъла бросить его. Лицо у нея было не по лътамъ старое, изможденное, землистаго цвъта; на щекахъ сквозь кору мелкихъ, частыхъ морщинъ горълъ нездоровый кирпичный румянецъ, а глаза неестественно сильно блестъли. Съ такимъ же сердитымъ видомъ она швырнула на столъ чашки, блюдечки и коровай хлъба.

Сердюковъ отказался отъ чая. Онъ сидѣлъ разстроенный, недоумѣвающій, удрученный всѣмъ, что онъ видѣлъ и слышалъ сегодня. Мелочное, безсильно-язвительное недоброжелательство землемѣра, тихая покорность Степана передъ таинственной и жестокой судьбой, молчаливое раздраженіе его жены, видъ дѣтей, медленно, одинъ за другимъ, умирающихъ отъ болотной лихорадки, — все это сливалось въ одно гнетущее впечатлѣніе, похожее на болѣзненную, колючую, виноватую жалость, которую мы чувствуемъ, глядя пристально въ глаза умной больной собаки или въ печальные глаза идіота, которая овладѣваетъ нами, когда мы слышимъ или читаемъ про добрыхъ, ограниченныхъ и обманутыхъ людей. И здѣсь, казалось Сердюкову, въ этой бѣдной, узкой и скучной жизни, былъ чей-то злой и несправедливый обманъ.

Землемъръ молча пилъ чашку за чашкой и жадно ълъ хлъбъ, откусывая прямо отъ ломтя большими полукруглыми кусками. Во время ъды связки сухожилій ходили у него подъ скулами, точно пучки струнъ, обтянутыхъ тонкою кожей, а глаза глядъли равнодушно и тускло, какъ глаза жующаго животнаго. Изъ всей семьи только одинъ Степанъ согласился, послъ долгихъ уговоровъ, выпить чашку чаю. Онъ пилъ ее долго и шумно, дуя на блюдечко, вздыхая и съ трескомъ грызя сахаръ. Окончивъ чай, онъ перекрестился, перевернулъ чашку вверхъ дномъ, а оставшійся у него въ рукахъ крошечный кусочекъ сахару бережливо положилъ обратно въ засиженную мухами жестяную коробочку.

Вяло и тоскливо тянулось время, и Сердюковъ думалъ о томъ, какъ много еще будетъ впереди скучныхъ и длинныхъ вечеровъ въ этой душной избъ, затерявшейся одинокимъ островкомъ въ морѣ сырого, ядовитаго тумана. Потухавшій самоваръ вдругъ запѣлъ тонкимъ воющимъ голосомъ, въ которомъ слышалось привычное безысходное отчаяніе. Люлька не скрипъла больше, но въ углу за печкой однообразно, черезъ правильные промежутки, кричалъ, навъвая дремоту, сверчокъ. Дъвочка, сидъвшая на кровати, уронила руку между колѣнъ и задумчиво, какъ очарованная, глядѣла на огонь лампы. Ея громадные, съ неземнымъ выраженіемъ глаза еще больше расширились, а голова склонилась набокъ съ безсознательной и покорной граціей. О чемъ думала она, что чувствовала, глядя такъ пристально на огонь? Временами ея худенькія ручки тянулись въ долгой, лѣнивой истомѣ, и тогда въ ея глазахъ

мелькала на мгновеніе странная, едва уловимая улыбка. въ которой было что-то лукавое, нъжное и ожидающее: точно она знала, тайкомъ отъ остальныхъ людей, о чемъ-то сладкомъ, болъзненно-блаженномъ, что ожидало ее въ тишинъ и въ темнотъ ночи. И въ голову. студента пришла странная, тревожная, почти суевърная мысль о таинственной власти болъзни надъ этой семьей. Глядя въ необыкновенные глаза дѣвочки, онъ думалъ о томъ, что, можетъ-быть, для нея не существуетъ обыкновенной, будничной жизни. Медленно и равнодушно проходитъ для нея длинный день, съ его однообразными заботами, съ его безпокойнымъ шумомъ и суетой, съ его назойливымъ свътомъ. Но наступаетъ вечеръ, и вотъ, вперивъ глаза въ огонь, дъвочка томится нетерпъливымъ ожиданіемъ ночи. А ночью духъ неизлъчимой болъзни, измозжившій слабое дътское тъло, овладъваетъ ея маленькимъ мозгомъ и окутываетъ его дикими, мучительно-блаженными грезами...

Гдѣ-то давнымъ-давно Сердюковъ видѣлъ сепію извѣстнаго художника. Картина эта такъ и называлась «Малярія». На краю болота, около воды, въ которой распустились бѣлыя кувшинки, лежитъ дѣвочка, широко разметавъ во снѣ руки. А изъ болота, вмѣстѣ съ туманомъ, теряясь въ немъ легкими складками одежды, подымается тонкій, неясный призракъ женской фигуры съ огромными дикими глазами и медленно, страшно медленно тянется къ ребенку. Сердюковъ вспомнилъ вдругъ эту забытую картину и тотчасъ же почувствовалъ, какъ мистическій страхъ холодною щеткой проползъ у него по спинѣ отъ затылка до поясницы.

— Ну-съ, въ Америкъ такой обычай: посидятъ-посидятъ, да и спать, — сказалъ землемъръ, вставая со стула. — Стели-ка намъ, Марья.

Всъ поднялись съ своихъ мъстъ. Дъвочка заложила за голову сцъпленные пальцы рукъ и сильно потянулась

всѣмъ тѣломъ. Она зажмурила глаза, но губы ея улыбались радостно и мечтательно. Зѣвая и потягиваясь, Марья принесла двѣ большихъ охапки сѣна. Съ лица ея сошло сердитое выраженіе, блестящіе глаза смотрѣли мягче, и въ нихъ было то же странное выраженіе нетерпѣливаго и томнаго ожиданія.

Покуда она сдвигала лавки и стелила на нихъ сѣно, Николай Николаевичъ вышелъ на крыльцо. Ни впереди ни по сторонамъ ничего не было видно, кромѣ плотнаго, сѣраго, влажнаго тумана, и высокое крыльцо, казалось, плавало въ немъ, какъ лодка въ морѣ. И когда онъ вернулся обратно въ избу, то его лицо, волосы и одежда были холодны и мокры, точно они насквозь пропитались ѣдкимъ болотнымъ туманомъ.

Студентъ и землемъръ легли на лавки, головами подъ образа и ногами врозь. Степанъ устроился на полу, около печки. Онъ потушилъ лампу, и долго было слышно, какъ онъ шепталъ молитвы и, кряхтя, укладывался. Потомъ откуда-то прошмыгнула на кровать Марья, безшумно ступая босыми ногами. Въ избъ было тихо. Только сверчокъ однообразно, черезъ каждыя пять секундъ, издавалъ свое монотонное, усыпляющее цырканье, да муха билась объ оконное стекло и настойчиво жужжала, точно повторяя все одну и ту же докучную, безконечную жалобу.

Несмотря на усталость, Сердюковъ не могъ заснуть. Онъ лежалъ на спинъ съ открытыми глазами и прислушиваясь къ осторожнымъ ночнымъ звукамъ, которые въ темнотъ, во время безсонницы, пріобрътаютъ такую странную отчетливость. Землемъръ заснулъ почти мгновенно. Онъ дышалъ открытымъ ртомъ, и казалось, что при каждомъ вздохъ у него въ горлъ лопалась тоненькая перепонка, сквозь которую быстро и сразу прорывался задержанный воздухъ. Дъвочка, лежавшая на кровати рядомъ съ матерью, вдругъ проговорила торопливо и неясно длинную фразу... Двое дѣтей на печкѣ дышали часто и усиленно, точно стараясь сдунуть со своихъ губъ палящій лихорадочный зной... Степанъ тихо, протяжно стоналъ при каждомъ вздохѣ.

— М-а-а-мка, пи-и-ить! — капризно и сонно запросилъ дътскій голосъ.

Марья послушно вскочила съ кровати и зашлепала босыми ногами къ ведру. Студентъ слышалъ, какъ заплескалась вода въ желтзномъ ковшт, и какъ ребенокъ долго и жадно пилъ большими, громкими глотками, останавливаясь, чтобы перевести духъ. И опять все стихло. Размъренно лопалась въ груди землемъра тонкая перепонка, жалобно билась о стекло муха, и часточасто, какъ маленькіе паровозики, дышали дътскія грудки. Старшая дъвочка вдругъ проснулась и съла на кровати. Она долго силилась что-то выговорить, но не могла и только стучала вубами въ страшномъ ознобъ. «Хо-о-ло-дно!» — разслышалъ наконецъ Сердюковъ прерывистые, заикающіеся звуки. Марья со вздохами и нъжнымъ шопотомъ укутала дъвочку тулупомъ, но студентъ долго еще слышалъ въ темнотъ сухое и частое щелканье ея зубовъ.

Сердюковъ напрасно употреблялъ всѣ внакомыя ему средства, чтобы уснуть. Считалъ онъ до ста и далѣе, повторялъ знакомые стихи и јus'ы изъ пандектовъ, старался представить себѣ блестящую точку и волнующуюся поверхность моря. Но испытанныя средства не помогали. Кругомъ часто и жарко дышали больныя груди, и въ душной темнотѣ чудилось таинственное присутствіе кровожаднаго и незримаго духа, который, какъ проклятіе, поселился въ избѣ лѣсника.

Около кровати заплакалъ ребенокъ. Мать спросонья толкнула люльку и, сама борясь съ дремотой,

запѣла подъ жалобный скрипъ веревокъ старинную колыбельную пѣсню:

Аа — аа — аа — а! И всѣ лю-ю-ди-и спятъ, И всѣ звѣ-ѣ-ри-и спятъ...

Лѣниво и зловѣще раздавалась въ тишинѣ, переходя изъ полутона въ полутонъ, эта печальная, усыпляющая пѣсня, чѣмъ-то древнимъ, чудовищно-далекимъ вѣяло отъ ея наивной, грубой мелодіи. Казалось, что именно такъ, хотя и безъ словъ, должны были пѣть загадочные и жалкіе полулюди на зарѣ человѣческой жизни, глубоко за предѣлами исторіи. Вымирающіе, подавленные ужасами ночи и своею безпомощностью, сидѣли они голые въ прибрежныхъ пещерахъ, у первобытнаго огня, глядѣли на таинственное пламя и, обхвативъ руками острыя колѣни, качались взадъ и впередъ подъ звуки унылаго, безконечно долгаго, воющаго мотива.

Кто-то постучалъ снаружи въ окно, надъ самой головой студента, который вздрогнулъ отъ неожиданности. Степанъ поднялся съ полу. Онъ долго стоялъ на одномъ мѣстѣ, чмокалъ губами и, точно жалѣя разстаться съ дремотою, лѣниво чесалъ грудь и голову. Потомъ, сразу очнувшись, онъ подошелъ къ окну, прильнулъ къ нему лицомъ и крикнулъ въ темноту:

- Кто тамъ?
- Гу-у-у, глухо, черезъ стекло, загудълъ чей-то голосъ.
- Въ Кислинской? спросилъ вдругъ Степанъ невидимаго человѣка. Ага, слышу. Поѣзжай съ Богомъ, я сейчасъ.
- Что? Что такое, Степанъ? тревожно спросилъ студентъ.

Степанъ шарилъ наугадъ рукой въ печкъ, ища спичекъ.

— Эхъ иттить надо-ть, — сказаль онъ съ сожальніемъ. — Ну, да ничего не подълаешь... Пожаръ, видишь, перекинулся къ намъ въ Кислинскую дачу, такъ вотъ лъсничій велълъ всъхъ лъсниковъ согнать... Сейчасъ объъзчикъ пріъзжалъ верхомъ.

Вздыхая, кряхтя и позъвывая, Степанъ зажегъ лампу и одълся. Когда онъ вышелъ въ съни, Марья быстро и легко скользнула съ кровати и пошла затворить за нимъ двери. Изъ съней вдругъ ворвался въ нагрътую комнату вмъстъ съ холодомъ, точно чье-то ядовитое дыханіе, гнилой, притворный запахъ тумана.

- Взялъ бы фонарь-то съ собою, сказала за дверями Марья.
- Чего тамъ! Съ фонаремъ еще хуже дорогу потеряещь, отвътилъ глухо, точно изъ-подъ полу, спокойный голосъ Степана.

Опершись подбородкомъ о подоконникъ, Сердюковъ прижался лицомъ къ стеклу. На дворъ было темно отъ ночи и съро отъ тумана. Изъ отверстій, которыя оставались между рамой и плохо пригнанными стеклами, дуль острыми, тонкими струйками холодный воздухъ. Подъ окномъ послышались тяжелые, торопливые шаги Степана но его самого не было видно, - туманъ и ночь поглотили его. Безъ разсужденій, безъ жалобъ, разбитый лихорадкой, онъ всталъ среди ночи и пошелъ въ эту сырую тьму, въ это ужасное, таинственное безмолвіе. Зд'єсь было что-то совершенно непонятное для студента. Онъ вспомнилъ сегодняшнюю вечернюю дорогу, мутно-бълыя завъсы тумана по сторонамъ плотины, мягкое колебаніе почвы подъ ногами, низкій протяжный крикъ выпи, -- и ему стало нестерпимо, подътски жутко. Какая загадочная, невъроятная жизнь копошилась по ночамъ въ этомъ огромномъ, густомъ, мъстами бездонномъ болотъ? Какіе уродливые гады извивались и ползали въ немъ между мокрымъ камышомъ и корявыми кустами вербы? А Степанъ шелъ теперь черезъ это болото, совсъмъ одинъ, тихо повинуясь судьбъ, безъ страха въ сердцъ, но дрожа отъ холода, отъ сырости и отъ пожиравшей его лихорадки, отъ той самой лихорадки, которая унесла въ могилу трехъ его дътей и, навърное, унесетъ остальныхъ. И этотъ простосердечный человъкъ, съ его наёженной бородой и кроткими, усталыми глазами, былъ теперь непостижимъ, почти жутокъ для Сердюкова.

На студента нашло тяжелое, чуткое забытье. Онъ видълъ блъдные, неясные образы лицъ и предметовъ и въ то же время сознавалъ, что спитъ, и говорилъ себъ: «Въдь это сонъ, это мнъ только кажется...» Въ смутныхъ и печальныхъ грезахъ мфшались все тф же самыя впечатлънія, которыя онъ переживалъ днемъ: съемка въ пахучемъ сосновомъ лѣсу, подъ солнечнымъ припекомъ, узкая лъсная тропинка, туманъ по бокамъ плотины, изба Степана и онъ самъ съ его женой и дътьми. Снилось также Сердюкову, что онъ горячо, до боли въ сердцъ, споритъ съ землемъромъ. «Къ чему эта жизнь? — говоритъ онъ со страстными слезами на глазахъ. — Кому нужно это жалкое, нечеловъческое прозябание? Какой смыслъ въ болѣзняхъ и въ смерти милыхъ, ни въ чемъ неповинныхъ дътей, у которыхъ высасываетъ кровь уродливый болотный вампиръ? Какой отвътъ, какое оправданіе можетъ дать судьба въ ихъ страданіяхъ?» Но землемъръ досадливо морщился и отворачивалъ лицо. Ему давно надоъли философскіе разговоры. А Степанъ стоялъ тутъ же и улыбался ласково и снисходительно. Онъ тихо покачивалъ головой, какъ будто жалъя этого нервнаго и добраго юношу, который не понимаетъ, что человъческая жизнь скучна, бъдна и противна, и что не все ли равно, гдъ умереть, - на войнъ или въ путешествіи, дома или въ гнилой болотной трясинѣ?

И когда Сердюковъ очнулся, то ему показалось, что онъ не спалъ, а только думалъ упорно и безпорядочно объ этихъ вещахъ. На дворѣ уже начиналось утро. Въ туманѣ попрежнему нельзя было ничего разобрать, но онъ былъ уже бѣлаго молочнаго цвѣта и медленно колебался, какъ тяжелая, готовая подняться занавѣсь.

Сердюкову вдругъ жадно, до страданія, захотълось увидъть солнце и вздохнуть яснымъ, чистымъ воздухомъ лътняго утра. Онъ быстро одълся и вышелъ на крыльцо. Влажная волна густого ъдкаго тумана, хлынувъ ему въ ротъ, заставила его раскашляться. Низко нагибаясь, чтобы различить дорогу, Сердюковъ перебъжалъ плотину и быстрыми шагами пошелъ вверхъ. Туманъ садился ему на лицо, смачивалъ усы и ръсницы, чувствовался на губахъ, но съ каждымъ шагомъ дышать становилось легче и легче. Точно карабкаясь изъ глубокой и сырой пропасти, взбъжалъ наконецъ Сердюковъ на высокій песчаный бугоръ и задохнулся отъ прилива невыразимой радости. Туманъ лежалъ бълой колыхающейся безконечною гладью у его ногъ, но надъ нимъ сіяло глубокое небо, шептались душистыя зеленыя вътви, а золотые лучи солнца звенъли ликующимъ торжествомъ побъды.

походъ.



Пѣхотный Инсарскій полкъ выступаетъ въ ночной походъ послѣ дневки въ большой деревнѣ Погребищахъ. Въ темнотѣ ненастнаго осенняго вечера идетъ страшная, кипучая и осторожная сутолока. Слышно, какъ вдоль всей широкой и грязной деревенской улицы сотни ногъ тяжело, торопливо, вразбродъ, шлепаютъ по лужамъ, раздаются сердитые, но сдержанные окрики, лязгаетъ и звенитъ желѣзо о желѣзо. Кое-гдѣ мелькаютъ фонари; ихъ желтыя, расплывающіяся въ туманѣ пятна точно сами собой держатся высоко въ воздухѣ, раскачиваясь и вздрагивая.

Солдаты собираются быстро и съ охотой. Утомленные длинными переходами, оборвавшіеся, исхудалые, они рады тому, что завтра съ послѣднимъ корпуснымъ маневромъ кончится давно надоѣвшій лагерный сборъ, и полкъ повезутъ по желѣзной дорогѣ на зимнія квартиры. Хотя днемъ никто не ложился, но всѣ чувствуютъ себя бодро. Той озлобленной, вычурно-скверной ругани, которую только и можно услыхать между матросами, солдатами и арестантами, — сегодня совсѣмъ не слышно.

Подпоручикъ Борисъ Владимировичъ Яхонтовъ, младшій офицеръ седьмой роты, въ первый разъ участвуетъ на большихъ маневрахъ, и они еще не утратили для него своеобразной прелести кочевой жизни. Все

ему продолжаетъ нравиться: ежедневная перемѣна мъстности, деревень, лицъ и оттънковъ въ наръчіяхъ; дневки въ опрятныхъ малорусскихъ хатахъ, наполненныхъ душистымъ запахомъ чебреца и полыни, стоящихъ пучками за иконами; ночлеги на голой землѣ, подъ низкой, въ формъ карточнаго домика, палаткой, сквозь полотно которой нъжно и неясно серебрятся звъзды; здоровый аппетить на привалахъ подъ затяжнымъ дождемъ, освъжающимъ тъло и заставляющимъ щеки пріятно и сильно горъть... Предстоящій сегодня ночной переходъ заранъе возбуждаетъ Яхонтова своей необычностью. Итти Богъ знаетъ куда, по незнакомымъ мѣстамъ, глухой дождливой ночью, ничего не видя ни впереди ни рядомъ; итти такимъ образомъ не одному, а вмфстф съ тысячью другихъ людей, — представляется ему чамъ-то серьезнымъ, немного таинственнымъ, даже жуткимъ, и въ то же время привлекательнымъ.

Вечеромъ онъ провозился надъ отправкой своихъ вещей, опоздалъ въ строй и теперь торопится поспѣть къ ротѣ раньше, чѣмъ его отсутствіе замѣтитъ ротный командиръ. Но найти свою роту ночью гораздо труднѣе, чѣмъ это казалось днемъ, во время пробнаго сбора. На пути то и 'дѣло попадаются какіе-то заборы и канавы, которыхъ днемъ не было; а ночь такъ темна, что невольно хочется закрыть глаза и итти ощупью, протянувъ впередъ руки, какъ ходятъ слѣпые.

Седьмая рота раньше другихъ подтянулась къ сборному пункту. Послъдніе запоздавшіе люди, подоткнувъ полы шинелей подъ пояса, сбъгаются къ строю и протискиваются въ свои ряды, задъвая товарищей ранцами и гремя мъдными баклагами о ружейные стволы. Голоса звучатъ глухо, безжизненно и однообразно, точно они выцвъли, потеряли силу въ этомъ осеннемъ дождъ.

— Куда прешь? Нешто не видишь, что въ чужой взводъ втесался? Экой какой ты, братецъ, право, косо-

пузый!.. — Да, ну, ворочайся, что ли, орясина. — О, щобъ тоби лысыго батька, трясца твоей матери!..

— И чего ты крутишься, Сѣроштанъ? — укоризненно тонкимъ голоскомъ замѣчаетъ унтеръ-офицеръ Соловьевъ неуклюжему солдатику, который никакъ не попадетъ въ свое мѣсто. — Чего ты все крутишься? Вертитъ тебя, словно навозъ въ проруби, а чего — неизвѣстно. Да обуй глаза-то чо-ортъ!

Нѣкоторые солдаты движеніями плечъ и локтей подкидываютъ на себѣ и поправляютъ удобнѣе ранцы, уминаютъ складки шинелей и туже подпоясываютъ ремни, помогая другъ другу.

— А ну-ка, землякъ, стяни мнѣ сзади шинель! Потуже, потуже, не бойсь, не лопну. Да ты колѣнкой-то, колѣнкой въ спину упрись. О-о-о, такъ, такъ! Ну, вотъ теперь ладно. Спасибо вамъ, землячокъ!

Старый солдатъ, «дядька» Веденяпинъ, запѣвала и общій увеселитель, балагуритъ вполголоса.

- Ну, ребятишки, завтра сабашъ маневрамъ. По-оѣхала седьмая рота по чугункѣ. У-у-ухъ! — протягиваетъ онъ, подражая паровозу. — А какая у меня, братцы, въ городѣ баба осталась, — сахаръ! Сейчасъ она мнѣ это пироговъ напекетъ, за водочкой сбѣгаетъ, самоварчикъ взбодритъ. «Пожалуйте, молъ, батюшка, Фролъ Иванычъ, господинъ Сковородинъ, по прозванью Веденяпинъ... откушайте, сдѣлайте милость!..»
- А казалы хлопци, що завтра горилку будутъ давать, неожиданно произноситъ хриплымъ голосомъ лѣнивый и тупой рядовой Легкоконецъ.
- Горилку? язвительно подхватываетъ Веденяпинъ. Это, братецъ, у насъ въ Тулъ называется: захотъла кобыла уксусу...

Немного въ сторонъ отъ роты, на пригорочкъ стоитъ ротный командиръ, штабсъ-капитанъ Скибинъ. Около него горнистъ держитъ на высокой палкъ фонарь, который бросаетъ на землю нервное, мутное, движущееся пятно. Василій Васильевичъ Скибинъ мужчина высокій, костлявый, сутуловатый, длиннорукій и весь какой-то неловкій. Отъ его наружности, отъ неръшительнаго, близорукаго взгляда, отъ бъглой улыбки, даже отъ шаткой, присъдающей походки — въетъ чъмъ-то слабымъ, удрученнымъ, недоброжелательнымъ и жалкимъ. Въ немъ есть что-то бабье, старушечье. Говоритъ онъ тихо, мягкимъ и сиплымъ, точно усталымъ голосомъ, но почти всегда вещи непріятныя и злыя. Всему полку извъстно, что его жена — худая, гибкая дама, похожая на ящерицу — вотъ уже четыре года, какъ влюблена въ поручика Вержбицкаго, влюблена открыто, ревниво и безтолково. В роятно, благодаря этому обстоятельству, Василій Васильевичъ съ особенной нелюбовью относится къ молодымъ офицерамъ.

Яхонтовъ подошелъ къ фонарю и, остановившись въ двухъ шагахъ отъ Скибина, приложилъ руку къ фуражкъ. Ротный командиръ замътилъ его и, глядя ему въ кокарду, сказалъ своимъ вялымъ, утомленнымъ голосомъ:

— Если вамъ угодно опаздывать, подпоручикъ, переводитесь въ другую роту. Здѣсь у меня не танцевальный вечеръ, а служба-съ. Иначе я подамъ командиру полка рапортъ, чтобы васъ изъ моей роты убрали. Да-съ! Мнѣ эти мазуристы и дамскіе хвосты не нужны.

Онъ помолчалъ немного, затъмъ повернулъ къ двумъ другимъ офицерамъ свое унылое, худое лицо съ дряблой кожей и толстыми усами и продолжалъ только-что прерванную ръчь:

— Гг. офицеровъ прошу на походъ мъстъ своихъ не оставлять. Поручика Тумковскаго прошу... Гдъ вы, поручикъ, я васъ не вижу?.. Ага!.. Такъ вы, поручикъ, пожалуйста, обращайте вниманіе на фонарь въ

хвостѣ шестой роты и держите отъ него дистанцію. Да наблюдайте, господа, за тѣмъ, чтобы солдаты не спали на ходу. А то, знаете, задремлетъ, подлецъ, и полетитъ вмѣстѣ съ ружьемъ. Впрочемъ, я самъ... Грегорашъ! — кидаетъ онъ куда-то въ темноту.

Это восклицаніе услужливо подхватывается въ ближнихъ рядахъ и быстро перекатывается изъ взвода во взводъ.

— Фельдфебеля къ ротному! Фельдфебеля къ командиру! Тарасъ Гаврилычъ, пожалуйте къ ротному!..

Фельдфебель Грегорашъ, преувеличенно спѣша и разбрасывая далеко вокругъ себя грязь, подбѣгаетъ на согнутыхъ ногахъ, точно подплываетъ къ фонарю.

- Я, ваше благородіе!
- Чтобы люди на ходу не спали! Отъ строя чтобы никто не отлучался. Скажешь унтеръ-офицерамъ, чтобы смотрѣли. Слышишь?
- Слушаю, ваше благородіе! Такъ что я ужъ объяснялъ имъ...
- Молчи! Затъмъ прошу васъ, господа, наблюдать, чтобы люди не курили, не зажигали спичекъ, не разговаривали и вообще не шумъли... А то насъ можетъ замътить непріятель, прибавляетъ Скибинъ съ едва замътной насмъшкой. Грегорашъ, ты у меня за это отвъчаешь. Слышишь?
 - Слушаю, ваше благородіе! Такъ что я...
- Молчи! Главное, господа, чтобы люди не спали. Выколятъ канальи другъ другу глаза, а ты потомъ за нихъ отдувайся. Подпрапорщикъ Москвинъ, вы будете замыкать роту. Смотрите, чтобы не было отсталыхъ. Да, вотъ еще чтд. Сзади роты пойдетъ вотъ этотъ болванъ (Скибинъ показываетъ черезъ плечо большимъ пальцемъ на горниста), такъ, пожалуйста, чтобы онъ несъ фонарь свътомъ назадъ, къ восьмой ротъ. Это

тоже... отъ непріятеля. Затъмъ-съ... Впрочемъ, кажется, все. Прошу васъ, гг. офицеры, по мъстамъ!

Офицеры расходятся. Скибину подводятъ его лошадь, старую, гнъдую, одноглазую кобылу, купленную нарочно для маневровъ изъ кавалерійскаго брака. Зовутъ ее «Настасьей». На ходу она держитъ шею гусакомъ, высоко подымаетъ разбитыя шпатомъ ноги и такъ задираетъ назадъ голову, точно что-то разглядываетъ на небъ (такихъ лошадей зовутъ въ кавалеріи звъздочетами). Скибинъ долго прыгаетъ вокругъ нея на одной ногъ, осыпая руганью лошадь и горниста, и наконецъ грузно вваливается въ съдло.

Рота готова къ выступленію. Но проходить десять, двадцать минуть, полчаса, а стоящая впереди шестая рота не трогается съ мѣста. Это безпричинное, вынужденное бездѣйствіе въ темнотѣ, подъ дождемъ, начинаетъ тяготить и безпокоить людей. Они нетерпѣливо переминаются съ ноги на ногу, вздыхаютъ и молчатъ.

.. — Чортъ ихъ знаетъ, чего они тамъ застряли?! — говоритъ вслухъ, но точно самъ съ собою, Скибинъ, проѣзжая медленно вдоль роты и поталкивая каблуками упирающуюся лошадь. — Вѣчное безобразіе!

Стоящій неподалеку фельдфебель в'ѣжливо откашливается и тоже, какъ будто бы размышляя вслухъ, говоритъ:

- Должно-быть, мы первую бригаду впередъ пропущаемъ. А то чего же стоять!..
- Первую бригаду! сердито возражаетъ Скибинъ, останавливая лошадь. Такъ на то есть расписаніе, кому когда выступать, чтобы потомъ не выходило ерунды. Вообще, постоянно эти «моменты» *) что-нибудь напутаютъ.

^{*)} Офицеры главнаго штаба.

Въ его голосъ Яхонтову слышится всегдашняя зависть пъхотнаго строевика къ штабнымъ офицерамъ, а также и доля увъренности въ томъ, что если бы ему, Скибину, было поручено это дъло, то все устроилось бы очень скоро, просто и хорошо.

Проходитъ еще нѣсколько томительныхъ минутъ. Шестая рота вдругъ зашевелилась, зашлепала ногами и какъ будто бы затопталась, не сходя съ мѣста. Только по движеніямъ фонаря, заколебавшагося вверхъ и внизъ, можно было судить, что она не стоитъ на мѣстѣ, а тронулась впередъ. Скибинъ поворачивается къ строю и произноситъ вполголоса, небрежно сливая слова:

— Ружья-вольно, шагомъ-маршъ!

Черезъ четверть часа весь полкъ медленно вытягивается вдоль широкой почтовой дороги. Ни людей ни лошадей не видно въ ночномъ мракѣ, только еле-еле мерцаетъ впереди длинная цѣпь фонарей, которыми каждая рота показываетъ дорогу слѣдующей за ней части.

Неудобства ночного похода скоро даютъ себя знать. Черезъ каждые двъсти-триста шаговъ происходятъ задержки. Передніе ряды то и дѣло останавливаются, а задніе не видятъ этого и напираютъ на нихъ. Потомъ вдругъ между взводами образуются слишкомъ большія разстоянія. Тогда заднему взводу приходится догонять передній, и люди бітуть тяжело, съ усиліями, громыхая на бъгу баклагами, лопатами и патронными сумками, бъгутъ, ничего не различая въ темнотъ, наугадъ, до тъхъ поръ, пока не навалятся на переднихъ. Отдъленія давно уже перемъщались, но никому не приходить въ голову возстановить порядокъ. Все сильнъй и сильнъй сказываются утомленіе, тревога, скука и насильственная безсонница. Люди молчатъ, но въ этомъ молчаньи чувствуется нервная напряженность. Слышно только, какъ множество сапогъ мъсятъ грязь, влъзая въ нее и вылѣзая съ жирнымъ чавканьемъ, сопѣньемъ и чмоканьемъ. И Яхонтову думается, что, должно-быть, точно такимъ же образомъ пятьсотъ, и тысячу, и пять тысячъ лѣтъ тому назадъ водили по ночамъ своихъ плѣнниковъ суровые и равнодушные побѣдители. Вѣроятно, такъ же угрюмо и тревожно молчали усталые люди, такъ же безпорядочно и озлобленно надвигались они другъ на друга при остановкахъ, такъ же чмокала подъ ихъ ногами размякшая земля, и такъ же падала на нихъ частый осенній дождь.

- Эхъ, братики, покурить бы теперь! вырывается со вздохомъ у «дядьки» Веденяпина.
- Я тебѣ покурю, каналья! неожиданно отвѣчаетъ откуда-то изъ темноты суровый басъ фельдфебеля. Ты у меня покуришь, прохвостъ!

Ровная до сихъ поръ дорога начинаетъ опускаться. Яхонтовъ замѣчаетъ это по тому, что его ноги теряютъ устойчивость и скользятъ впередъ, такъ что поневолѣ приходится выворачивать ступню бокомъ. Потянуло острой и холодной сыростью, точно изъ глубокаго подвала, и тотчасъ же подъ ногами заходилъ и задрожалъ деревянный мостъ. Гдѣ-то внизу, въ черной водѣ безъ береговъ, отразился на мгновеніе длиннымъ волнистымъ хвостомъ свѣтъ фонаря.

— Подпоручикъ Яхонтовъ, это вы? — слышитъ Яхонтовъ надъ собой голосъ ротнаго командира. — Не хотите ли състь на лошадь, а я покамъсть пъшкомъ пройдусь. Что-то ноги затекли.

Яхонтову кажется подозрительной эта внезапная любезность, но онъ охотно соглашается. Когда онъ опускается въ съдло, то внутри лошади что-то глубоко и глухо крякаетъ. Потомъ «Настасья» медленно вздыхаетъ широко разводя боками, точно и ей сообщилось тоскливое безпокойство, нависшее надъ людьми. Яхонтовъ трогаетъ ее каблуками, и она начинаетъ осторожно

перебирать ногами, вытаскивая ихъ изъ вязкой глины съ такими звуками, какіе бываютъ, когда откупориваютъ бутылки.

Вдалекъ, на самомъ краю темнаго горизонта, вдругъ показывается маленькій огонекъ, который все разрастается по мфрф того, какъ рота подвигается впередъ. Наконецъ можно ясно разобрать, что это — большой двухъэтажный домъ. Весь низъ его освъщенъ изнутри очень ясно, по-праздничному, а въ верхнемъ этажъ свътятся — но гораздо блъднъе — только два крайнихъ лъвыхъ окна. Яхонтовъ глядитъ на эти свътлыя, веселыя пятна и думаетъ о теплъ, свътъ и довольствъ, которое испытываютъ живущіе въ этомъ дом'в люди. Воображается ему большая и дружная помъщичья семья, сытая, веселая жизнь, танцы, смъхъ, общество нарядныхъ и красивыхъ женщинъ. И его собственная жизнь кажется ему въ эти минуты такой же тяжелой, скучной и однообразной, какъ эта дождливая ночь, какъ эта безконечная незнакомая дорога.

Впереди опять останавливаются. Слышно, что въ рядахъ шестой роты происходитъ какая-то странная возня. Нъсколько голосовъ говорятъ быстро, громко и разомъ. Словъ нельзя разобрать, но замътно, что кто-то бранится и кто-то оправдывается. Яхонтовъ продвигается впередъ и по отблеску фонаря, скользнувшему по офицерскимъ погонамъ, узнаетъ Тумковскаго.

- Что тамъ такое, Иванъ Мартиньяновичъ? спрашиваетъ онъ, наклоняясь съ лошади.
- А, дуся моя, это вы? говоритъ сладко, какъ всегда, Тумковскій, и по звуку его голоса видно, что онъ поднялъ голову вверхъ. Не знаю, золото мое! Какой-то олухъ на штыкъ напоролся. Да вотъ его тащатъ въ линейку.

Фонарь на секунду освъщаетъ двухъ солдатъ, ведущихъ подъ мышки третьяго, который отрывисто, точно съ натугой, стонетъ и держится руками за лицо.

— Въ глазъ, что ли? — вяло спрашиваетъ Скибинъ. — Чего же ты молчишь, дуракъ?

Трое солдатъ останавливаются.

- Слышишь, тебя спрашивають, въ глазъ, что ли? громко, какъ къ глухому, обращается къ раненому одинъ изъ провожатыхъ.
- Такъ что... не можу знать, тусклымъ, надсаженнымъ голосомъ, съ запинками отвъчаетъ тотъ и отнимаетъ ладони отъ лица. Дуже больно, ваше благородіе, не можно вытерпъть...
- Чего же ты лѣзъ на штыкъ, идіотъ? такъ же вяло замѣчаетъ Скибинъ. Самъ и виноватъ, дурень. Ну, проходи, проходи!

И онъ прибавляетъ поучительнымъ тономъ, обращаясь къ Тумковскому:

— Вотъ теперь изъ-за такого ротозъя влетитъ ротному командиру. А чъмъ, спрашивается, ротный виноватъ?.. Порядки!..

Яхонтовъ низко нагибается къ раненому и вглядывается въ его лицо. Въ темнотѣ нельзя даже разобрать отдѣльныхъ чертъ, но молодому офицеру кажется, что у солдата вмѣсто праваго глаза — огромное, съ кулакъ величиною, черное отверстіе. И, вмѣстѣ съ чувствомъ брезгливой жалости, Яхонтовъ ощущаетъ у себя въ пальцахъ ногъ и въ низу живота какую-то противную, щекочущую и раздражающую боль.

Солдата уводятъ, и опять возобновляется тягостное, молчаливое движеніе. Изъ всей роты энергію сохранилъ только одинъ фельдфебель. Время отъ времени Яхонтовъ слышитъ, какъ онъ пробираетъ въ серединѣ роты задремавшаго солдатика:

— Заснулъ? Деревню бачилъ во снѣ? Можетъ, подушку тебѣ принести?

И затъмъ приговариваетъ шипящимъ голосомъ, сквозь стиснутые зубы:

— А вотъ не спи, не спи, не спи!

Между тъмъ Яхонтовъ уже давно начинаетъ испытывать странное и чрезвычайно непріятное ощущеніе. Ему все кажется, что лошадь не идетъ подъ нимъ, а только качаетъ взадъ и впередъ спиной и топчется ногами на одномъ и томъ же мъстъ. Напрасно онъ старается увърить себя въ ложности этаго удивительнаго ощущенія, наклоняясь внизъ и напрягая зръніе, чтобы увидъть дорогу, — лошадь продолжаетъ раскачиваться и вытаскивать ноги изъ грязи, не сходя съ мъста и не дълая ни одного шага впередъ.

— Чортъ! Да мы идемъ или стоимъ? — воскликнулъ Яхонтовъ и вдругъ самъ похолодълъ отъ своего испуганнаго голоса.

Изъ рядовъ кто-то отвѣтилъ ему коротко и угрюмо:
— Полземъ.

Въ этомъ грубомъ, совсѣмъ не солдатскомъ отвѣтѣ Яхонтову послышалось что-то новое и зловѣщее, какаято покорная и безнадежная усталость, какой-то общій упадокъ духа, который точно окончательно уничтожилъ всякую разницу между солдатомъ и офицеромъ. И Яхонтовъ, вмѣсто того, чтобы сдѣлать выговоръ, только растерянно обернулся въ ту сторону, откуда послышался этотъ отвѣтъ.

А лошадь все такъ же безцѣльно качала спиной и тыкала въ одно мѣсто ногами. Яхонтову стало жутко. Это ощущеніе такъ походило на одинъ изъ нелѣпыхъ, изнуряющихъ лихорадочныхъ сновъ, въ которыхъ торопишься куда-нибудь и съ отчаяніемъ чувствуешь, что не можешь шевельнуть ни рукой ни ногой. И едва только Яхонтову пришло въ

голову это сравненіе, какъ все вдругъ стало похожимъ на сонъ. Весь этотъ ночной переходъ, и безмолвно-покорные солдаты, и уходящая далеко-далеко цѣпь фонарей, и давешній раненый солдатъ, и вялая озлобленность Скибина, и тоскливая дорога съ ея тьмой, сыростью и холодомъ, — все это представилось ему какимъ-то грознымъ, давно забытымъ бредомъ, который повторяется теперь съ прежней силой и прежнимъ ужасомъ.

— Ахъ, въдь все это было, было... — прошепталъ Яхонтовъ. — Господи, что же это такое!

Онъ слѣзъ съ лошади, отдалъ ее горнисту и, перегоняя солдатъ, прошелъ на правый флангъ. Тамъ, въ промежуткъ между ротами, гдъ было свътлъе отъ фонаря и просторнъе, шли рядомъ, разговаривая вполголоса, Скибинъ и Тумковскій.

- Я отдалъ лошадь горнисту, сказалъ Яхонтовъ.
- Отлично, бросилъ ему разсъянно Скибинъ. А' я вамъ скажу, поручикъ, повернулся онъ торопливо къ Тумковскому: что эти маневры одинъ только развратъ и антимонія. Можетъ-быть, для генеральнаго штаба оно и нужно, а солдаты только распускаются и теряютъ выправку. Да и для офицеровъ лишнее. Какой къ чорту это непріятель, когда вы отлично видите, что это поручикъ Сидоровъ, у котораго вы вчера заняли три рубля? Вы командуете: «Прямо, по колоннъ, пальба взводомъ», а вамъ ръшительно наплевать, какъ солдаты цълятся, и укрыты ли они отъ огня, и все такое...
- Совершенно върно, дорогой Василій Васильевичъ, согласился Тумковскій. А я вотъ читалъ гдъ-то или, кажется, слышалъ, что одинъ генералъ предложилъ раздавать во время маневровъ въ числъ коло-

стыхъ патроновъ какой-то тамъ процентъ боевыхъ. Чтото такое одинъ на десять тысячъ, не помню хорошенько...

- Ахъ, глупости! досадливо протянулъ Скибинъ. Никакіе тутъ патроны не нужны. Какіе тутъ къ чорту патроны, когда теперь солдаты въ родѣ институтокъ стали: пальцемъ его тронуть не смѣй. А помоему, бить ихъ, подлецовъ, нужно, вотъ что нужно! Прежде у насъ и Суворовы были и Севастополь, а почему? Потому что десятерыхъ засѣкали, а изъ одиннадцатаго дѣлали солдата. Прежде, батенька, солдатъ пять лѣтъ служилъ, а все еще молодымъ солдатомъ считался. Вотъ это была служба-съ!.. А теперь... Эхъ!
- Теперь прямо пансіонъ благородныхъ дѣвицъ, услужливо подхватилъ Тумковскій: гуманисты какіе-то пошли, либералы. Попробовали бы эти либерали съ нашими скотами повозиться, небось, у самихъруки бы опухли отъ битья. А то, изволите ли видѣть: ударишь какую-нибудь сволочь, да и ударишь-то не больно, почти въ шутку, а онъ сейчасъ: «Охъ!» «Чтò такое?» «Ничего не слышу на правое ухо...» И сейчасъ тебя подъ судъ. За истязаніе нижняго чина, имѣвшее послѣдствіемъ и т. д. А онъ, мерзавецъ, лучше нашего слышитъ.
- Потому что дураки! возразилъ презрительно Скибинъ. Кто же такъ дѣлаетъ, при свидѣтеляхъ? Нѣтъ, ты его сначала позови въ цейхгаузъ или къ себѣ на квартиру, да тамъ и поговори, какъ слѣдуетъ. Повѣрьте, потомъ самъ всю жизнь благодарить будетъ, что подъ судъ не отдали. Судъ-то его куда законопатитъ, а ты начистилъ ему морду, и все тутъ. А что ему морда?..

Они еще долго тянутъ этотъ разговоръ, точно стараясь не уступить другъ другу въ равнодушной жестомости къ солдату, въ презрительномъ отношеніи къ своему дѣлу, въ пренебрежительной насмѣшкѣ надъвысшимъ начальствомъ. Въ этихъ пошлыхъ, холодныхъ и злыхъ фразахъ Яхонтову опять слышится что-то похожее на тотъ страшный бредъ, который онъ испыталъ нѣсколько минутъ тому назадъ, и на душѣ у него дѣлается пусто и противно до тошноты. Тѣмъ же тусклымъ, утомительнымъ, давно-давно знакомымъ бредомъ представляется ему и вся его военная карьера, и безрадостное дѣтство, прошедшее въ большихъ казенныхъ домахъ, и ждущая впереди сѣренькая жизнь, и его собственныя, теперешнія мысли — такія блѣдныя, безсильныя и тоскливыя.

А рота все идетъ и идетъ по грязной почтовой дорогъ, и кажется, что никогда не будетъ конца этому движенію, что какая-то чудовищная сила овладъла тысячами взрослыхъ, здоровыхъ людей, оторвала ихъ отъ родныхъ угловъ, отъ привычнаго, любимаго дъла и гонитъ — Богъ въсть куда и зачъмъ — среди этой ненастной ночи...

Недалеко до разсвъта. Понемногу вырисовываются изъ темноты сърыя, измятыя, глянцовитыя отъ тумана и отъ безсонницы солдатскія лица. Всъ они похожи одно на другое и выглядятъ еще суровъе и покорнъе въ слабомъ и невърномъ утреннемъ полусвътъ.

одиночество.



Послѣ полудня стало такъ жарко, что пассажиры I-го и II-го классовъ одинъ за другимъ перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безвътріе вся поверхность ръки кипъла мелкой дрожащей зыбью, въ которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи. производя впечатлъніе безчисленнаго множества серебряныхъ шариковъ, невысоко подпрыгивающихъ на водъ. Только на отмеляхъ, тамъ, гдъ берегъ длиннымъ мысомъ врѣзался въ рѣку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синъвшей среди этой блестящей ряби. На небъ, поблъднъвшемъ отъ солнечнаго жара и свъта, не было ни одной тучки, но на пыльномъ горизонть, какъ разъ надъ сизой и зубчатой полосой дальняго лѣса, кое-гдѣ протянулись тонкія бѣлыя облачка, отливавшія по краямъ, какъ мазки расплавленнаго металла. Черный дымъ, не подымаясь надъ низкой закоптълой трубой, стлался за пароходомъ длиннымъ грязнымъ хвостомъ.

Покромцевы, мужъ и жена, тоже вышли на палубу. Ихъ вовсе не стъсняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество; наоборотъ, они въ немъ чувствовали себя еще ближе, еще тъснъе другъ къ другу. Они были женаты уже три мъсяца — именно такой срокъ, послъ котораго молодые супруги

особенно охотно посъщаютъ театры, гулянья и балы, гдъ, затерявшись въ толпъ чужихъ людей, они глубже и остръе чувствуютъ взаимную близость, обратившуюся въ привычку за время медоваго мъсяца. Лишь изръдка они обмънивались незначительнымъ односложнымъ замъчаніемъ, улыбкой или долгимъ взглядомъ. И онъ и она испытывали то полное, лънивое и сладкое счастье, которое даетъ только путешествіе, сопровождаемое молодостью и беззаботной удовлетворенной любовью.

Снизу, изъ машиннаго отдъленія, вмѣстѣ съ теплымъ запахомъ нефти, доносилось непрерывное шипъніе, мягкіе удары работающихъ поршней и какіе-то глубокіе, правильные вздохи, въ тактъ которымъ такъ же размъренно вздрагивала деревянная палуба «Ястреба». Подъ колесами парохода клокотала вода, выбрасивая сердитые бугры бълой пъны. За кормой. торопливо догоняя ее, бъжали ряды длинныхъ, широкихъ волнъ; бълые курчавые гребни неожиданно вскипали на ихъ мутно-зеленой вершинъ и, плавно опустившись внизъ, вдругъ таяли, точно прятались подъ воду. Расходясь по ръкъ все шире, все дальше, волны набъгали на берегъ, колебали и пригибали къ землъ жидкіе кусты ивняка и, разбившись съ шумнымъ плескомъ и пѣною объ откосъ, бѣжали назадъ, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъфденную прибоемъ.

Кое-гдѣ на кустахъ висѣли длинныя рыбачьи сѣти. Чайки съ пронзительнымъ крикомъ летѣли навстрѣчу пароходу, сверкая на солнцѣ при каждомъ взмахѣ своихъ широкихъ, изогнутыхъ крыльевъ. Изрѣдка на болотистомъ берегу виднѣлась сѣрая цапля, стоявшая въ важной и задумчивой позѣ на своихъ длинныхъ красноватыхъ ногахъ.

Но это однообразіе не прискучивало Вѣрѣ Львовнѣ и не утомляло ее, потому что на весь Божій міръ она глядѣла сквозь радужную пелену тихаго очарованья, переполнявшаго ея душу. Ей все казалось милымъ и

дорогимъ: и «нашъ» пароходъ — необыкновенно чистенькій и быстрый пароходъ! — и «нашъ» капитанъ здоровенный толстякъ въ парусинной паръ и клеенчатомъ картузъ, съ багровымъ лицомъ, сизымъ носомъ и звъринымъ голосомъ, давно охрипшимъ отъ непогодъ, оранья и пьянства, — «нашъ» лоцманъ — красивый, чорнобородый мужикъ въ красной рубахъ, который вертълъ въ своей стеклянной будочкъ колесо штурвала, въ то время, какъ его острые, прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрали вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сътку, Въра Львовна съ наслажденіемъ глядъла, какъ играли въ волнахъ бълые барашки, а въ головъ ея подъ размъренные вздохи машины звучалъ мотивъ какой-то самодъльной польки, и съ этимъ мотивомъ въ странную гармонію сливались и шумъ воды подъ колесами и дребезжаніе чашекъ въ буфетъ...

Иногда навстръчу «Ястребу» попадался буксирный пароходъ, тащившій за собою на толстомъ канатъ длинную вереницу низкихъ, неуклюжихъ барокъ. Тогда оба парохода начинали угрожающе ревъть, что заставляло Въру Львовну съ испуганнымъ видомъ зажмуриватъ глаза и затыкать уши...

Вдали показывалась пристань — маленькій красный домикъ, выстроенный на баркѣ. Капитанъ, приложивши ротъ къ мѣдному рупору, проведенному въ машинное отдѣленіе, кричалъ командныя слова, и его голосъ казался выходящимъ изъ глубокой бочки. «Самый малый! Ступъ! Задній ходъ! Сту-упъ!..» Съ нижней палубы выбрасывали канатъ, и онъ, развиваясь въ воздухѣ, съ грохотомъ падалъ на крышу пристани. Матросы по дрожащимъ сходнямъ выносили на берегъ громадные кули и мѣшки, сгибаясь подъ ихъ тяжестью и придерживая ихъ желѣзными крюками. Около станціи толпились бабы и дѣвчонки въ красныхъ сарафанахъ; онѣ

навязчиво предлагали пассажирамъ вялую малину, бутылки съ кипяченымъ молокомъ, соленую рыбу и баранину. Ямскія лошади, надъ которыми вились тучи слѣпней, нетерпѣливо позвякивали бубенчиками и колокольцами...

Жара понемногу спадала. Отъ воды поднялся легкій вътерокъ. Солнце садилось въ пожаръ пурпурнаго пламени и растопленнаго золота; когда же яркія краски зари потухли, то весь горизонтъ освътился ровнымъ пыльнорозовымъ сіяніемъ. Наконецъ и это сіяніе померкло, и только невысоко надъ землей, въ томъ мъстъ, гдъ закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незамътно переходившая наверху въ нъжный голубоватый оттънокъ вечерняго неба, а внизу въ тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся отъ земли. Воздухъ сгустился, похолодълъ. Откуда-то донесся и скользнулъ по палубъ слабый запахъ меда и сырой травы. На востокъ, за волнистой линіей холмовъ, разрастался темно-золотой свътъ луны, готовой взойти. Она показалась сначала только однимъ краешкомъ и потомъ выплыла — большая, огненно-красная и какъ будто бы приплюснутая сверху.

На пароход'в зажгли электричество и засв'втили на бортахъ сигнальные фонари. Изъ трубы валили длиннымъ снопомъ и стлались за пароходомъ, тая въ воздухв, красныя искры. Вода казалась св'втл'ве неба и уже не кип'вла больше. Она успокоилась, затихла, и волны отъ парохода расходились по ней такія чистыя и гладкія, какъ будто бы он'в рождались и застывали въжидкомъ стекл'в. Луна поднялась еще выше и побл'вдн'вла; дискъ ея сд'влался правильнымъ и блестящимъ, какъ отполированный серебряный щитъ. По вод'в протянулся отъ берега къ пароходу и заигралъ золотыми блестками и струйками длинный дрожащій столбъ.

Становилось свѣжо. Покромцевъ замѣтилъ, что

жена его два раза содрогнулась плечами и спиной подъ своимъ шерстянымъ платкомъ, и, нагнувшись къ ней, спросилъ:

— Птичка моя, тебѣ не холодно? Можетъ-быть, пойдемъ въ каюту?

Въра Львовна подняла голову и посмотръла на мужа. Его лицо при лунномъ свътъ стало блъднъе обыкновеннаго, пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались ръзче, а глаза удлинились и приняли странное, нъжное выраженіе.

— Нътъ, нътъ... не безпокойся, милый... Мнъ очнь хорошо, — отвътила она.

Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая темная жуть, которая овладъваетъ нервными людьми въ яркія лунныя ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкіе берега, бъжавшіе мимо парохода, были молчаливы и печальны, прибрежные лъса, окутанные влажнымъ мракомъ, казались страшными.

У Въры Львовны вдругъ явилось непреодолимое желаніе прильнуть какъ можно ближе къ своему мужу, спрятать голову на сильной груди этаго близкаго человъка, согръться его теплотой...

Онъ, точно угадывая ея мимолетное желаніе, тихо обвилъ ее половиной своего широкаго пальто, и они оба затихли, прижавшись другъ къ другу, и, касаясь другъ друга головами, слились въ одинъ граціозный темный силуэтъ, между тъмъ какъ луна бросала яркія серебряныя пятна на ихъ плечи и на очертаніе ихъфигуръ.

Пароходъ сталъ двигаться осторожнѣе, изъ боязни наткнуться на мель... Матросы на носу измѣряли глубину рѣки, и въ ночномъ воздухѣ отчетливо звучали ихъ протяжныя восклицанія: «Ше—есть!.. Шесть съ полови—иной!.. Во—осемь!.. По-одъ таба-акъ!..

Се—мь!» Въ этихъ высокихъ стонущихъ звукахъ слышалось то же уныніе, какимъ были полны темные, печальные берега и холодное небо. Но подъ плащомъ было очень тепло, и, крѣпко прижимаясь къ любимому человѣку, Вѣра Львовна еще глубже ощущала свое счастье.

На правомъ берегу показались смутныя очертанія высокой горы съ легкой, рѣзной, деревянной бесѣдкой на самой вершинѣ. Бесѣдка была ярко освѣщена, и внутри ея двигались люди. Видно было, какъ, услышавъ шумъ приближающагося парохода, они подходили къ периламъ и, облокотившись на нихъ, глядѣли внизъ.

- Ахъ, Володя, посмотри, какая прелесть! воскликнула Въра Львовна. Совсъмъ кружевная бесъдка... Вотъ бы намъ съ тобой здъсь пожить...
- Я здѣсь провелъ цѣлое лѣто, сказалъ По-кромцевъ.
 - Да? Неужели? Это, навърно, чье-нибудь имъніе?
 - Князей Ширковыхъ. Очень богатые люди...

Она не видѣла его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, онъ слегка разглаживаетъ концами пальцевъ свои усы, и что въ его голосѣ звучитъ улыбка воспоминанія.

- Когда же ты былъ тамъ? Ты мнѣ ничего о нихъ не разсказывалъ... Что они за люди?
- Люди?.. Какъ тебѣ сказать?.. Ни дурные, ни хорошіе... Веселые люди...

Онъ замолчалъ, продолжая улыбаться своимъ воспоминаніямъ. Тогда Вѣра Львовна сказала:

- Ты смѣешься... Ты, вѣрно, вспомнилъ что-нибудь интересное?
- О, нѣтъ... Ничего... Ровно ничего интереснаго, возразилъ Покромцевъ и крѣпче обнялъ талію жены. Такъ... маленькія глупости... не стоитъ и вспоминать.

Въра Львовна не хотъла больше разспрашивать, но Покромцевъ началъ говорить самъ. Ему пріятно было, что его жена узнаетъ, въ какой широкой барской обстановкъ ему приходилось жить. Это щекотало мелочнымъ, но пріятнымъ образомъ его самолюбіе. Ширковы жили лѣтомъ въ своемъ имѣніи, точь въ точь, какъ англійскіе лорды. Правда, самъ Покромцевъ былъ тамъ только репетиторомъ, но онъ сумълъ себя поставить такъ, что съ нимъ обращались какъ со своимъ, даже больше того, — какъ съ близкимъ человъкомъ. Въдь настоящихъ свътскихъ людей всего скоръе и узнаёшь именно по ихъ очаровательной простотъ. Лъто промелькнуло удивительно быстро и весело: лаунъ-теннисъ, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхомъ... Къ объду всъ собирались по звуку гонга, непремънно во фракахъ и бълыхъ галстукахъ, - однимъ словомъ, самое утонченное соединение строгаго этикета съ простотой и прекрасныхъ манеръ съ непринужденнымъ весельемъ. Конечно, въ такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лѣто — и то чрезвычайно пріятно.

Въра Львовна слушала его, не прерывая ни однимъ словомъ и въ то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность, чувство. Ей было больно думать, что у него въ памяти остался хоть одинъ счастливый моментъ изъ его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный ихъ теперешнимъ общимъ счастьемъ.

Бесъдка вдругъ точно спряталась за поворотомъ. Въра Львовна молчала, а Покромцевъ, увлеченный своими воспоминаніями, продолжалъ:

— Ну, конечно, играли въ любовь, безъ этого на дачъ нельзя. Всъ играли, начиная со стараго князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И всъ другъ другу покровительствовали, смотръли сквозь пальцы.

— A ты? Ты тоже... ухаживалъ за къмъ-нибудь? — спросила Въра Львовна неестественно-спокойнымъ тономъ.

Онъ повелъ рукой по усамъ. Этотъ самодовольный, такъ хорошо знакомый Въръ Львовнъ жестъ вдругъ показался ей пошлымъ.

- Н-да... и я тоже. У меня вышелъ маленькій романъ съ княжной Кэтъ. Очень смѣшной романъ и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь: дѣвицѣ еще и 16-ти лѣтъ не исполнилось, но развязность, самоувѣренность и прочее просто удивительныя. Она мнѣ прямо изложила свой взглядъ. «Мнѣ, говоритъ, здѣсь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить безъ сознанія, что въ меня всѣ кругомъ влюблены. Вы одинъ здѣсь только мнѣ и нравитесь. Вы недурны собой, съ вами можно разговаривать, ну и такъ далѣе. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему же намъ не провести это лѣто весело и пріятно?»
- Ну и что же? Было весело? спросила Въра Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшаго голоса.

Этотъ голосъ заставилъ Покромцева насторожиться. Какъ бы извиняясь за то, что причинилъ ей боль, онъ притянулъ къ себъ голову жены и прикоснулся губами къ ея виску. Но какое-то подлое, неудержимое влеченіе, копошившееся въ его душъ, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодечество, тянуло его разсказывать дальше.

— Вотъ мы и играли въ любовь съ этимъ подлѣткомъ и въ концѣ лѣта разстались. Она совсѣмъ равнодушно благодарила меня за то, что я помогъ ей не скучать, и жалѣла, что не встрѣтилась со мною, уже выйдя замужъ. Впрочемъ, она, по ея словамъ, не теряла надежды встрѣтиться со мною впослѣдствіи.

И онъ прибавилъ съ дъланнымъ смъхомъ:

— Вообще, эта исторія составляєть для меня одно изъ самыхъ непріятныхъ воспоминаній. Въдь правда, Върочка, гадко все это?

Въра Львовна не отвътила ему. Покромцевъ почувствовалъ къ ней жалость и сталъ раскаиваться въ своей откровенности. Желая загладить непріятное впечатлъніе, онъ еще разъ поцъловалъ жену въ щеку...

Въра Львовна не сопротивлялась, но и не отвътила на поцълуй... Странное, мучительное и самой ей неясное чувство овладъло ея душой. Тутъ была отчасти и ревность къ прошедшему, — самый ужасный видъ ревности, — но была только отчасти. Въра Львовна давно слышала и знала, что у каждаго мужчины бываютъ до женитьбы интрижки и связи, что то, что для женщины составляетъ огромное событіе, для мужчины является простымъ случаемъ, и что съ этимъ ужаснымъ порядкомъ вещей надо поневолѣ мириться. Было тутъ и негодованіе на ту унизительную и развратную роль, которая выпала въ этомъ романъ на долю ея мужа. но Въра Львовна вспомнила, что и ея поцълуи съ нимъ, когда они еще были женихомъ и невъстой, не всегда носили невинный и чистый характеръ. Страшнъе всего въ этомъ новомъ чувствъ было сознаніе того, что Владимиръ Ивановичъ вдругъ сдълался для своей жены чужимъ, далекимъ человѣкомъ, и что ихъ прежняя близость никогда уже не можетъ возвратиться.

«Зачѣмъ онъ мнѣ разсказывалъ всю эту гадость? мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодѣвшія руки. — Онъ перевернулъ всю мою душу и наполнилъ ее грязью, но что же я могу ему сказать на это? Какъ я узнаю, что онъ испытывалъ во время своего разсказа? Сожалѣніе о прошломъ? Нехорошее волненіе? Гадливость? (Нѣтъ, ужъ во всякомъ случаѣ не гадливость: тонъ у него былъ самодовольный, хотя

онъ и старался это скрыть)... Надежду опять встрътиться когда-нибудь съ этой Кэтъ? А почему же и не такъ? Если я спрошу его объ этомъ, онъ, конечно, поспъшитъ меня успокоить, но какъ проникнуть въ самую глубь его души, въ самые отдаленные изгибы его сознанія? Почему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и правдиво, онъ въ то же время не обманываетъ — и, можетъ-быть, совершенно невольно — своей совъсти? О! Чего бы я ни дала за возможность коть одинъ только мигъ пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать всъ оттънки его мысли, подсмотръть, что дълается въ этомъ сердцъ...

И это страстное влеченіе слиться мыслью, отожествиться съ другимъ человѣкомъ, приняло такіе огромные размѣры, что Вѣра Львовна, нечаянно для самой себя, крѣпко прижалась головой къ головѣ мужа, точно желая проникнуть, войти въ его существо. Но онъ не понялъ этого невольнаго движенія и подумалъ, что жена просто хочетъ къ нему приласкаться, какъ озябшая кошечка. Онъ пощекоталъ ее усами по щекѣ и сказалъ тономъ, какимъ говорятъ съ балованными дѣтьми:

— Въруся бай-бай хочетъ? Върусенька озябла? Пойдемъ въ каютку, Върусенька?

Она молча поднялась, кутаясь въ свой платокъ.

 Върусенька на насъ ни за что не сердится? спросилъ Покромцеввъ тъмъ же сладкимъ голосомъ.

Въра Львовна отрицательно покачала головой. Но передъ трапомъ, ведущимъ въ каюты, она остановилась и сказала:

— Послушай, Володя, тебѣ ни разу не приходило въ голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймутъ вполнѣ другъ друга?.. Какими бы тѣсными узами они ни были связаны?..

Онъ чувствовалъ себя немного виноватымъ и потому пробормоталъ со смѣхомъ:

— Ну вотъ, Върунчикъ, какую философію развела... Развъ мы съ тобой не понимаемъ другъ друга?

Въ каютъ онъ скоро заснулъ тихимъ сномъ здороваго сытаго человъка. Его дыханія не было слышно, и лицо приняло дътское выраженіе.

Но Въра Львовна не могла спать. Ей стало душно въ тъсной каютъ, и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало кожу ея рукъ и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу.

- Ты куда, мамуся? спросилъ Покромцевъ, разбуженный шелестомъ ея юбокъ.
- Лежи, лежи, я сейчасъ приду. Я еще минутку посижу на палубъ, отвътила она, дълая ему рукою знакъ, чтобы онъ не вставалъ.

Ей хотѣлось остаться одной и думать. Присутствіе мужа, даже спящаго, стѣсняло ее. Выйдя на палубу, она невольно сѣла на то же самое мѣсто, гдѣ сидѣла раньше. Небо стало еще холоднѣе, а вода потемнѣла и потеряла свою прозрачность. То и дѣло легкія тучки, похожія на пушистые комки ваты, набѣгали на свѣтлый кругъ луны и вдругъ окрашивались причудливымъ золотымъ сіяніемъ. Печальные, низкіе и темные берега такъ же молчаливо бѣжали мимо парохода.

Въръ Львовнъ было жутко и тоскливо. Она впервые въ своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознаніе, приходящее рано или поздно въ голову каждаго чуткаго вдумчиваго человъка, — на сознаніе той неумолимой непроницаемой преграды, которая въчно стоитъ между двумя близкими людьми. «Что же я о немъ знаю? — шопотомъ спрашивала себя Въра Львовна, сжимая руками горячій лобъ. — Что я знаю о моемъ мужъ, объ этомъ человъкъ, съ которымъ я вмъстъ и ъмъ, и пью, и сплю, и съ которымъ всю жизнь должна пройти вмъстъ? Положимъ, я знаю, что онъ красивъ, что онъ любитъ свою физическую силу и хо-

литъ свои мускулы, что онъ музыкаленъ, что онъ читаетъ стихи нараспѣвъ, знаю даже больше, — знаю его ласковыя слова, знаю, какъ онъ цѣлуется, знаю пять или шесть его привычекъ... Ну, а больше? Что же я больше-то знаю о немъ? Извѣстно ли мнѣ, какой слѣдъ оставили въ его сердцѣ и умѣ его прежнія увлеченія? Могу ли я отгадать у него тѣ моменты, когда человѣкъ во время смѣха внутренно страдаетъ, или когда наружной, лицемѣрной печалью прикрываетъ злорадство? Какъ разобраться во всѣхъ этихъ тонкихъ изворотахъ чужой мысли, въ этомъ чудовищномъ вихрѣ чувствъ и желаній, который постоянно, быстро и неуловимо несется въ душѣ посто ро н н я го человѣка?»

Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознаніе своего в в чна го одиночества, что ей захотвлось плакать. Она вспомнила свою мать, братьевъ, меньшую сестру. Развви они не такъ же чужды ей, какъ чуждъ этотъ красивый брюнетъ съ нѣжной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ея мужемъ? Развъ сможетъ она когданибудь такъ взглянуть на міръ, какъ они глядятъ, увидъть то, что они видятъ, почувствовать, что они чувствуютъ?..

Около четырехъ часовъ утра Покромцевъ проснулся и былъ очень удивленъ, не видя на противоположномъ диванъ своей жены. Онъ быстро одълся и, позъвывая и вздрагивая отъ утренняго холодка, вышелъ на палубу.

Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита блѣднымъ розовымъ свѣтомъ. Прозрачная и спокойная рѣка лежала точно громадное зеркало въ зеленой, влажной рамѣ ожившихъ, орошенныхъ луговъ. Легкія розовыя морщины слегка бороздили ея гладкую поверхность, а пѣна подъ пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правомъ берегу молодой березовый лѣсъ съ его частымъ строемъ тонкихъ, пря-

мыхъ, бѣлыхъ стволовъ былъ окутанъ, точно тонкой кисеей, легкимъ покровомъ тумана. Сизая, тяжелая туча, низко повисшая на востокѣ, одна только боролась съ сіяющимъ торжествомъ наряднаго лѣтняго утра. Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, темнокрасные штрихи.

Въра Львовна сидъла на томъ же мъстъ, облокотясь руками на ръшетку и положивъ на нихъ отяжелъвшую голову. Покромцевъ подошелъ къ ней и, обнявъ ее, напыщенно продекламировалъ голосомъ, разбухшимъ отъ здороваго сна:

— «Вышла изъ мрака младая, съ перстами пурпурными, Эосъ»...

Но, когда онъ увидълъ ея серьезное, заплаканное лицо, онъ точно поперхнулся послъднимъ словомъ.

— Върусенька, что съ тобой? Что такое, моя дорогая?

Но она уже приготовилась къ этому вопросу. Она такъ много передумала за эту ночь, что пришла къ единственному разумному и холодному ръшенію: надо жить, какъ всъ, надо подчиняться обстоятельствамъ, надо даже лгать, если нельзя говорить правду.

И она отвѣтила, виновато и растерянно улыбаясь:

— Ничего, мой милый. Просто — у меня безсонница...



ночлегъ.



Въ послѣднихъ числахъ августа, во время большихъ маневровъ, N — скій пѣхотный полкъ совершалъ большой сорокаверстный переходъ отъ села Большихъ Зимовецъ до деревни Нагорной. День стоялъ жаркій, палящій, томительный. На горизонтѣ, серебряномъ отъ тонкой далекой пыли, дрожали прозрачныя волнующіяся струйки нагрѣтаго воздуха. По обѣимъ сторонамъ дороги, куда только хваталъ глазъ, тянулось все одно и то же пространство сжатыхъ полей, съ торчащими на немъ желтыми, колючими остатками соломы.

Слъдъ отряда издали обозначался длинной извилистой и узкой лентой желтоватой пыли. Солдаты шли, совершенно окутанные ею. Пыль скрипъла во рту, садилась на вспотъвшія лица и дълала ихъ черными. Только зубы да бълки глазъ сверкали своею бълизною на этихъ измученныхъ, исхудавшихъ, казавшихся суровыми лицахъ. Согнувшись подъ тяжестью ранцевъ и надътыхъ поверхъ ихъ, скатанныхъ въ кольца шинелей, солдаты шли молча, враздробь, едва волоча усталыя ноги. Лишь изръдка, когда чей-нибудь штыкъ съ лязганьемъ задъвалъ о сосъдній штыкъ, изъ рядовъ слышалось грубое, озлобленное ругательство. Люди не высыпались и томились отъ зноя, усталости и жажды. Нъкоторые вяло, безъ всякаго аппетита, чтобы только

чѣмъ-нибудь сократить время длиннаго и скучнаго перехода, жевали на ходу розданный утромъ хлѣбъ.

Офицеры шли не въ рядахъ, — вольность, на которую высшее начальство смотръло въ походъ сквозъ пальцы, — а обочиною, съ правой стороны дороги. Ихъ бълые кителя потемнъли отъ пота на спинахъ и на плечахъ. Ротные командиры и адъютанты дремали, сгорбившись и распустивъ поводья, на своихъ худыхъ, бракованныхъ лошадяхъ. Каждому хотълось какъ можно скоръе, во что бы то ни стало, дойти до привала и лечь въ тъни.

Поручикъ Авиловъ, болѣзненный, молчаливый и нервный молодой челов вкъ, шелъ противъ перваго ряда своей 11-й роты. Новые сапоги сильно жали ему ноги, портупея оттягивала плечо, въ головъ мягко и тяжело билась кровь. Но болъе всего угнетала Авилова всегда овладъвавшая имъ во время похода тупая скука, отъ которой онъ старался избавиться какимъ-нибудь мелкимъ занятіемъ. То онъ срывалъ съ придорожной ивы гибкій хлыстъ и отчищаль его зубами и ногтями отъ коры, то старательно сшибалъ шашкою пунцовыя головки колючаго репейника, то, намътивъ вдали какойнибудь пунктъ, старался угадать, сколько до него шаговъ, и потомъ провърялъ себя. Наконецъ, когда все это ему надоъдало, онъ принимался «мечтать», какъ бывало, дълалъ еще въ корпусъ, за всенощной, чтобы убить время. Онъ мысленно спрашивалъ себя: «Ну, о чемъ же теперь?» — и начиналъ перебирать въ умъ все, что могло бы ему доставить удовольствіе, или что раньше заинтересовало его воображение въ слышанномъ и прочитанномъ. Иногда онъ представлялъ себя извъстнымъ путешественникомъ, въ родъ Пржевальскаго или Елисъева. Онъ собиралъ экспедицію изъ отважныхъ, закаленныхъ въ перенесеніи трудовъ и опасностей авантюристовъ, которые трепетали передъ од-

нимъ его взглядомъ. Онъ открывалъ неизвъданные еще острова и земли и водружалъ на нихъ русскій флагъ. Имя его гремѣло по всему свѣту. Когда онъ возвращался въ Россію, ему устраивали шумныя встръчи. Женщины бросали ему цвъты и въ восхищении шептали одна другой: «Вотъ онъ, вотъ тотъ, самый знаменитый!». Иногда онъ воображалъ, что маневры уже окончились, и онъ идетъ со своей ротой на вольныя работы къ какому-нибудь помъщику, баснословно богатому и непремѣнно съ аристократическимъ именемъ. У помѣщика есть дочь — блъдная, задумчивая красавица. Свътскіе кавалеры давно опротивъли ей своей безцвътной пустотой, и она съ перваго взгляда же влюбляется въ простого пъхотнаго поручика, бъднаго и гордаго, постоянно замкнутаго въ себъ, «съ печатью разочарованія на челъ». Лунная ночь, свиданіе въ старомъ запущенномъ саду. пламенныя признанія въ любви... «Намъ необходимо разстаться, — говоритъ мрачно Авиловъ: — ты богата. а я нищій, мы не будемъ никогда счастливы». Помъщичья дочь плачетъ у него на груди, онъ утфшаетъ ее. Изъ-за кустовъ неожиданно появляется самъ помѣщикъ, растроганный, со слезами на глазахъ. «Дъти мои, говоритъ помъщикъ: — я хочу, чтобы вы любили другъ друга. Не деньги, а истинная любовь приноситъ людямъ счастье». Съ этими словами онъ благословляетъ влюбленныхъ; всъ трое обнимаются и плачутъ. Черезъ нѣсколько дней въ приказ в по полку товарищи съ удивленіемъ и завистью читаютъ, что поручикъ Авиловъ, рапортомъ за № такимъ-то, проситъ разръшенія на вступленіе въ первый законный бракъ съ дѣвицею, княжною Зэтъ...

Порою фантазія такъ ярко рисовала ему эти сцены, что и дорога, и пыль, и сърые, однообразно шагающіе ряды солдатъ переставали для него существовать. Онъ шелъ съ низко опущенной головой, съ неопредъленной

улыбкой на губахъ, съ расширившимися и потемнѣвшими неподвижными глазами. Нѣсколько верстъ уходили незамѣтно, и, когда Авиловъ просыпался отъ своихъ грезъ, передъ нимъ уже разстилалась совершенно новая мѣстность.

Вечернія тѣни удлинились. Солнце стояло надъ самой чертой земли, окрашивая пыль въ яркій пурпуровый цвѣтъ. Дорога пошла подъ гору. Далеко на горизонтѣ показались неясныя очертанія лѣса и жилыхъ строеній.

Навстръчу отряду тянулся безконечный крестьянскій обозъ. При приближеніи солдатъ, хохлы медленно, одинъ за другимъ, сворачивали своихъ громадныхъ, сърыхъ, круторогихъ, лѣнивыхъ воловъ съ дороги и снимали шапки. Всѣ они, какъ одинъ, были босикомъ, въ широчайшихъ холщевыхъ штанахъ, въ холщевыхъ рубахахъ. Изъ разстегнутыхъ воротовъ рубахъ выглядывали обнаженныя шеи, темно-бронзовыя отъ загара и покрытыя безчисленными мелкими морщинами.

По мѣрѣ того, какъ солдаты проходили мимо обоза, изъ рядовъ сыпались нетерпѣливые вопросы:

- Дядька, а далеко еще до Нагорной?
- Землякъ, сколько верстъ осталось до Нагорной?
- Что, братцы, это тамъ Нагорная видна?

Хохлы лѣниво, съ разстановкой отвѣчали, что до Нагорной «версты три, або четыре, мабудь, е, съ гакомъ». Солдаты ободрялись, поднимали выше головы и невольно прибавляли шагу.

Черезъ четверть часа внизу, въ глубокой лощинъ блеснула синяя широкая лента рѣки. Солнце сѣло. Западъ пылалъ цѣлымъ пожаромъ ярко-пурпуровыхъ и огненно-золотыхъ красокъ; немного выше эти горячіе тона переходили въ дымно-красные, желтые и оранжевые оттѣнки, и только извилистые края прихотливыхъ облаковъ отливали расплавленнымъ серебромъ; еще

выше смугло-розовое небо незамѣтно переходило въ нѣжный зеленоватый, почти бирюзовый цвѣтъ. Тонкій серпъ молодого мѣсяца, блѣдный, едва замѣтный, стоялъ посреди неба; первыя звѣзды начинали робко поблескивать въ вышинѣ.

— Господа офицеры, по мѣстамъ! Барабанщики, походъ! — закричалъ въ головѣ отряда раскатистый начальническій голосъ.

Одинъ за другимъ, въ разныхъ мѣстахъ длинной колонны, глухо зарокотали барабаны. Солдаты бѣгомъ заскакивали въ ряды, поправляя на ходу толчкомъ спины и плечъ ранецъ и подпрыгивая, чтобы попасть въ ногу. Офицеры, обнажая на ходу шашки, поспѣшно отыскивали євои мѣста.

Наклонъ дороги сдѣлался еще круче. Отъ рѣки сразу повѣяло сырой прохладой. Скоро старый, дырявый деревянный мостъ задрожалъ и заходилъ подътяжелымъ, дробнымъ топотомъ ногъ. Первый батальонъ уже перешелъ мостъ, взобрался на высокій крутой берегъ и шелъ съ музыкой въ деревню. Гулъ разговоровъстоялъ въ оживившихся и выровнявшихся рядахъ.

- Федорчукъ, не пыли. . . Подымай, бисовъ сынъ, ноги.
- А чтд, Шаповаловъ, ловкая у тебя въ Зимовицахъ была хозяйка? А? Какъ она яво, братцы мои, уфатомъ!
 - Не лѣзь.
- Очень просто. Потому что онъ сичасъ съ руками.
- Ужъ это безпремѣнно, ребята: какъ вечеромъ небо красное къ завтрашнему жди вѣтра.
- Эй, третій взводъ, кто за хлѣбомъ? Смотри, черти, опять прозѣваете!

- Подержи, землякъ, ружье, я шинель поправлю. А любезная эта самая вешшь маневра! Куда лучше, чъмъ, напримъръ, ротная школа.
 - Не отставай, четвертый взводъ! Дохлые!

Съ пригорка была видна вся деревня. Бълыя мазанныя хатенки, тонущія въ вишневыхъ садкахъ, раскинулись широко въ огромной долинѣ и по ея склонамъ. За крайнія хаты высыпала пестрая толпа, большею частью бабъ и ребятишекъ, посмотрѣть на «москалей». Запѣвала 11 фоты, ефрейторъ Нога, самый голосистый во всемъ полку, не дожидаясь приказанія начальства, выскочилъ впередъ, попалъ въ тактъ, оглянулся на идущихъ сзади, сбилъ шапку на затылокъ и, принявъ небрежно-хмурый видъ, преувеличенно-широко размахивая правой рукой, запѣлъ:

Зима люта-ая проходить, Весына-красна настаеть, Весна-красна д'настаеть, У солдата сердце мреть.

Сто здоровыхъ голосовъ оглушительно подхватили припѣвъ, и каждый солдатъ, проходя съ притворноравнодушнымъ видомъ передъ глазами изумленной толпы, чувствовалъ себя героемъ въ эту минуту. «Это все мужичье, развѣ они что-нибудь понимаютъ? Имъ военная служба страшнѣе самого чорта: и бьютъ, молъ, тамъ, и на ученьи морятъ, и изъ ружья стрѣляютъ, и въ походы на турковъ водятъ. А я вотъ ничего этого не боюсь, и мнѣ на все наплевать, и никакого я на васъ, мужиковъ, вниманія не обращаю, потому что мнѣ некогда, я своимъ с о л д а т с к и м ъ дѣломъ занятъ, самымъ важнымъ и серьезнымъ дѣломъ въ мірѣ». Эту мысль Авиловъ читалъ на всѣхъ лицахъ, начиная отъ запѣвалы и кончая послѣднимъ штрафованнымъ татариномъ, и самъ онъ, противъ воли, проникался созна-

ніемъ какой-то суровой лихости и шелъ легкой, плывущей походкой, высоко поднявъ голову и выпрямивъ грудь.

Намъ ученье чижало, Между проч-чимъ ничего! —

пълъ Нога, коверкая изъ молодечества слова и подкрикивая хору жесточайшимъ фальцетомъ. Никто не думалъ больше о натертыхъ ногахъ и объ ранцахъ, наломившихъ спины. Люди давно уже, издали, замътили четырехъ «своихъ» квартирьеровъ, идущихъ ротъ навстръчу, чтобы сейчасъ же развести ее по заранъе назначеннымъ дворамъ. Еще нъсколько шаговъ, и взводы разошлись, точно растаяли, по разнымъ переулкамъ деревни, слъдуя съ громкимъ хохотомъ и неумолкающими шутками каждый за своимъ квартирьеромъ.

Авиловъ нехотя, лѣнивыми шагами доплелся до воротъ, на которыхъ мѣломъ была сдѣлана крупная надпись: «кватера Поручика авелова». Домъ, отведенный Авилову, замѣтно отличался отъ окружающихъ его хатенокъ и размѣрами, и бѣлизною стѣнъ, и желѣзной крышей. Половина двора заросла густой, выше человѣческаго роста кукурузой и гигантскими подсолнечниками, низко гнувшимися подъ тяжестью своихъ желтыхъ шапокъ. Около оконъ, почти вакрывая простѣнки между ними, подымались длинныя, тонкія мальвы со своими блѣдно-розовыми и красными цвѣтами.

Денщикъ Авилова, Никифоръ Чурбановъ — ловкій, веселый и безобразный, точно обезьяна, солдатъ — уже раздувалъ на крыльцѣ снятымъ съ ноги сапогомъ самоваръ. Увидя барина, онъ бросилъ сапогъ на землю и вытянулся.

— Сколько разъ я тебъ повторялъ, чтобы ты не раздувалъ сапогомъ, — сказалъ брезгливо Авиловъ. — Покажи, гдъ здъсь пройти.

Денщикъ отворилъ дверь изъ сѣней направо. Комната была просторная и свѣтлая; на окнахъ красныя ситцевыя гардинки; диванъ и стулья, обитые тѣмъ же дешевымъ ситцемъ; на чисто побѣленныхъ стѣнахъ множество фотографическихъ карточекъ въ деревянныхъ ажурныхъ рамахъ и два олеографическихъ «приложенія»; маленькій пузатый комодъ съ висящимъ надъ нимъ квадратнымъ тусклымъ зеркаломъ и наконецъ въ углу необыкновенно высокая двухспальная кровать съ цѣлой пирамидой подушекъ — отъ громадной, во всю ширину кровати, до крошечной думки. Пахло мятою, любисткомъ и чебрецомъ. Въ Малороссіи пучки этихъ травъ всегда втыкаются «для духу» за образа.

Авиловъ стянулъ съ себя объ спинку кровати сапоги и легъ, закинувъ руки за голову. Теперь ему стало еще скучнѣе, чѣмъ на походѣ. «Ну, вотъ и пришли, ну и что же изъ этого? — думалъ онъ, глядя въ одну точку на потолкѣ. — Читать нечего, говорить не съ кѣмъ, занятія нѣтъ никакого. Пришелъ, растянулся, какъ усталое животное, выспался, а опять завтра иди, а тамъ опять спать, и опять итти, и опять, и опять... Развѣ заболѣть да отправиться въ госпиталь?»

Темнѣло. Гдѣ-то близко за стѣной торопливо тикалъ маятникъ часовъ. Со двора слышалось, какъ всей грудью и подолгу не переводя духу, раздувалъ Никифоръ уголья въ самоварѣ. Вдругъ Авилову пришла въ голову мысль искупаться.

— Никифоръ! — крикнулъ онъ громко.

Никифоръ поспѣшно вошелъ, хлопая дверьми и стуча надѣтыми уже сапогами, и остановился у порога.

- Здъсь ръка есть? спросилъ Авиловъ.
- Такъ точно!
- А что, если бы выкупаться? Какъ ты думаешь?
- Такъ точно, можно, вашбродь, немедленно согласился денщикъ.

- Да ты навърное говори. Можетъ-быть, грязно?
- Такъ точно, страсть грязно, вашбродь. Такъ что прямо болото. Даве кавалерія лошадей поила, такъ лошади пить не хотятъ.
 - Ну и дуракъ! А ты вотъ что скажи мнъ...

Авиловъ запнулся. Онъ и самъ не зналъ, что спросить. Ему просто не хотълось оставаться одному.

— Скажи мнъ... Хозяйка хорошенькая?

Денщикъ засмѣялся, отеръ рукавомъ губы и съ конфузливымъ видомъ отвернулъ голову къ стѣнѣ.

- Ну? нетерпъливо поощрилъ Авиловъ.
- Такъ что... Не могу знать... Онъ ничего, вашбродь, хорошенькія... въ родъ какъ монашки.
 - А мужъ старый? Молодой?
- Не очень старый, вашбродь. Такъ точно, молодой. Онъ писаремъ здѣсь, мужъ евонный, служитъ.
- Писаремъ? А почему же, какъ монашка? Ты съ ней разговаривалъ?
- Такъ точно, разговаривалъ. Я говорю, смотрите, сейчасъ баринъ мой придетъ, такъ чтобы у васъ все въ порядкъ было...
 - Ну, а она?
- Она что жъ? Она повернулась, да и пошла себъ. Сердитая.
 - А мужъ ея дома?
 - Дома. Только теперь его натъ, ушелъ куда-то.
- Ну, хорошо. Давай самоваръ, да поди, скажи хозяйкъ, что я прошу ее на чашку чаю. Понимаешь?

Черезъ нъсколько минутъ Никифоръ внесъ самоваръ и зажегъ свъчи. Заваривая чай, онъ произнесъ:

- Ходилъ я сейчасъ... къ хозяйкъто...
- Ну и что же?
- Сказалъ.
- Hy?

- Она говоритъ: оставьте меня, пожалуйста, въ покоъ. Никакого, говоритъ, мнъ вашего чая не надо.
- И чортъ съ ней! рѣшилъ Авиловъ, зѣвая. Наливай чай!

Онъ молча поужиналъ холодной говядиной и яйцами и напился чаю. Никифоръ такъ же молча ему прислуживалъ. Когда офицеръ кончилъ чай, денщикъ унесъ самоваръ и остатки ужина къ себъ въ сарай.

Авиловъ раздълся и легъ. Какъ всегда послъ сильной усталости — ему не спалось. Изъ-за стъны попрежнему слышалось однообразное тиканье часовъ и какой-то странный шумъ, похожій на то, какъ будто бы два человъка разговаривали быстрымъ и сердитымъ щопотомъ. Въ окнъ, прямо передъ глазами Авилова, на темно-синемъ небъ отчетливо рисовался недалекій пирамидальный тополь, стройный, тонкій и темный, а рядомъ съ нимъ, сбоку, ярко-желтый мъсяцъ. Едва Авиловъ закрывалъ въки, передъ нимъ тотчасъ же назойливо вставала скучная картина похода: сърыя, комковатыя поля, желтая пыль, согнутыя подъ ранцами фигуры солдатъ. На мгновеніе онъ забывался, и, когда опять открывалъ глаза, ему казалось, что онъ толькочто спалъ, но сколько времени -- минуту или часъ -онъ не зналъ. Наконецъ ему удалось на самомъ дълъ заснуть легкимъ, тревожнымъ сномъ, но и во снъ онъ слышаль быстрое тиканье маятника за стѣной и видълъ скучную дневную дорогу.

Часа черезъ полтора Авиловъ вдругъ опять почувствовалъ себя лежащимъ съ открытыми глазами и опять спрашивалъ себя: спалъ онъ, или это только была одна секунда полнаго забвенія, отсутствія мысли? Мѣсяцъ, уже не желтый, а серебряный, поднялся къ самой верхушкѣ тополя. Небо стало еще синѣе и холоднѣе. Порою на мѣсяцъ набѣгало бѣлое, легкое, какъ паутина, облачко, и вдругъ все оно освѣщалось оранжевымъ сіяніемъ. Быстрый сердитый шопотъ, который Авиловъ слышалъ давеча за стѣною, перешелъ въ сдержанный, но довольно громкій разговоръ, похожій на ссору, вотъвотъ готовую прорваться въ озлобленныхъ крикахъ. Авиловъ прислушался. Спорили два голоса: мужской — низкій, то дребезжащій, то глухой, точно изъ бочки, какой бываетъ только у чахоточныхъ пьяницъ, и женскій — очень нѣжный, молодой и печальный. Голосъ этотъ на мгновеніе вызвалъ въ головѣ Авилова какое-то смутное, отдаленное воспоминаніе, но такое неясное, что онъ даже и не остановился на немъ.

— Спать я тебѣ не даю? — спрашивалъ мужчина съ желчной ироніей. — Спать тебѣ хочется? А если ты меня, можетъ-быть, на цѣлую жизнь сна рѣшила? Это ничего? А? У, под-длая! Спать хочется? Да ты, дрянь ты этакая, ты еще дышать-то смѣешь ли на бѣломъ свѣтѣ? Ты...

Мужчина внезапно раскашлялся глухимъ, задыхающимся кашлемъ. Авиловъ долго слышалъ, какъ онъ плевалъ, хрипълъ и ворочался на постели. Наконецъ ему удалось справиться съ кашлемъ.

- Тебѣ спать хочется, а я, какъ овца, по твоей милости кашляю... Вотъ, погоди, ты меня и въ гробъ скоро вгонишь... Тогда выспишься, змѣя.
- Да вольно же вамъ, Иванъ Сидорычъ, водку пить, возразилъ печальный и нъжный женскій голосъ. Не пили бы, и грудь бы не болъла.
- Не пить? Не пить, ты говоришь? Да ты это что же? Я твои деньги, что ли, въ кабакъ оставляю? А? Отвъчай, твои?
- Свои, Иванъ Сидорычъ, покорно и тихо отвътила женщина.
- Ты въ домъ принесла хоть грошъ какой-нибудь, когда я тебя бралъ-то? А? Хоть гривенникъ дырявый ты принесла?

— Да вы вѣдь сами знали, Иванъ Сидорычъ, я дѣвушка была бѣдная, взять мнѣ было неоткуда. Кабы у меня родители богатые...

Мужчина вдругъ засмѣялся злобнымъ, презрительнымъ, долгимъ хохотомъ и опять раскашлялся.

— Бѣ-ѣдная? — спросилъ онъ ядовитымъ шопотомъ, едва переводя дыханіе. — Бѣдная? Это мнѣ все равно, что бѣдная. А ты знаешь, какое у дѣвушки богатство? Ты это знаешь?

Женщина молчала.

- Ежели она себя соблюла, вотъ ея богатство! Че-е-есть! Ты этого слова не слыхала? Что? Я тебя спрашиваю, ты это слово слыхала или нътъ? Ну?
 - Слыхала, Иванъ Сидорычъ...
- Врешь, не слыхала. Кабы ты слыхала, ты сама бы честная была. А я тебя развъ честную замужъ взялъ? Ну?
- Что же, Иванъ Сидорычъ, я какъ передъ Богомъ... Моя вина... Пятый годъ прошу прощенія у васъ.

Она заплакала тихо, тоненько и жалобно. Но ея слезы только еще болъе раздражили мужа. Онъ отъ нихъ пришелъ въ ярость.

- И десять лѣтъ проси не прощу. Никогда я тебя, развратница, не прощу. Слышишь, никогда!.. Зачѣмъ ты мнѣ не призналась? Зачѣмъ ты меня обманывала? Ага! Ты думала, я чужіе грѣхи буду покрывать? Вотъ, молъ, дуракъ, слава Богу, нашелся, за честь сочтетъ чужими объѣдками пользоваться. Да ты знаешь ли, тварь, я на купеческой дочкѣ могъ бы жениться, если бы не ты... Я бы карьеру свою теперь сдѣлалъ. Я бы...
- Да въдь не сама я, Иванъ Сидорычъ, отвъчала, всхлипывая, женщина: не своей охотой я пошла

то за васъ. Вы сами знаете, какъ меня маменька била въ то время.

Это оправданіе довело мужчину до б'вшенства. Онъ опять страшно закашлялся, и въ промежуткахъ между приступами кашля Авиловъ услышалъ цѣлый потокъ озлобленной скверной ругани. Потомъ вдругъ въ сосѣдней комнатѣ раздался рѣзкій и сухой звукъ пощечины, за нимъ другой, третій, четвертый, и въ ночной тишинѣ посыпались безпощадные, разсчитанные, ожесточенные удары. А затѣмъ какъ-то все сразу смолкло. Стало такъ тихо, что можно было разслышать пискъ червяка, точившаго дерево. Авиловъ лежалъ, широко раскрывъ глаза; сердце его учащенно билось отъ какого-то жуткаго, грустнаго и жалостливаго чувства. Потомъ онъ услышалъ тихій голосъ женщины, заглушаемый сдержаннымъ плачемъ.

— Боже мой, Господи, — причитала она, рыдая, скрежеща зубами и захлебываясь отъ слезъ: — отчего Ты мнѣ не пошлешь смерти мучительной? Вѣдь пять лѣтъ... пять лѣтъ каждая ночь не обойдется безъ попрековъ. Хотя убилъ бы меня сразу, извергъ! За что ты меня терзаешь? За что? Развѣ я не слуга тебѣ? Развѣ я не твоя раба? Ну, хоть бы одну ноченьку ты изъ меня души моей не выматывалъ. Одну только ночь! Что же ты думаешь, я того, проклятаго, любила? Пусть его Господъ покараетъ за меня позорной смертью. Если бы я встрѣтила его, задушила бы, вотъ такъ, пальцами бы своими задушила!.. Жизнь онъ мою загубилъ, негодяй! Двадцать пять лѣтъ мнѣ, я ужъ старухой стала... Моченьки моей нѣтъ!

Долго Авиловъ слушалъ эти страстныя, отчаянныя жалобы, все стараясь припомнить, гдѣ онъ раньше слышаль похожій голосъ, и вдругъ неожиданно, сразу, заснулъ крѣпкимъ здоровымъ сномъ, безъ всякихъ вильній.

Подъ утро онъ опять проснулся. Мъсяца уже не было видно. Небо изъ темно-синяго сдълалось свътлосърымъ. Авиловъ съ удивленіемъ опять услышалъ за стънкою тъ же голоса.

- Милая моя, дорогая, говорилъ мужчина растроганнымъ, ослабъвшимъ голосомъ: если бы не это, какъ бы я тебя любилъ-то! То-есть вътру на тебя дохнуть не позволилъ бы. Барыней бы у меня была, вотъ чтд.
- Ахъ, Иванъ Сидорычъ, ну, простите вы меня наконецъ. Ну, будемъ, какъ люди, какъ всѣ... На что ужъ я вамъ послушна, а тогда вотъ, кажется, мысли бы ваши угадывала...

Наступило молчаніе, а Авиловъ услышалъ за стъною звуки продолжительныхъ поцълуевъ.

— Ну хорошо, ну хорошо, — заговорилъ ласково и успокоительно мужчина. — Ну будетъ, будетъ... Ты думаешь, мнъ самому сладко? У меня сердце кровью обливается, а не то что... Голубка моя.

И опять до ушей Авилова донесся долгій поцѣлуй.

- Да, вотъ вы говорите хорошо, прошептала женщина, слегка задыхаясь: а завтра опять... Ужъ сколько разъ вы объщались не попрекать больше, а сами... Передъ образами божились сколько разъ...
- Ну будетъ, ну перестань... Ты мнъ только скажи, ты того-то, тогдашняго, не любишь въдь? Правда?
- Ахъ, Иванъ Сидорычъ, ну что вы спрашиваете? Да я заръзала бы его своими руками, если бы только встрътила гдъ!..

Разговоръ за стѣной затихъ, понизился до шопота, все чаще слышались поцѣлуи и подавленный, счастливый смѣхъ Ивана Сидоровича.

Сонъ опять началъ сковывать Авилова, но онъ боролся съ нимъ и все старался припомнить, гдъ онъ

слышаль такой же голось? Порою онъ уже вотъ-вотъ готовъ былъ вспомнить, но мысли его разсъивались и путались, какъ всегда у засыпающаго человъка... Наконецъ, совершенно засыпая, онъ вспомнилъ.

Это было лѣтъ шесть тому назадъ. Онъ — толькочто произведенный тогда въ офицеры — пріѣхалъ на лѣто къ своему дядѣ въ имѣніе, въ Тульскую губернію. Скука была въ деревнѣ страшная, и Авиловъ постоянно и усиленно искалъ хоть какого-нибудь развлеченія. Охота, рыбная ловля — давно надоѣли, ѣздить верхомъ было слишкомъ жарко.

Въроятно, отъ скуки, онъ однажды обратилъ вниманіе на дядину горничную Харитину, высокую, сильную дъвушку, тихую и серьезную, съ большими синими, постоянно немного грустными глазами. Какъ-то вечеромъ, встрътившись съ Харитиной въ съняхъ, Авиловъ обнялъ ее. Дъвушка молча отбросила его руки отъ своей груди и такъ же молча ушла. Офицеръ смутился и, озираясь, на цыпочкахъ, съ краснымъ лицомъ и быющимся сердцемъ прошелъ въ свою комнату.

Недъли двъ спустя, въ жаркій, истомный іюньскій полдень Авиловъ лежалъ на краю громаднаго густого сада, на сънъ, и читалъ. Вдругъ онъ услышалъ совсъмъ близко за своею спиной легкіе шаги. Онъ обернулся и увидълъ Харитину, которая, повидимому, его не замъчала.

— Ты куда собралась, Харитина? — окликнулъ ее **А**виловъ.

Она сначала испугалась, потомъ сконфузилась. — Я тутъ... вотъ. .. купалась сейчасъ...

Авиловъ подошелъ къ ней, тревожно оглянулся по сторонамъ и обнялъ ее. Она молча, опустивъ глаза и покраснъвъ, уперлась руками въ его грудь и дълала

усилія оттолкнуть его. Офицеръ все крѣпче притягиваль дѣвушку къ себѣ, тяжело дыша и торопливо цѣлуя ея волосы и щеки.

Харитина сопротивлялась долго, съ молчаливымъ упорствомъ и озлобленіемъ. Она была очень сильна. Авиловъ началъ изнемогать и хотълъ уже выпустить дъвушку, какъ вдругъ она страшно поблъднъла, руки ея безсильно упали внизъ, глаза закрылись.

Очнувшись, она принялась истерично плакать. Всъ утъшенія и объщанія Авилова были напрасны. Онъ такъ и ушелъ изъ сада, оставивъ Харитину бившейся въ рыданіяхъ на травъ.

Она объ этомъ случаъ никому не сказала ни слова и только старательно избъгала встръчъ съ Авиловымъ.

Да, впрочемъ, и самъ Авиловъ черезъ четыре дня уъхалъ изъ деревни, по телеграммъ матери, неожиданно заболъвшей.

Съ тѣхъ поръ онъ не видалъ Харитины, и только сейчасъ голосъ женщины за стѣною слегка ему ее напомнилъ, слегка, — потому что Авиловъ не успѣлъ еще разобраться въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ уже опять заснулъ крѣпкимъ утреннимъ сномъ.

- Вашбродь, вставайте! Вставайте, вашбродь. Ужъ ротный командиръ пошодши къ ротъ! будилъ Никифоръ разоспавшагося Авилова, тряся его, съ должнымъ однако почтеніемъ, за плечо.
- Мм... а самоваръ? промычалъ Авиловъ, съ трудомъ раскрывая глаза.

Никакъ нѣтъ! Вещи всѣ отправлены: фельдфебель приказали. Я ужъ васъ, почитай, цѣлый часъ будилъ: изволили ругаться и сказали, что чаю не будете пить.

Авиловъ сдѣлалъ наконецъ надъ собою усиліе, быстро вскочилъ съ постели и сталъ поспѣшно одѣваться. Онъ боялся опоздать. Поспѣшно плеснулъ нѣсколько разъ на лицо водою, едва застегнувъ сюртукъ,

онъ побъжалъ къ сборному мъсту, на ходу надъвая шарфъ съ кобуромъ и шашку.

Батальоны уже стояли правильными черными четырехугольниками вдоль широкой улицы, рядомъ, одинъ около другого. Авиловъ поспъшно вступилъ въ свое мъсто, стараясь не встръчаться глазами съ укоризненнымъ взглядомъ командира.

Небо было ясно, чистое, нѣжно-голубого цвѣта. Легкія бѣлыя облака, освѣщенныя съ одной стороны розовымъ блескомъ, лѣниво плыли въ прозрачной вышинѣ. Востокъ алѣлъ и пламенѣлъ, отливая въ иныхъ мѣстахъ перламутромъ и серебромъ. Изъ-за горизонта, точно гигантскіе растопыренные пальцы, тянулись вверхъ по небу золотые полосы отъ лучей еще не взошедшаго солнца.

Черезъ десять минутъ изъ-за праваго фланга выѣхалъ на своемъ громадномъ сѣромъ меринѣ полковой командиръ. Его голосъ оживленно и явственно раздался въ утреннемъ воздухѣ:

- Здорово, первый ба-тальо-онъ!
- Здра-жла-ва-со!.. весело и бодро крикнули четыреста молодыхъ голосовъ.

Онъ объѣхалъ такимъ образомъ всѣ батальоны, затѣмъ выѣхалъ передъ серединой полка, шаговъ на пятьдесятъ, откинулся тѣломъ назадъ и, закинувъ вверхъ голову, молодцоватымъ, радостнымъ голосомъ скомандовалъ:

— Подъ знамена! Ша-а-ай! На кра-у-улъ!

Батальоны брякнули ружьями и замерли. Прозрачно и рѣзко разносясь въ воздухѣ, раздались звуки встрѣчнаго марша. Знамя, обернутое сверху кожаннымъ футляромъ, показалось надъ рядами, мѣрно колыхаясь подъ звуки музыки. Того, кто его несъ, не было видно. Потомъ оно остановилось, и музыка замолкла.

Полкъ вытянулся въ длинную, узкую колонну и двинулся. Солдаты шли бодро, радуясь свѣжему, веселому утру, отдохнувшіе и сытые. Всѣмъ хотѣлось пѣть, и, когда Нога своимъ звонкимъ, сильнымъ голосомъ затянулъ:

Ой да изъ-подъ горки, ой изъ-подъ крутой ъхалъ майоръ молодой,

солдаты подхватили припавъ особенно дружно и согласно.

Извиваясь длинной лентой, полкъ одну за другой проходилъ улицы большого села. Авиловъ издали узналъ домъ, въ которомъ онъ провелъ ночь. У калитки его стояла какая-то женщина съ коромысломъ на плечъ, въ темномъ платъъ, съ бълымъ платкомъ на головъ. «Это, должно-быть, моя хозяйка, — подумалъ Авиловъ: — интересно на нее взглянуть».

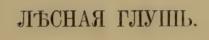
Когда онъ сровнялся съ нею, женщина быстро, точно отъ внезапнаго толчка, обернулась назадъ и встрътилась глазами съ Авиловымъ. Онъ сразу узналъ ее. Это была, несомнънно, Харитина: тъ же глубокіе, кроткіе глаза, то же серьезное и печальное лицо...

И она его тотчасъ же узнала. Въ глазахъ ея поперемънно отразились и изумленіе, и гнъвъ, и страхъ, и презръніе... она поблъднъла, и ея ведра упали вмъстъ съ коромысломъ на землю, дребезжа и катясь.

Авиловъ обернулся. Тяжелая, острая скорбь внезапно охватила его: точно кто-то сжалъ грубой рукой его сердце. И почему-то въ то же время онъ показался себъ такимъ маленькимъ-маленькимъ, такимъ подленькимъ трусишкой. И, чувствуя на своей спинъ взглядъ Харитины, онъ весь съеживался и приподнялъ вверхъ плечи, точно ожидая удара. А рядомъ съ нимъ справа, слѣва, впереди, сзади — здоровые голоса орали съ гиканьемъ, визгомъ и пронзительнымъ свистомъ:

Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша, Здравствуй, милая моя...







Середина апръля. Вечеръ. Я иду по узкой, твердой, корчеватой лъсной дорожкъ, которая двумя глубокими песчаными колеями вьется среди хвойнаго молодняка, выросшаго вокругъ сърыхъ дряблыхъ пней. Рядомъ со мною идетъ Кирила, сотскій изъ Зульни, впереди полъсовщикъ Талимонъ. Оба они шагаютъ ръдко, но размашисто: подъ ихъ ногами, обутыми въ лыковыя постолы, не треснетъ ни одна сухая въточка. Время отъ времени Талимонъ сходитъ съ тропинки, нагибается и шаритъ руками въ буреломъ. Онъ разыскиваетъ лучину, которую еще утромъ нащипалъ для костра, и никакъ не можетъ найти ее. Въроятно, онъ забылъ мъсто, но сознаться ему въ этомъ, какъ старому охотнику, особенно передъ своимъ всегдашнимъ соперникомъ сотскимъ, не хочется, и я слышу, какъ онъ, не выпуская изо рта короткой трубки, ворочитъ что-то про «злодіевъ» и «бисовыхъ сыновъ».

Сегодня мы разложимъ въ лѣсу костеръ и около него вздремлемъ часа три-четыре, до той поры, когда начнетъ чуть-чуть брезжить разсвѣтъ. Къ зарѣ мы уже должны быть въ «будкахъ», чтобы не прозѣвать перваго тетеревинаго тока.

Сотскій Кирила и Талимонъ — мои всегдашніе спутники по охотъ. Кирила — высокій, костлявый и

весь какой-то развинченный мужикъ. У него худое, желтое лицо, впалыя щеки, плохо выбритый острый подбородокъ и огромный лобъ, по объ стороны котораго падаютъ прямые, длинные волосы; въ общемъ его голова напоминаетъ голову опереточнаго математика или астронома. На немъ-надътъ поверхъ кожуха войлочный «латунъ», уже старенькій, но чистый и франтоватый, — правая сторона у латуна коричиевая, а лъвая — сърая, и всъ швы оторочены краснымъ шнуркомъ. Баранью шапку, отправляясь на охоту, Кирила надъваетъ набекрень такъ, что она закрываетъ ему одинъ глазъ, и тогда вся деревня знаетъ, что «сотникъ иде на пановку».

Кирила служилъ въ «москаляхъ», былъ подъ Плевной и получилъ георгіевскій кресть, — за что получилъ? — добиться отъ него толкомъ невозможно. Изъ его же собственнаго разсказа выходитъ только, что «Якъ турци насъ забрали въ плинъ, то разомъ узяли съ нами и майора Птицына, а потомъ, якъ мы вси стали утекать, то майора Птицына турци забили геть до смерти»... Въ настоящее время онъ уже десятый годъ подъ рядъ служить по выборамъ сотскимъ, получаетъ за это восемь рублей въ годъ, исполняетъ свои обязанности съ неугасаемымъ «административнымъ восторгомъ» и въ душъ чрезмърно преувеличиваетъ размъры облекающей его власти. Арестанты изъ его села отправляются до слъдующаго этапа не иначе, какъ со связанными назадъ руками, между которыми продъта длинная веревка; за каждый изъ концовъ этой веревки держатся конвоирующіе двое мужиковъ, что придаетъ всей процессіи внушительный и комическій видъ. Сотскій ведетъ очередь, кому изъ хозяевъ итти на какія общественныя работы, и хотя увъряетъ, что у него на это есть какая-то «ханстрюкція», но, кажется, руководствуется при распредъленіи наряда болъе симпатіями, заключенными за чаркой, нежели указаніями таинственной инструкціи.

Онъ до нѣкоторой степени предводительствуетъ общественнымъ мнѣніемъ, и по праздникамъ въ толпѣ, собравшейся на лужайкъ около монопольнаго забора (эта лужайка — своеобразный сельскій клубъ), особенно громко раздается его голосъ. До моего окна доносятся неизмѣнно однѣ и тѣ же задорныя фразы: «Я ему докажу»... «Законъ не позволяетъ»... «Якъ мене поставили начальствомъ»... Пьянъ онъ бываетъ рѣдко. но, выпивши, безобразничаетъ. Тогда онъ ходитъ непремѣнно по самой серединѣ улицы и требуетъ, чтобы передъ нимъ снимали шапки. — «Що жъ ты? Не бачишь, що начальство иде?» — кричитъ онъ, подпираясь руками въ бока. Въ эти пьяныя минуты случается, что ему приходитъ въ голову какая-нибудь сумасбродно-административная затъя, напримъръ, отдать приказъ, чтобы завтра же все село выъзжало строить новый мостъ черезъ Горынь, и съ непремѣннымъ условіемъ окончить постройку къ вечеру. Крестьяне ему не противоръчатъ, отлично зная, что на другой день сотскій даже и не вспомнитъ о своемъ вдохновенномъ предпріятіи.

Кирила ужасно любитъ разговаривать со всякимъ начальствомъ. При этомъ разговорѣ онъ отъ излишняго усердія вихляєть всѣмъ туловищемъ, подергиваєть бедрами и отчаянно жестикулируєть большимъ пальцемъ правой руки, оттопыреннымъ въ сторону отъ остальныхъ пальцевъ, сжатыхъ въ кулакъ. Многословная его рѣчь такъ ѝ пестритъ кудреватыми выраженіями, въ родѣ: «какая разница!»... «окончательно совсѣмъ»... «безъ никакого вниманія». Титулы, которыми онъ величаєть исправника и станового, всегда разнообразны и нелѣпо преувеличены. Если же въ присутствіи властей сотскому приходится вести разговоръ съ лицомъ, ему самому подчиненнымъ, то, хотя голова сотскаго и обращена къ этому подчиненному, но глаза устремлены все время на власть съ заигрывающимъ выраженіемъ, а въ

225

тонъ его словъ слышится угодливая пренебрежительность, — дескать, «видите, пане, какая мужицкая необразованность, и какъ мы съ вами все это хорошо и тонко понимаемъ»...

Въ комнатъ съ нимъ разговаривать неудобно, потому что онъ кричитъ, какъ на пожаръ (голосъ у него -фальцетъ, — осипшій и надсаженный), тотчасъ же перебиваетъ всякаго, кто при немъ заговоритъ, самъ тараторитъ безъ умолку и ничего не слышитъ, кромъ своихъ собственныхъ витіеватыхъ фразъ. Дома у себя и съ крестьянами онъ гораздо проще, естественнъе, но съ начальствомъ и съ господами почему-то считаетъ необходимымъ быть какъ можно безтолковъе и при пер-. вомъ же удобномъ случаъ охотно впадаетъ въ роль шута. Начальство, кажется, любитъ его, но при каждомъ провздв не преминетъ собственноручно прибить, о чемъ Кирила потомъ разсказываетъ со всъми признаками хвастливаго удовольствія: «Отъ якъ мини врядникъ въ пыку запалилъ! Бѣда!..» Получивъ служебную бумагу, онъ, прежде чѣмъ ее распечатать, со значительнымъ видомъ надъваетъ на носъ огромныя, круглыя, прадъдовскія очки въ роговой оправѣ и затѣмъ уже, наморщивъ лобъ и сжавъ губы, разсматриваетъ документъ, держа его нерѣдко вверхъ ногами. Конечно, эти внушительные пріемы никого не обманываютъ, потому что всякому извъстно, что ни въ Зульнъ, ни въ Крешевъ, ни въ Яблонномъ, съ его окрестностями, ни одинъ человъкъ не умъетъ читать, кромъ бывшаго шинкаря Лейбы Фикуса, къ которому потомъ сотскій и отнесетъ бумагу для прочтенія.

Кирила недурной стрълокъ, но охотникъ — несчастливый, а, главное дъло, хвастунъ. Отправляясь на охоту и заломивъ шапку набокъ, онъ кричитъ на весь лъсъ и божится, что сегодня ужъ навърняка принесетъ домой полную сумку, а сумка у него чудовищныхъ

размѣровъ. При промахѣ онъ сначала съ изумленіемъ смотритъ на ружье, пожимаетъ плечами и въ недоумѣніи спрашиваетъ: «Що це таке съ моей стрѣльбой зробилось?», — потомъ идетъ на то мѣсто, гдѣ сидѣла дичь, и тщательно разыскиваетъ перья или слѣды крови. Если же ему случится убить что-нибудь, то онъ несетъ дичь на ксендзовскій дворъ или къ органисту и продаетъ тамъ. Каждый разъ послѣ охоты онъ доводитъ меня до калитки и, снявъ шапку и склонивъ просительно набокъ свою водевильную голову, говоритъ заискивающимъ, тихимъ голосомъ:

— Панычу, а якъ бы вы сотнику пожаловали на крючокъ водки?..

Талимонъ — человъкъ другого склада. Онъ совсъмъ плохой хозяинъ, и его хату можно безошибочно найти, потому что она самая худшая во всемъ сель: дрань на крышъ дырявая, еле держится, стекла въ окнахъ почти всв повыбиты и замвнены тряпками. стъны ушли въ землю и покосились. Кожухъ у Талимона испещренъ заплатами и разодранъ подъ мышками, изъ шапки кое гдѣ повылѣзли клочья ваты, но вся одежда сидитъ на немъ хорошо, почти изящно. Онъ невысокъ ростомъ, поджаръ и очень ловокъ въ движеніяхъ. Все его лицо отъ самыхъ глазъ заросло волосами: черные усы сливаются съ черной бородой, короткой, но чрезвычайно густой и жесткой. Подъ широкими черными бровями глубоко сидятъ большіе круглые черные глаза, которые смотрятъ сурово, недовърчиво и немного испуганно: я это странное выражение не разъ подмъчалъ у людей, проводящихъ большую часть жизни въ лѣсу. Голосъ у Талимона глуховатый, носового тембра, не лишенный пріятности, но говоритъ онъ рѣдко и мало, — тоже какъ всѣ лѣсные люди. Смъется онъ еще ръже, но зато улыбка совершенно измѣняетъ его лицо: оно вдругъ становится такимъ

227

ласковымъ и добродушнымъ, что на него просто за-любуешься.

Талимонъ скроменъ, застѣнчивъ и уступчивъ. Онъни про кого не отзывается дурно, развѣ только, если при немъ похвалятъ плохого охотника, то онъ слабо и презрительно махнетъ рукой. Про свои охотничьи успѣхи онъ никогда не говоритъ безъ особеннаго повода, но разсказъ его, при всей суровой сжатости, всегда занимателенъ и картиненъ. Когда сотскій съкрикомъ и нелѣпыми тѣлодвиженіями начинаетъ руководить порядкомъ охоты, Талимонъ не возражаетъ ему, а дѣлаетъ по-своему, что выходитъ гораздо лучше и чему сотскій безпрекословно подчиняется, приписывая однако успѣхъ охоты своимъ распоряженіямъ.

У Талимона есть одна дорогая и трогательная общественная черта: онъ охотно беретъ на себя самыя непріятныя, хлопотливыя обязанности и безропотно становится на охотъ на худшія мъста. Онъ первый льзетъ по поясъ въ болото, первый переправляется по жидкому весеннему льду, строитъ шалаши, разводитъ костры, чиститъ ружья... Здоровье у него плохое. Часто, идя вмъстъ на охоту, я слышу его кашель, такой странный, отрывистый и сухой, что я долго не могъ къ нему привыкнутъ: все мнъ казалось, что Талимонъ чему-товнезапно разсмъялся, и я съ любопытствомъ оборачивался въ его сторону. Я думаю, что у него наслъдственная чахотка, и что онъ не проживетъ долго, особенно при его молчаливой, упорной страсти къ спиртному. Если же кашель начинаетъ его мучить черезчуръ сильно, тогда Талимонъ приходитъ ко мнъ за лъкарствомъ. Лъкарство это, изобрътенное едва ли не самимъ Талимономъ, состоитъ изъ большой рюмки водки, куда я капаю четыре или пять капель французскаго скипидару. — «А ну-ка, панычъ, дайте мини трошки тэрпэтыны... що-сь у меня въ грудяхъ заложило», — говоритъ онъ въ этихъ случаяхъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ нерѣшительнаго колебанія на порогѣ моей комнаты. Я боюсь ошибиться, но мнѣ кажется, что, если бы я предложилъ Талимону принимать скипидаръ на водѣ, я бы рисковалъ потерять навсегда единственнаго своего паціента.

Въ хозяйственномъ быту Талимонъ лѣнтяй, какихъ свѣтъ не создавалъ. Вмѣсто самаго необходимаго домашняго дѣла, онъ предпочитаетъ цѣлыя сутки бродить по лѣсу съ ружьемъ за плечами. Когда его тринадцатилѣтняя дочь Варка вмѣстѣ со своимъ братишкой Архипомъ вспахиваетъ кое-какъ, неумѣлыми слабыми руками, жалкій клочокъ поля, Талимонъ только смотритъ на нихъ съ завалинки, равнодушно покуривая трубку, околоченную мѣдью.

Оба они — и сотскій и Талимонъ — стръляють изътакихъ ружей, какихъ я болье нигдъ не встръчалъ: фунтовъ по пятнадцати въсомъ, около вершка калибромъ, съ самодъльными ложами и чудовищной отдачей, способной свалить на землю телеграфный столбъ. Эти ръдкіе предметы достались имъ по наслъдству, и оба охотника не согласятся промънять ихъ ни на какую централку.

— Теперь такой «стрѣльбы» не могутъ сдѣлать, — говоритъ иногда Талимонъ, любовно поглядывая на свой аркебузъ. — Это «стрѣльба» настоящая, бо она ще за Катерыну Великую зроблена. О!..

И надо видѣть, съ какимъ многозначительнымъ видомъ подымается кверху черный палецъ Талимоновъ при этомъ: о!

У нихъ обоихъ есть собаки — отдаленные ублюдки гончихъ, у Кирилы — «Соколъ», а у Талимона — «Свирьга». Собаки, надо отдать имъ справедливость, прескверныя, но меня онъ интересуютъ въ томъ отношеніи, что на нихъ до смъшного отразился характеръ

ихъ господъ. Рыжій Кириловъ Соколъ, едва почуя заячій слѣдъ, бросается бѣжать по прямой линіи и громкимъ лаемъ даетъ знать о себѣ звѣрю за цѣлую версту. На убитаго зайца онъ тотчасъ же накидывается и начинаетъ его съ ожесточеніемъ пожирать, и отогнать его удается, только пустивъ въ ходъ ружейный прикладъ. Подходя на зовъ къ человѣку, Соколъ волнообразно изгибается туловищемъ, крутитъ головой, подобострастно взвизгиваетъ, лихорадочно машетъ хвостомъ и, наконецъ, дойдя до вашихъ ногъ, переворачивается на спину. Куски, которые ему даютъ, онъ вырываетъ изъ рукъ и уноситъ ихъ куда-нибудь подальше. Взглядъ у него напряженный, заискивающій и фальшивый.

Свирьга — маленькая черная гладкая сучка, съ остренькой мордочкой и желтыми подпалинами на бровяхъ. Звѣря она гонитъ молча, «нышкомъ», какъ говоритъ Талимонъ. Нравъ у нея нелюдимый, нервный и довольно дикій; ласкъ она, повидимому, терпѣть не можетъ. Она страшно худа. Талимонъ ее никогда не кормитъ, потому что, по его мнѣнію, «песъ и жинка мусятъ сами себя годувать», т.-е. должны сами себя пропитывать. Собака относится къ хозяину съ полнымъ равнодушіемъ, но я знаю, что, несмотря на эту кажущуюся холодность, Свирьга и Талимонъ сильно привязаны другъ къ другу.

Теплый безвътреный день угасъ. Только далеко на горизонтъ, въ томъ мъстъ, гдъ зашло солнце, небо еще рдъло багровыми полосами, точно оно было вымазано широкими ударами огромной кисти, омоченной въкровь. На этомъ странномъ и грозномъ фонъ зубчатая стъна казеннаго хвойнаго лъса отчетливо рисоваласъ грубымъ, темнымъ силуэтомъ, а кое-гдъ торчавшія надъней прозрачныя круглыя верхушки голыхъ березъ, казалось, были нарисованы на небъ легкими штрихами

нѣжной зеленоватой туши. Чуть-чуть выше розовый отблескъ гаснущаго заката незамѣтно для глазъ переходить въ слабый оттънокъ выцвътшей бирюзы... Воздухъ уже потемнълъ, и въ немъ выдълялся стволъ каждаго дерева, каждая в точка, съ той мягкой и пріятной ясностью, которую можно наблюдать только раннею весной, по вечерамъ. Слышалось иногда, какъ густымъ басомъ гудитъ, пролетая гдъ-то очень близко, невидимый жукъ, и какъ онъ, сухо щелкнувшись о какое-то препятствіе, сразу замолкаетъ. Кое-гдф сквозь чащу деревьевъ мелькали серебряныя нити лѣсныхъ ручейковъ и болотецъ. Лягушки заливались въ нихъ своимъ торопливымъ, оглушительнымъ крикомъ; жабы вторили имъ болъе ръдкимъ, мелодическимъ и грустнимъ уханьемъ. Изръдка надъ головой пролетала съ пугливымъ кряканьемъ утка, да слышно было, какъ съ громкимъ и короткимъ блеяньемъ перелетаетъ съ мъста на мъсто бекасъ-баранчикъ. Высыпали первыя звъзды, и никогда ихъ мерцающее сіянье не казалось мнъ такимъ золотымъ, такимъ чистымъ, кроткимъ и радостнымъ.

— Стойте, панычъ... заждить трошки, — сказалъ вдругъ Талимонъ, присъвъ на корточки сбоку дороги. — Сдается, здъсь и заночуемъ...

Дъйствительно, изъ-подъ густой сосновой вътки онъ вытащилъ охапку лучины, загодя наколотой имъ изъ стараго смоляного пня. Я далъ ему спичку, и сухое сосновое дерево тотчасъ же вспыхнуло яркимъ, безпокойнымъ пламенемъ, распространяя сильный запахъ смолы. Затъмъ онъ навалилъ сверхъ лучины сухой прошлогодней желтой хвои, которая сразу задымилась и затрещала.

Сотскій не утерпълъ, чтобы не вмѣшаться.

— Атъ! — крикнулъ онъ съ досадой. — Ничего не умъещь сдълать. Пусти меня.

Талимонъ сейчасъ же уступилъ ему свое мѣсто и только съ застѣнчивымъ видомъ вытеръ носъ рукавомъ латуна.

Но у сотскаго дѣло не спорилось, и начавшій-было разгораться костеръ чуть-чуть совсѣмъ не потухъ.

— Что же ты не помогаешь... стоишь, якъ пень! — крикнулъ онъ съ сердцемъ на Талимона.

Съ домощью Талимона, притащившаго кучи хвороста, костеръ разгорълся веселымъ, шумнымъ огнемъ. Я въ это время доставалъ изъ сумки провизію, къ большому удовольствію сотскаго, провожавшаго глазами каждый предметъ, появлявшійся изъ нея. Талимонъ изъ деликатности дълалъ видъ, что не замъчаетъ моихъ движеній. Я предложилъ имъ водки. Сотскій торопливо принялъ изъ моихъ рукъ серебряный стаканчикъ, гаркнулъ своимъ сиплымъ фальцетомъ: «За ваше здоровье, ваше выскородіе», опрокинулъ залпомъ водку въ ротъ, а воображаемые остатки лихо выплеснулъ себъ черезъ плечо. Талимонъ — хотя я видълъ, что ему хочется выпить не меньше сотскаго — сначала немного поцеремонился.

— Пейте, пейте, панычъ, — уговаривалъ онъ меня такимъ ласковымъ тономъ, какъ будто хотълъ сказать, что ему ничего, онъ какъ-нибудь потерпитъ, обойдется, но что мнъ не выпить никакъ нельзя.

Я настаивалъ. Сдавшись наконецъ и взявъ стаканчикъ, онъ снялъ шапку и нѣсколько секундъ нерѣшительно глядѣлъ на водку; потомъ слегка кивнулъ мнѣ головой и промолвилъ: «Ну! Будьте здоровы, панычъ», и съ видимымъ наслажденіемъ выпилъ. Послѣ этого оба мои спутника отрѣзали по толстому куску свиного сала, надѣли его на шомпола и сунули въ огонь. Поджариваемое сало заворчало и, растапливаясь, капало въ огонь синими горящими каплями.

Раскаленные уголки съ трескомъ выпрыгивали изъ костра и, описавъ въ воздухъ искристую дугу, падали за нами. Становилось жарко. Мы разлеглись поудобнъе, ногами къ огню, головой наружу, и долго всъ трое возились, уминая подъ собой мъсто и выгребая сухія въточки и сосновыя шишки, мъшавшія лежать. Потомъ всъ притихли и молча глядъли на пламя, охваченные тъмъ непонятнымъ, тихимъ очарованіемъ, которое ночью такъ властно и такъ пріятно притягиваетъ глаза къ яркому огню.

Надъ костромъ вдругъ низко и прямо пролетъла большая сърая птица, медленно махая крыльями и жалобно пища. Мы проводили ее глазами, пока она не утонула во мракъ.

- Это канюка, сказалъ Талимонъ, поправляя ногой полъно, выбросившее отъ толчка густой снопъ искръ.
 - Что такое? переспросилъ я.
- Канюха, ваше благородіе... такая птаха! закричалъ сотскій и весь заерзалъ на своемъ мѣстѣ. — Звѣсно, такъ мы ее называемъ — канюка... То-есть ей, значитъ, такое названіе — канюка.
- A панычъ знаетъ, чего она такъ кричитъ? спросилъ съ легкой усмъшкой Талимонъ.
 - Нътъ, не знаю... Почему же?
- Не могу сказать: чи правда тому, чи нътъ, а только старые люди кажутъ, что ее Господь проклялъ.
- Атъ! пренебрежительно мотнулъ головой сотскій: очень нужно панычу твои байки слушать... Какая разница...
- Нътъ, отчего же, возразилъ я. Разскажи, пожалуйста, Талимонъ. Это очень интересно.
- Что жъ... въдь не я ее выдумалъ... старые люди говорятъ, обратился Талимонъ къ сотскому, точно оправдываясь передъ нимъ. Бачите, панычъ,

якъ это дѣло вышло, - продолжалъ онъ болѣе спокойно. — Случилось одинъ разъ... давно это было... можетъ, сколько сотъ лътъ тому назадъ... случилось какъ-то, что зробилась на землъ великая суща. Дождь не падалъ цълое лъто, и всъ ръчки и болота повысыхали... Птицы первыя зажурились... Звъсно: птаха пьетъ хоть и помалу, але вельми часто, и безъ воды ей кепсько... Вотъ и стали птицы просить у Господа Бога: «Дай Ты намъ, Господи Боже, хоть трошки водицы, а то мы безъ нея всъ, сколько насъ есть, скоро поумираемъ». Сжалился надъ птицами Богъ и говоритъ имъ: — «Хорошо, дамъ Я вамъ воды. Соберитесь всъ вы, сколько васъ есть, въ одно мъсто и ройте землю, и какъ докопаетесь до воды, тогда и напьетесь... на всю вашу братію, пока что, хватитъ»... Какъ услышали эти слова птицы, заразъ слетълись въ одно мъсто... въ лъсъ, скажемъ, чи въ долину. . . и давай копать лапками землю. Всъ птицы собрались: и бузько, и кныга, и шулякъ, и крукъ, и ворона... роютъ, роютъ, одно передъ другимъ старается... Только одна канюка ничего не хочетъ дълать. Сидитъ и смотритъ, какъ другія работаютъ, да перышки свои перебираетъ. Увидълъ это Господь Богъ и спрашиваетъ: «Отчего же ты, сърая птаха, не хочешь слушать Моего приказа? Развъ ты не чула, какъ Явсъмъ птицамъ велѣлъ копать криницу?» А канюка отвѣчаетъ Господу Богу: — «Какъ же, Господи, буду я копать криницу? Бачишь, якія у меня ножки гарненькія. Боюсь я ихъ испачкать землею, не стану я копать криницы». А ножки у нея, панычу, и правда, гарненькія, желтенькія такія. Да... Разсердился тогда Господь Богъ на канюку и сказалъ: «Будь же ты, сърая птица, проклята отнынъ и до въка!.. Пусть теперь и ты и весь родъ твой не смѣетъ пить воды: а ни изъ рѣчки, а ни изъ ривчака, а ни изъ болота, а ни изъ криницы или става, ни изъ стоячей воды, ни изъ текучей. А только позволяю Я тебѣ пить воду послѣ дождя съ зеленаго листика»... Вотъ съ тѣхъ поръ летаетъ эта самая птица и кричитъ, а наибольше лѣтомъ... Хочется ей пить, а напиться нельзя. Подлетитъ къ рѣчкѣ — рѣчка ей воды не даетъ, подлетитъ къ лужицѣ — и та передъ ней разступается. Такъ она отъ воды до воды и летаетъ, и все канючитъ... жалостливо такъ, вотъ какъ сейчасъ, панычъ, слышали... За это самое, что она канючитъ, ее и называютъ канюкой... И это вѣрно, панычъ, — закончилъ онъ убѣжденнымъ тономъ: — я самъ бачилъ, какъ она сидитъ около рѣчки и кричитъ... Хочется ей пить, да, видно, Господне проклятіе крѣпче... Вотъ такъ-то...

- Атъ!.. Байки! отозвался сотскій.
- Такъ что же, что байки? заступился я за Талимона. Байку тоже занятно послушать. Ночь длинна... торопиться намъ некуда.

Кирила тотчасъ же съ обычной неустойчивостью и безтолковостью перемѣнилъ мнѣніе.

— Ну да... воно такъ, — захихикалъ онъ угодливо. — Я жъ понимаю, что панычу любопытно... Панычъ думаетъ, я не понимаю? Я усе понимаю. Звѣсно, что старые люди больше нашего знаютъ... Я жъ могу понимать!..

Мы притихли. Вдругъ Талимонъ быстро приподнялся на локтъ и, сдвинувъ брови, острымъ неподвижнымъ взглядомъ уставился въ лъсную чащу.

— Кто-то идетъ, — сказалъ онъ вполголоса.

Сотскій тоже приподнялся и повернулъ голову по направленію взгляда Талимона. Я, какъ ни напрягалъ вниманіе, ничего не могъ разслышать за трескомъ разгоръвшагося костра.

— Кто тамъ иде-етъ? Что ты бреше-ешь? — протянулъ насмъшливо Кирила. — Тихо! — махнулъ на него рукой, не оборачиваясь, Талимонъ.

Дъйствительно, его не обманулъ тонкій охотничій слухъ. Черезъ минуты двъ или три послышался легкій трескъ сухихъ вътокъ подъ чьими-то ногами, и изъчащи точно вынырнула высокая фигура мужика въновомъ кожухъ и картузъ.

- Помогай Богъ! сказалъ онъ глухимъ, сильно простуженнымъ голосомъ и слегка приподнялъ картузъ.
- Здорово! отвътили разомъ Талимонъ и Кирила, прикоснувшись къ своимъ шапкамъ.
- Ишелъ я по лъсу и вижу вашъ огонь, продолжалъ пришедшій, присаживаясь на корточки. Дай, думаю, посмотрю, что за люди... Скучно одному.
- Съдайте, проговорилъ изъ въжливости Талимонъ, несмотря на то, что гость уже успълъ усъсться.

Этого мужика зовутъ Александромъ. Мнъ никогда не доводилось съ нимъ разговаривать, но я неръдко видълъ его и особенно много о немъ слышалъ, благодаря той простой и въ то же время тяжелой крестьянской драмъ, которая на глазахъ всей деревни разыгрывалась въ его семьъ. Два года тому назадъ его жена Ониська — хорошенькая, но распутная и глупая бабенка — вернулась изъ ближняго городка, гдъ она служила въ разныхъ мъстахъ за кухарку. Вернулась она въ деревню не по своей охотъ. Уже давно до Александра доходили слухи, что его жена ведетъ себя нехорошо, путается со всъми городскими господами и съ ихъ мужской прислугой, и что даже проъзжіе посылаютъ «изъ номерей» мишуреса за Ониськой. Александръ не разъ являлся въ городъ, отнималъ у жены вст зажитыя ею платья и вещи и рубилъ ихъ въ мелкіе кусочки на порогѣ, а жену избивалъ и уводилъ въ деревню. Но она улучала минуту и тайкомъ сбъгала опять въ городъ. Въ послъднее время ее «водворила на

мъсто жительства» полиція, къ содъйствію которой обратился— не знаю ужъ, по чьему совъту— Александръ.

Вмѣстѣ съ городскимъ гардеробомъ Ониська привезла съ собою легкость городскихъ нравовъ и презрѣніе къ деревенской необразованности. Держала она себя съ сосѣдями заносчиво, употребляла въ разговорѣникому невѣдомыя слова, ѣла въ постъ скоромное и даже въ одно воскресенье — смѣшно сказать — явилась въ церковь съ синимъ пенснэ на носу, за что Александръ получилъ отъ священника, отца Анатолія, строгій выговоръ.

Поведеніе ея не стало лучше въ деревнъ. Она таскалась сначала съ сыномъ волостного писаря, потомъ съ конторщиками сосъдняго лъсного имънія, потомъ съ помъщичьими кучерами, и, наконецъ, въ настоящее время ея постояннымъ кавалеромъ сдълался вольнопрактикующій фельдшеръ Кацъйовскій, вертлявый и наглый человъкъ, съ темнымъ прошлымъ, лъчившій съ одинаковымъ неуспъхомъ и лошадей, и коровъ, и бабъ съ ихъ ребятами. Зналъ ли обо всемъ этомъ Александръ — трудно сказать. Онъ никогда не отличался общительностью, а за послъдній годъ сталъ еще больше сторониться отъ людей, но съ лица его не сходило угрюмое выраженіе упорной, затаенной мужицкой тоски. Глядя на него, крестьяне покачивали головами и сосвойственнымъ имъ безошибочнымъ инстинктивнымъ чутьемъ говорили: «Не добромъ кончится это дъло... що-сь буде промежъ Онисьи съ Александромъ...»

— Ты коней, что ли, пасешь? — спросилъ нъсколько минутъ спустя сотскій.

Александръ, неподвижно глядъвшій въ огонь, вдругъ встрепенулся, точно его внезапно разбудили.

— Я-то? — протянулъ онъ, съ усиліемъ отрываясь отъ огня и, повидимому, стараясь понять, о чемъ его спрашиваютъ. — Коней, ты говоришь? Да, да, коней.

— Оно дъйствительно... теперь злодій какъ разъ подкрадется, — поучительно замътилъ Кирила.

Александръ опять уставился на огонь. Я вглядълся пристальнъе въ его большое, носатое, изрытое оспой лицо, и меня поразило его равнодушно-тоскливое выраженіе. И поза, въ которой онъ сидълъ, сгорбившись, съ головой, ушедшей въ плечи, охвативъ объими руками острыя колъни, показалась мнъ усталой и безпомощной. Самый голосъ у Александра былъ какой-то жалкій, пришибленный и до страннаго глухой, какъ будто бы онъ раздавался сквозь закрывавшую ротъ мягкую подушку.

Пламя костра трепетало съ бурнымъ ропотомъ, а на лицахъ трехъ крестьянъ бѣгали длинныя дрожащія тѣни отъ носовъ и глазныхъ впадинъ. Когда же огонь вспыхивалъ особенно ярко, эти лица принимали мѣдный оттѣнокъ, а въ глазахъ ярко загорались красныя точки.

Около костра было тепло, свътло и уютно, но тамъ, дальше, куда не достигалъ освъщенный колеблющійся кругъ, тамъ ночь стала непроницаемо черной, и временами до насъ доносилось ея холодное, сырое дыханіе. Оступившія насъ вокругъ деревья слились въ одну сплошъную, темную — темнъе ночи — живую толпу, точно со всего лъса сбъжались сюда ночныя тъни и съ любопытствомъ гълядъли сверху, покачиваясь и перешептываясь. Иногда, зна мгновеніе, выдълялся изъ этого заколдованнаго круга голый прямой стволъ сосны, внезапно облитый красновлатымъ свътомъ, но тотчасъ же пугливо прятался въ густую толпу ночныхъ призраковъ.

Я легъ на спину и долго глядълъ на темное, спокойное, безоблачное небо, — до того долго, что минутами мнъ казалось, будто за гляжу въ глубокую пропасть, и тогда у меня начинала слабо, но пріятно кружиться голова. А въ душу мою сходилъ какой-то томный, согрѣвающій миръ. Кто-то стиралъ съ нея властной рукою всю горечь прошедшихъ неудачъ, мелкую и озлобленную суету городскихъ интересовъ, мучительный позоръ обиженнаго самолюбія, никогда не засыпающую заботу о насущномъ хлѣбѣ. И вся жизнь, со всѣми ея мудреными задачами, вдругъ ясно и просто сосредоточилась для меня на этомъ песчаномъ бугрѣ около костра, въ обществѣ этихъ трехъ человѣкъ, несложныхъ, наивныхъ и понятныхъ, почти какъ сама природа.

Странный звукъ внезапно нарушилъ глубокое ночное молчаніе: точно вдали кто-то вздохнулъ во всю ширину необъятной груди... Даже трудно было опредълить, съ какой стороны послышался этотъ звукъ: онъ пронесся по лѣсу низко, надъ самой землею, и стихъ.

- Птаха яка-сь, замътилъ вполголоса Александръ.
- Сова! ръшилъ тотчасъ же увъренно сотскій.
- Нѣтъ, это не птаха, задумчиво отозвался Талимонъ. Господь его знаетъ, что оно такое... Трапляется это часомъ въ лѣсу, когда ночь тихая...
- Трапляется, трапляется, съ задоромъ передразнилъ сотскій: а что трапляется, и самъ не знаетъ... Ну, что такое трапляется?
- Разное бываетъ... мягко и уклончиво возразилъ Талимонъ. Лъсъ у насъ великій, въ иншее мъсто никто не заглядаетъ, даже лоси и волки... Одному Богу звъстно, что тамъ ночью робится... Старые полъсовщики много чего баютъ, потому что они цълый день въ лъсу да въ лъсу... все видятъ, все слышатъ... Да что жъ? обвелъ онъ насъ глазами. Я и самъ многое слыхалъ...
 - Ты слыхалъ... Много ты слыхалъ!...
- А что жъ? съ добродушной настойчивостью продолжалъ Талимонъ. Вотъ и слыхалъ. Бываетъ

часомъ такъ, что идешь, примърно, въ ночной обходъ. Тихо такъ въ лѣсу... ажъ листикъ не колыхнетъ... А вдругъ какъ зарегочетъ що-сь, какъ зарегочетъ... чудно такъ... не то человъкъ смъется, не то конь ржетъ, не то заплакалъ кто-то.

- Атъ!..
- А вотъ еще однажды слыхалъ я въ ночь на Свътлое Воскресенье, какъ печаловскій колоколъ звонитъ. Что жъ скажешь, можетъ-быть, неправду тому? укоризненно обратился Талимонъ къ сотскому.
- Нътъ, это правда. Печаловскій колоколъ звонитъ, я это знаю, подтвердилъ своимъ глухимъ голосомъ Александръ.

Я заинтересовался: что такое означаетъ звонъ печаловскаго колокола. Сотскій въ ту же минуту завозился туловищемъ, ногами и руками и закричалъ такъ громко, что по лѣсу побѣжало эхо:

— Что вы ихъ слухаете, панычъ! Они вамъ съ три короба наговорятъ. Атъ! Бабья брехня... Не слухайте ихъ, ваше благородіе.

Но я гораздо энергичнъе, чъмъ прежде попросилъ сотскаго модчать. Талимонъ принялся разсказывать, но сначала немного стъснялся и все озирался на своего противника. Александръ попрежнему тупо и печально глядълъ на огонь, не измъняя своей жалкой позы. Время отъ времени онъ коротко кивалъ головой и приговаривалъ: «Да, да... это върно... это такъ». Сотскій съ умышленной небрежностью повернулся спиной къ разсказчику.

— Это тоже, панычъ, дуже старое дѣло, что я вамъ хочу разсказывать, за той самый печаловскій колоколъ. Случилось оно еще тѣ годы окоче была у насъ панщица. Давнымъ-давно... лѣтъ... може быть... (онъ задумался и вопросительно посмотрѣлъ на меня). Лѣтъ триста, аль бо четыреста будетъ?.. А мабудь, и больше? Не

могу сказать, не знаю, Богъ его знаетъ, сколько лѣтъ... Собирались одинъ разъ казаки въ походъ. Шли они тогда войной на турецкаго салтана. И вотъ стали они прощаться со своими... Журьба по всему селу, плачъ такой великій... ажъ стонъ стоитъ!.. Тотъ съ батькой своимъ разстается, съ маткой старой, того сестра провожаетъ... Но наибольше голосили дивчата. Звѣсно, у каждой былъ въ войскъ свой зарученный... И ужъ эти бабы завше одинаковы. Сама плачетъ, якъ рѣка разливается, а все жъ таки не утерпитъ на ухо шепнуть: «Будешь ты, Грицко, аль бо тамъ Павло, чи Юрко, будешь вертаться назадъ изъ Туреччины, привези мнѣ памятку какую-нибудь, чи перстенекъ, чи намисто, чи хустку червонную...»

«Былъ въ томъ селѣ казакъ, по имени Опанасъ: гарный хлопецъ, веселый и шворный такой, але жъ только совсѣмъ бѣдный, якъ собака. Всего у него богатства только и было, что на немъ. Служилъ Опанасъ за наймита у мельника. А у мельника была дочка, такая красивая дивчина, что лѣпше ея нигдѣ на всю округу не было. Полюбилась эта мельничиха Опанасу; такъ онъ ее полюбилъ, что только изъ-за нея одной и жилъ на млынѣ, потому что старый мельникъ былъ человѣкъ гордый и скупой, кормилъ наймитовъ плохо и даже за людей ихъ не считалъ... И дочка его такая жъ была. Знала она, что Опанасъ ее крѣпко любитъ, но только надъ нимъ смѣялась.

«Какъ услышалъ Опанасъ, что идутъ казаки на войну, сталъ и онъ собираться... Вотъ пришло время и въ походъ выступать. Пріѣхалъ Опанасъ въ опушній разъ на млынъ, прощается, бидака, со своей любой. А ей ничего, только смѣется съ него. «Привези, каже, мнѣ изъ турецкой земли такое намисто, чтобъ такого еще ни у кого не было, чтобъ всѣ молодцы и дивчины — и Гапка, и Катерына, и Пруська — чтобы всѣ онѣ съ

241

зависти пожелтѣли. Тогда, говоритъ, можетъ, и пойду за тебя замужъ. Да помни одно: если твое намисто хоть изъ золотыхъ дукатовъ будетъ, я и то его не приму, а брошу его тебѣ въ твою наймичью пыку. Бо такое намисто я вже у одной проѣзжей пани бачила».

— Ахъ, ты, стерва! — не утерпълъ наконецъ сотскій и быстро повернулся лицомъ къ разсказчику. — Я бы ей самой въ пыку за такія слова далъ!..

Сотскій, хотя и старался до сихъ поръ подчеркнуть свое невниманіе къ разсказу, но, очевидно, слушалъ его съ захватывающимъ интересомъ, несмотря на то, что, навърно, зналъ его наизусть съ самаго дътства. Онъ, какъ многіе крестьяне, новымъ байкамъ предпочиталъ старинныя, давно ему привычныя, уже осиленныя и усвоенныя его тугимъ, короткимъ воображеніемъ.

— Да. Такъ она ему и сказала, — продолжалъ Талимонъ, замѣтно польщенный и подбодренный искренней выходкой сотскаго: — привези мнѣ, говоритъ, такое намисто, какого еще никто и не бачилъ. — «Хорошо, — говоритъ Опанасъ: — хорошо, привезу я тебѣ такое намисто!»... а самъ вельми разсердился, — даже прощаться съ нею больше не сталъ, — вскочилъ на коня и поѣхалъ догонять товарищей.

«Въ ту пору, какъ шли казаки походомъ, подружилъ Опанасъ съ однимъ казакомъ, Левкомъ, — такъ подружилъ, что просто они другъ безъ дружки жить не могутъ, а напослъдокъ даже крестами помънялись. «Будь ты мнъ, — говоритъ Опанасъ: — за родного брата. Куда ты, туда и я. Будемъ вездъ стоять другъ за дружку и выручать отъ всякой бъды».

«Наконецъ пришли наши казаки и въ Туреччину. Долго они тамъ сражались. Сколько селъ и деревень попалили, сколько скота угнали, сколько ихнихъ церквей разорили... а поганыхъ турокъ такъ богацько набили, что даже счетъ потеряли... золотыя монеты

забирали прямо жменями, ажъ казацкія кишени не могли выдержать, лопались... И вездѣ Левко вмѣстѣ съ Опанасомъ: и турокъ вмѣстѣ бьютъ, и кашу изъ одного горшка ѣдятъ, и спятъ подъ однимъ кожухомъ...

«Завоевали одинъ разъ казаки самый великій турецкій городъ — Константиновъ, и стали тотъ городъ разорять. Опанасъ съ Левкомъ забрались въ бо-огатый-пребогатый палацъ и давай хозяевать въ немъ, какъ въ своей хатѣ. Набрали дукатовъ золотыхъ, посуды разной срибной, дорогихъ каменьевъ... Вдругъ бачатъ: лежитъ въ щекатункѣ намисто, и такъ-то блещетъ намисто, что ажъ глаза колетъ. Левко съ Опанасомъ разомъ хвать за намисто!.. Одинъ каже — мое, другой говоритъ — мое. Слово за слово, стали лаяться казаки. Дальше, больше, — вынулъ Левко шаблюку, вынулъ и Опанасъ свою шаблюку. Начали биться. Бились часъ, бились другой: пересилилъ-таки Опанасъ Левка и отрубилъ своему названному брату казацкую голову, и взялъ себѣ то гарное намисто...

«Никому онъ не сказалъ изъ товарищей, что убилъ Левка, а намисто сховалъ у себя на груди, подъ свиткой, чтобъ никто его не замътилъ. Такъ всъ и подумали, что пропалъ Левко безъ въсти, чи взяли въ плънъ, чи заръзалъ его гдъ-нибудь поганый турка.

«Въ скорости повернули казаки до дому — ужъ больше года прошло, какъ они выъхали въ походъ. Поъхалъ съ ними и Опанасъ. Только совсъмъ не такой поъхалъ, какъ изъ дому выъзжалъ. Тогда былъ веселый такой: все пъсни спъвалъ да жартовалъ съ товарищами, а теперь ъдетъ тихій, сумный, пъсенъ не поетъ, не говоритъ ни съ къмъ и все — нътъ, нътъ, — рукой лапаетъ за грудь, гдъ у него спрятано намисто.

«На Страстной недълъ вступили казаки на русскую землю. Ъдутъ они однажды вечеромъ и видятъ въстепи огонь. — «Вотъ здъсь, говорятъ, и заночуемъ».

243

Подъфхали, глядятъ — цыганскій таборъ. Ну, что же? Хоть и цыгане, а все же таки подорожные люди. Говорять имъ казаки: «Слава Богу!». Тѣ имъ отвѣчають: «Во вѣки слава». Просятъ сѣдать. Сѣли наши казаки, вынули изъ сумокъ хлѣбъ, соль, цыбулю... стали вечерять, послали за горилкой, — туть корчма близко оказалась. Пьютъ и цыганъ частуютъ. Только одна молодая цыганка — красивая такая — замѣтила, что Опанасъ все за грудь тремается, и пытаетъ въ шутку: «Что у тебя, хлопецъ, на груди скрыто? Можетъ, намисто везещь своей дивчинъ?» Испугался Опанасъ, ажъ весь затрусился. — «А ты почему знаешь? Нема у меня никакого намиста. Отчепись ты отъ меня, ради Бога». Цыганка еще больше смъется, — «Чего же ты, говоритъ, злякался? Или ты кого заръзалъ за то намисто, що такъ побълълъ?» И пристала эта цыганка къ Опанасу: «Пойдемъ со мной въ мой наметъ... Я тебя виномъ угощу добрымъ, и постель тебъ постелю, и сама съ тобою ляжу»... Говоритъ она такъ, а сама на Опанаса дивится; очи у нея черныя, блескучія, а лицо темное, а зубы бълые, какъ цукаръ. Послушался казакъ, пошелъ съ ней въ наметъ, сълъ... Подаетъ она ему великуючару: «пей!», — каже. Выпилъ онъ одну, цыганка ему заразъ другую наливаетъ. Выпилъ другую Опанасъ и пытаетъ: - «А что же ты сама не пьешь? Меня поишь, а сама не пьешь?» Усмѣхнулась цыганка, однако выпила трошки; только, какъ выпила, сейчасъ же воды хлебнула. Казакъ спрашиваетъ: — «Ты для чего же воду льешь?» — «А это у насъ, говоритъ, свычай такой... намъ иньше по нашей въръ не можно»... И наливаетъ еще одну чарку. Какъ выпилъ Опанасъ третью чару, помѣшалось у него все въ головѣ, обомлѣлъ онъ и упалъ, какъ неживой. Чуетъ онъ, что кто-то мацаетъ его за грудь и свитку раскрываетъ, а поворохнуться не можетъ: точно ему руки и ноги веревками повязали...

«Проснулся на утро Опанасъ и первымъ дѣломъ лапъ-лапъ по пидъ свиткой: нема намиста! Онъ къ товарищамъ: «Гдѣ цыгане?» А тѣхъ цыганъ уже давно и званія нема, еще до солнца поднялись, погыгорталипогыгортали что-то по-своему и всѣмъ таборомъ подались на полдень. «Нѣтъ, — думаетъ казакъ: — я ей, бисовой дочкѣ, моего намиста не подарю». Вскочилъ на коня и поѣхалъ вдогонку за цыганами.

«Бдетъ онъ милю, другую, десять миль, и все людей пытаетъ: — «А что, добрые люди, не видали вы, не проходилъ ли здѣсь цыганскій таборъ?» — «Какъ же, говорятъ, видѣли: вотъ только-только передъ тобой проѣхали по шляху». Опять ѣдетъ казакъ, погоняетъ коня со всѣхъ силъ, а догнать никакъ не можетъ, и вездѣ ему люди кажутъ: — «Бачили мы цыганъ, всего только часъ какой назадъ, вонъ въ ту сторону потянули». А тѣмъ временемъ вечеръ зашелъ, стало темно. А когда казакъ черезъ Печаловку проѣзжалъ, то уже дѣло подходило близко полуночи. Сталъ онъ и въ Печаловкѣ пытать: «Бачили цыганъ, добры люди?» — «Бачили, кажутъ, ѣзжай скорійше, они еще двухъ верстовъ не успѣли сдѣлать».

«Только-что опять вы халъ Опанасъ въ поле, видитъ — стоитъ церковь, а въ церкви малый огонекъ чуть-чуть мигаетъ. Посмотрълъ Опанасъ и думаетъ: «А въдь нынче у людей Страстная суббота, и сейчасъ настаетъ Христово Воскресеніе. Богъ въсть, когда я еще до церкви доберусь. Треба зайти, хоть лба перекрестить». Слъзъ съ коня и зашелъ въ церкву. Звъсно, такъ себъ зашелъ, бо у него на душъ совсъмъ не молитва была.

«Зашелъ онъ въ церкву и видитъ, что тамъ всего только одна свъча горитъ передъ иконой Божьей Матери, а людей въ церкви нема. Даже сторожъ, и тотъ куда-сь на минутку вышелъ. Подошелъ казакъ къ об-

разу, да такъ и захололъ. Смотритъ онъ, а у Божьей Матери округъ сіянія надѣто намисто, аккуратъ такое, какъ у него цыганка украла, только еще краше. Всего одна свѣчечка въ церкви, а намисто такъ и горитъ, такъ и горитъ, — аже въ глазахъ больно... А коло образа, какъ на грѣхъ, лѣсенка маленькая приставлена... Звѣсно, что все это дѣло злой наробилъ. Потомъ оказалось, что и цыгане тѣ, что намисто украли, совсѣмъ не цыгане были, а мара.

«Обернулся Опанасъ въ одну сторону, въ другую... видитъ — никого въ церкви нѣтъ. Влѣзъ онъ на лѣсенку и протянулъ руку. И ледве онъ доторкнулся рукой до намиста, — загремѣлъ громъ, заблискала блискавица, и вся церковь, какъ стояла, такъ и провалилась скризь землю... Сбѣжались изъ села люди, смотрятъ, а на мѣстѣ церкви стоитъ великое озеро, а въ озерѣ колоколъ звонитъ...»

- Да... это върно... это такъ, тихо замътилъ Александръ.
- И съ той самой поры, продолжалъ въ торжественномъ тонъ Талимонъ: съ той самой поры каждый разъ въ Свътлое Воскресенье слышатъ люди звонъ изъ того озера. То звонитъ колоколъ въ потонувшей церкви. И это все правда... я самъ чулъ одинъ разъ. Не такъ, чтобы вельми громко, но, якъ притулить ухо до земли, то совсъмъ добре чутно.

Талимонъ замолчалъ, выбросилъ изъ костра уголекъ и, перекинувъ его нъсколько разъ съ ладони на ладонь, сталъ раскуривать свою короткую трубку. Я спросилъ, что сталось потомъ съ жестокой мельничихой?

Талимонъ сплюнулъ въ сторону.

— Этого ужъ я не знаю, панычъ. Чего не знаю, того не можу казать. За мельникову дочку я больше ничего не чулъ.

- А что же съ ней эробилось? Погубила, трясьца ея собачьей матери, христіанскую душу, и все тутъ, съ горькой элобой вставилъ Александръ. Нътъ на свътъ ни одного такого поскуднаго гада, якъ баба!..
- Всъ хороши: и бабы и чоловики, равнодушно сказалъ Талимонъ.

Александръ вдругъ какъ-то разомъ заволновался.

- Нътъ, ты этого не говори, Талимонъ... Это ты напрасно такъ говоришь, заторопился онъ, суетливо и неловко тыча передъ собою руками. Хоть мы, чоловики, и пьемъ, и своримся, и воруемъ часомъ, але все же таки мы Бога не забываемъ... А баба? Або она что понимаетъ? Або она что чувствуетъ?..
- Это ты правильно, поддакнулъ сотскій. У бабы замѣсто души паръ, якъ у собаци. Это даже въ двѣнадцати викторіяхъ сказано.
- Чи паръ, чи другое що, я ужъ за то не знаю, нетерпъливо отмахнулся отъ него Александръ. А только я одно скажу, что всякая шкода, всякая швара, все черезъ нихъ робится. Какъ въ святыхъ книгахъ сказано? Черезъ кого Господъ прогналъ Адама изъ раю? Черезъ бабу... Шкодливы, пакостницы, сокотухи *). Плетутъ не въсть что... Вотъ ужъ это вправду сказано: лучше желъзо варить, чъмъ съ злою женою жить.

Въроятно, еще и раньше, до разсказа Талимона про намисто, Александръ находился въ томъ состояніи, когда накипъвшія въ человъкъ и долго сдерживаемыя чувства ищутъ себъ исхода, и тогда достаточно ничтожнаго предлога, чтобы они прорвались въ самой необузданной формъ. Видно было, глядя на неожиданную горячность Александра, что теперь ему уже трудно остановиться, разъ онъ началъ высказываться. И хотя, по-

^{*)} Болтуньи. Когда кричитъ сорока, про нее говорятъ, что она «сокочетъ».

видимому, онъ громилъ всъхъ женщинъ вообще, но какъ-то невольно чувствовалось, что всъ его проникнутыя жестокой ненавистью слова относятся къ одной Ониськъ.

- Стыда онъ въ себъ никакого не имъютъ! продолжалъ еще возбужденнъе Александръ. У суки, и у той стыда больше, чъмъ у бабы... Только одна мерзость у нея на думкъ. А этого ей ничего, что изъ-за нея чоловику нельзя на село показаться, что отъ страму не знаешь, куда голову спрятать. Мужей бросаютъ, сволочи, даромъ, что въ церкви Божьей присягали на върность... Хуже кошекъ онъ, эти бабы! Кошка хотъ къ хатъ своей призвычайна, а баба ни къ чему ни привыкнетъ. Развъ ей дъти нужны? Мужъ нуженъ? Страмъ ей нуженъ... Тъфу! Александръ съ омерзъніемъ плюнулъ на землю: вотъ что ей нужно!..
- Батога ей треба! сочувственно и серьезно замътилъ Талимонъ.

Сотскій поддержаль это мнѣніе.

— Да и до-обраго батога. Старики кажутъ не даромъ: якъ больше бабу бъешь, то борщъ вкуснъе.

Но Александръ какъ будто бы не замѣтилъ словъ сотскаго. Во все время своей безпорядочной, злобной рѣчи онъ обращался къ Талимону, въ черныхъ печальныхъ глазахъ котораго отражалось настоящее состраданіе.

— Эхъ! Або она боится батога? — махнулъ безнадежно рукой Александръ. — Баба какъ гадюка: пополамъ ее перерви, а она все вертится. Да и не можно все бить да бить. Ты вотъ на нее серчаешь, а она подсунулась къ тебъ теплая да ласая... такъ, стерва, душу изъ тебя руками и вынетъ. Нътъ, это что жъ, бить-то... А вотъ такъ зробить, какъ Семенъ Башмуръ въ позапрошломъ годъ зробилъ...

- Ну, братъ, этого тоже начальство не одобряетъ... какая разница! многозначительно сказалъ сотскій.
- А что такое Башмуръ сдълалъ съ женой? полюбопытствовалъ я.

На этотъ вопросъ долго не было отвъта, точно каждый изъ мужиковъ дожидался, чтобы заговорилъ другой. Наконецъ сотскій началъ медленно и неохотно:

— Жинка его... Башмурова жинка, значитъ... связалась тутъ съ однимъ хлопцемъ... Петро его зовутъ... онъ и теперь на селѣ живетъ... женился на Покрову. Ну, и застукалъ онъ ее одинъ разъ съ этимъ съ самымъ Петромъ въ хлѣвъ...

Соцкій замолчалъ, точно ему непріятно было продолжать. Александръ и Талимонъ какъ-то ужъ черезчуръ равнодушно уставились глазами на свои лапти.

- Ну, и что же дальше? спросилъ я.
- Да что же? Повалилъ ее на землю и засунулъ ей квача *) съ дегтемъ въ ротъ... ну, и того... задохнулась. Атъ! Да что объ этомъ толковать!.. Ты куда же, Александръ? спросилъ сотскій, видя, что тотъ всталъ со своего мѣста и оправляетъ ремень, стягивающій кожухъ. Идешь, что ли?
- Пойду, коротко отвътилъ Александръ, ни на кого не глядя. Что жъ сидъть... скоро утро. Ну, бывайте здоровы...

Пока онъ былъ виденъ, мы всѣ трое провожали его глазами. Въ его вялой, тяжелой и медленной походкѣ, въ очертаніяхъ его натруженной, полусогнутой спины было что-то удрученное, жалкое... Глядя на эту походку и на эту спину, я невольно подумалъ, что еще долго онъ будетъ бродить сегодня по лѣсу со своей одинокой, молчаливой тоской.

^{*)} Квачъ — тряпка, туго свернутая, кляпъ.

Послѣ его ухода мы долго молчали. Такъ всегда бываетъ, если изъ компаніи уйдетъ одинъ человѣкъ: пусть даже онъ молчалъ все время, но остальные безъ него нѣсколько минутъ чувствуютъ себя неловко, точно отъ нихъ отняли что-то, подогрѣвающее бесѣду.

Сотскій первый заговориль:

- А все черезъ свою Ониську человъкъ сохнетъ... Совсъмъ извела его, подлюка.
- Что жъ... не наше это дѣло, осторожно, какъ бы вскользь, замѣтилъ Талимонъ.
- Какъ это не мое дѣло? вскипѣлъ сотскій. Ежели, примѣрно, я начальствомъ здѣсь состою?.. Какая разница!..

Талимонъ немного смутился.

- Ну, да... оно такъ, конечно... а все жъ таки...
- То-то вотъ «все жъ таки». Какъ это ты могъ сказать: не мое дѣло? А если, упаси Господи, бѣда якая случится?.. Жаль мужика, пропадаетъ ни за грошъ, совсѣмъ ужъ другимъ тономъ обратился сотскій ко мнѣ. Трудящій онъ, старательный человяка... И ужъ чего-чего онъ ни дѣлалъ: къ попу водилъ свою Ониську отчитывать, господину вряднику жалобу приносилъ... ничего пользы нѣтъ. Онъ и къ Недилькѣ даже ходилъ...
 - Къ какой это Недилькъ? спросилъ я.
- А тутъ, бачите, есть у насъ одна ворожка, Недилькой мы ее зовемъ... такъ онъ къ ней и ходилъ. Велѣла, говорятъ, она ему поймать кожана *) и сварить его живого, а потомъ закопать на ночь въ муравельникѣ, чтобъ муравли его обглодали до костей. А въ тѣхъ костяхъ, каже, есть такія маленькія грабельки и вилочка. Якъ ты, каже, захочешь, чтобъ тебя дивчина, чи моло-

^{*)} Летучая мышь.

дица полюбила, то ты только этими граблями проведи ей по спидницѣ, чи по камизелькѣ. А если хочешь, чтобы она тебя разлюбила, то вилами ее торкни легонько...

- Ну что же, и Недилька не помогла?
- Э, какія теперь ворожки! сдѣлалъ сотскій презрительную гримасу. Або теперешнія ворожки чтонибудь знаютъ? Вотъ прежнія тѣ, дѣйствительно, много могли. Кровь, зубы заговаривали, отмовляли, если кого бѣшеная собака укуситъ или гадюка... узнавали, гдѣ злодій вещи спряталъ...
- Ну да... Бо имъ раньше черти вспособляли, пояснилъ Талимонъ.
- А звѣсно, помогали... У иньшей даже не одинъ и не два, а скольконадцать чертякъ служило въ наймитахъ. Ну, а теперь совсѣмъ нема чертей...
- Какъ нема? Куда же они дѣлись? спросилъ я, заинтересованный судьбой чертей.

Признаться, я не ожидаль, да и не могъ ожидать хоть сколько-нибудь опредъленнаго отвъта, но, къ моему чрезвычайному удивленію, Талимонъ и Кирила тотчасъ же, нимало не задумавшись, отвътили въ одинъ голосъ:

- На машину ушли.
- Что-о? На машину? На какую машину?
- А на зализную дорогу, хладнокровно и увъренно объяснилъ сотскій. Имъ тамъ теперь вельми добре жить... Вотъ, какъ разобьется вагоновъ съ пятнадцать, тутъ сейчасъ чертякамъ и работа. Богацько тогда умираетъ людей безъ причастія, а это з л о м у и потъха, потому что человъкъ весь въ гръхахъ, якъ въ кожухъ. А чертяка его разомъ цапъ за комиръ и въ пекло. Може, за одну недълю душъ съ тысячу приставитъ. Ну, а ему, звъсно, отъ самаго главнаго сатаны за это награда... А въ селъ ему что за польза? Колиниколи одну якую-сь душонку зловитъ, да и то стару-

шечью, лядащую. Вотъ потому-то они всъ изъ села и поутекали. А что, Талимонъ? Развидняетъ? — обратился онъ къ Талимону, пристально смотръвшему на востокъ.

— Уже. Ну, панычъ, давайте собираться, сказалъ Талимонъ, подымаясь. — Какъ придемъ на токъ, заразъ и день будетъ.

Мы наскоро собрали свои вещи, растащили костеръ и тронулись. Небо еще не измѣнило своего темнаго цвѣта, но востокъ уже поблѣднѣлъ, и звѣзды потеряли яркость. Легкій утренній вѣтерокъ, суетливый и холодный, набѣгалъ изрѣдка и чуть трепеталъ въ вершинахъ деревьевъ.

До тока намъ пришлось итти около трехъ четвертей часа. Самый токъ представляетъ изъ себя большую, десятинъ въ двадцать, полянку, окруженную молодымъ лъскомъ. Кое-гдъ по ней были разбросаны небольшія группы кустовъ.

Въ темнотъ, въ полузнакомомъ мѣстъ, я скоро потерялся и покорно шелъ за Талимономъ, то и дѣло попадая ногами въ какія-то ямы. Наконецъ Талимонъ остановился и шепнулъ мнѣ на ухо:

— Съдайте, панычъ, вонъ въ ту будку. Сидите «нышкомъ», не ворошитесь. А якъ стрълите тетерука, то, спаси Господи, не вылъзайте изъ кучки... Заразъ другіе прилетятъ на то же мъсто.

Онъ указалъ мнѣ на нѣсколько маленькихъ березокъ, едва бѣлѣвшихъ шагахъ въ пяти отъ насъ, а самъ пошелъ въ другую сторону и тотчасъ же безшумно пропалъ въ темнотѣ.

Я съ трудомъ отыскалъ свою будку. Она состояла изъ двухъ тонкихъ березокъ, связанныхъ верхушками и густо закрытыхъ съ боковъ сосновыми вътками. Раздвинувъ вътки, я влъзъ въ будку на четверенькахъ, усълся поудобнъе, прислонилъ ружье къ стволу и сталъ оглядываться.

Прямо передо мною тянулись ровныя сѣрыя широкія грядки прошлогодней нивы (въ борозды между этими грядами я все и проваливался, когда шелъ за Талимономъ). Востокъ уже началъ розовѣть. Деревья и кусты вырисовывались блѣдными, неясными, однотонными пятнами. Къ смолистому крѣпкому запаху сосновыхъ вѣтвей, изъ которыхъ была сдѣлана моя будка, пріятно примѣшивался запахъ утренней, сыроватой свѣжести. Пахла и молодая травка, сѣрая отъросы...

Гдѣ-то очень близко — мнѣ показалось, что надъ самой моей головой — робко чирикнула птичка, ей отвѣтила другая, третья... Въ лѣсу пронзительно захохотала сова, и ея крикъ звучно и рѣзко пронесся между деревьевъ. Утка пролетѣла стороной, и долго не смолкало ея кряканье, все тише и тише доносясь до меня. Высоко на деревьяхъ томно застонали дикіе голуби.

Вдругъ совсѣмъ около меня, на землѣ, раздалось громкое хлопанье крѣпкихъ крыльевъ. Я невольно вздрогнулъ. Не далѣе, какъ въ шагѣ отъ моей будки, упалъ тетеревъ; если бы я протянулъ руку, я могъ бы дотронуться до того мѣста, гдѣ онъ опустился. Весь черный, съ красными мясистыми бровями и короткимъ острымъ клювомъ, онъ стоялъ неподвижно, какъ каменный, показываясь мнѣ всѣмъ своимъ стройнымъ, красивымъ профилемъ. Его блестящій черный глазокъ тревожно и зорко заглядывалъ въ будку. Я затаилъ дыханіе и замеръ, не отводя отъ него глазъ. Но тетеревъ уже замѣтилъ меня. Онъ вдругъ поднялся и, громко хлопая крыльями, полетѣлъ низко надъ землею.

«Ну, пропала сегодня охота», — подумалъ я съ досадой, но въ ту же секунду съ двухъ сторонъ — впереди меня и справа — такъ же громко и коротко захлопали крылья. Нъсколько минутъ оба тетерева мол-

чали, должно-быть, внимательно оглядываясь кругомъ и прислушиваясь. Но вотъ одинъ изъ нихъ, тотъ, что упалъ справа, издалъ громкій боевой крикъ: «чу! чшшш...» — странный звукъ, который трудно передать, похожій отчасти на испорченный, осипшій пътушиный крикъ, отчасти на шипѣніе, а также на свистъ ножа подъ колесомъ точильщика. «Чу! чшшш...» — тотчасъ же отозвался другой. Какъ мнѣ ни хотѣлось увидѣть самихъ тетеревовъ, но я боялся пошевелиться и только слушалъ.

Такъ они перекликнулись нѣсколько разъ. Вдругъ первый, закричавъ особенно задорно и громко, подпрыгнулъ вверхъ и забилъ крыльями; то же самое немедленно сдѣлалъ и второй. Самцы подходили одинъ къ другому все ближе и ближе, возбуждая себя передъ битвой воинственными криками...

Но, еще не сойдясь, они оба сердито заболботали: совсъмъ какъ индюки, только нъжнъе, продолжительнъе и не такъ отрывисто. Иногда они прерывали свое болботаніе, чтобы закричать и перелетъть поближе къ противнику. Я осторожно, стараясь не шумъть одеждой, повернулся и сталъ всматриваться сквозь просвъты вътвей.

Сначала я увидълъ только одного. До него было не больше тридцати шаговъ. Онъ токовалъ, вытянувъ надъ самой землей шею, и медленно, плавно поворачивался то въ одну, то въ другую сторону. Когда онъ становился ко мнѣ задомъ, я видълъ только изнанку его поднятаго вверхъ хвоста, похожую на развернутый бѣлый пушистый вѣеръ. Скоро я увидѣлъ и другого: онъ токовалъ отъ перваго шагахъ въ десяти, такъ же сердито и плавно топчась на мѣстѣ. Иногда оба они, одинъ вслѣдъ за другимъ, подымали свои головы и прямо и широко растопыривали крылья, что придавало имъ надутый, гнѣвный и комическій видъ.

Вдругъ недалеко отъ меня грянулъ оглушительный, точно пушечный выстрѣлъ. Эхо подхватило его, бросило въ лѣсъ, и онъ, разбившись отъ деревья на тысячи звуковъ, долго, то стихая, то усиливаясь, грохоталъ въ чистомъ утреннемъ воздухѣ. Оба тетерева, насторожившись, замерли на нѣсколько секундъ, но потомъ, закричавъ съ новымъ ожесточеніемъ, разомъ подпрыгнули вверхъ и съ такой силой ударились въ воздухѣ грудь объ грудь, что нѣсколько маленькихъ перышекъ полетѣло отъ нихъ въ разныя стороны. Упавъ на землю, тетерева опять принялись за свое сердитое болботанье.

Я осторожно просунулъ ружье между вътвями и, страшно волнуясь, слыша ускоренное біеніе своего сердца, сталъ цълить. Одна хвоинка закрывала мнъ мушку. Едва переводя дыханіе, я отщипнулъ ее, сълъ поудобнъе и приложился... Выстрълъ вышелъ неожиданный и очень громкій. За облакомъ дыма я ничего не могъ разсмотръть, но уже услышалъ судорожное хлопанье крыльевъ и зналъ, что не промахнулся. Дъйствительно, когда дымъ разсъялся, я увидалъ тетерева; онъ свалился въ борозду и лежалъ въ ней неподвижной черной грудкой. Противникъ его не сорвался, онъ только застылъ на мъстъ въ чуткой и недоумъвающей позъ. Принимая ружье, я нечаянно произвелъ едва слышный шорохъ. Тетеревъ испуганно поднялся и быстро полетълъ по направленію къ лъсу.

Вокругъ меня со всѣхъ сторонъ еще токовали невидимые мнѣ тетерева, но все тише, все слабѣе. Наступало затишье, которое бываетъ всегда между первымъ и вторымъ токомъ... Заря разгорѣлась въ полъ-неба. Солнца еще не было видно, но верхушки высокихъ деревьевъ уже подернулись точно золотой пылью...

Черезъ часъ мы возвращались домой. Талимонъ, который стрълялъ два раза — одинъ разъ передо мною, а другой во время второго тока — убилъ двухъ тетеревовъ, я одного, а сотскій возвращался съ пустыми руками и потому замѣтно дулся и не хотълъ глядѣть на дичь. Талимонъ изъ крыльевъ каждой птицы выдернулъ по два пера, просунулъ ихъ толстыми концами въ носовыя отверстія тетеревовъ, тонкіе концы связалъ, и несъ такимъ образомъ дичь какъ бы на петляхъ.

Намъ оставалось до деревни не болъе полуверсты, и мы подходили уже къ большому деревянному кресту, стоявшему на пересъчении зуленской и печаловской дорогъ. Эти кресты, съ прибитыми на верху ихъ, сдъланными изъ дерева орудіями страданій Христовыхъ копьемъ, лъстницей, молоткомъ и тридцатью сребрениками — всегда можно увидъть на перекресткахъ полъсскихъ дорогъ. Снизу на эти кресты молодицы и дъвки въшаютъ сшитые ими по объту пестрые фартуки и полотенца, что придаетъ кресту своеобразный — дикій и живописный видъ.

Когда мы поровнялись съ крестомъ, то всѣ трое замѣтили фигуру какого-то человѣка, бѣжавшаго намъ навстрѣчу изъ деревни. Талимонъ своимъ зоркимъ глазомъ первый узналъ его и сказалъ, обращаясь къ сотскому:

— Это вашъ Грицко бѣжитъ, сотникъ.

Дъйствительно, это былъ Грицко, сынъ сотскаго, малый лътъ восемнадцати, уже женатый, большой весельчакъ, въчно скалившій свои огромные бълые, какъ у молодой собаки, зубы.

- Тату! Тату! закричалъ онъ еще на ходу. Бъжите скоръй... у насъ на селъ бъда!..
- Что тамъ за бъда? недовольнымъ голосомъ отозвался сотскій. Яка така бъда?...

Грицко добѣжалъ до насъ и продолжалъ, съ трудомъ переводя духъ:

— Великая бѣда, тату... чоловикъ одинъ... жинку свою убилъ...

Мы переглянулись, и одна и та же мысль мелькнула у насъ въ глазахъ. Мнъ показалось, что Талимонъ поблъднълъ.

- Атъ! Что ты брешешь! воскликнулъ сотскій, дълая строгое и важное начальническое лицо. Какой чоловикъ? Когда убилъ? ...
 - Александръ, тату, Ониськинъ чоловикъ...
- Да когда? Когда, я тебя спрашиваю? закричалъ сотскій. Онъ прибавилъ шагу, и Грицко едва поспѣвалъ за нимъ, пускаясь по временамъ вприпрыжку. Мы съ Талимономъ тоже пошли скорѣе.
- Ахъ, Боже мой, Боже жъ мой, растерянно причиталъ Грицко. Вотъ только, только и часу не будетъ... Самъ пришелъ подъ хату къ Кузьмъ Борійчуку, вызвалъ Кузьму и каже: вяжите меня, бо я свою жинку забилъ геть до смерти!.. съкирой... Я и Ониську бачилъ, тату... Ку-у-да!.. Вже и не дышитъ... Мозги вывалились... Люди говорятъ, что онъ фершала съ ней засталъ...

Подходя къ деревнѣ, мы еще издали увидали большую толпу, собравшуюся на монопольной лужайкѣ. Всѣ галдѣли разомъ и безъ толку. Бабы, подперши ладонью лѣвой руки щеку, а правой поддерживая лѣвую за локоть, стояли сзади мужиковъ, въ этихъ неизмѣнныхъ позахъ русскаго женскаго горя и всхлипывали.

При нашемъ приближеніи толпа разступилась на объ стороны, образовавъ родъ широкой дорожки. Въ серединъ круга на деревянномъ обрубкъ сидълъ Александръ. Онъ былъ безъ шапки, съ блъднымъ, испачканнымъ чъмъ-то темнымъ — можетъ-быть, даже кровью — лицомъ. Увидя насъ, онъ поднялъ голову и вдругъ

улыбнулся. Странная это была улыбка — мучительная, бользненная, невыносимо тяжелая... Я поспъшно прошелъ мимо, дальше отъ этой ненавистной мнъ толпы, которая всегда съ такой омерзительной жадностью слетается на кровь, на грязь и на падаль...

Уже подходя къ своей квартиръ, я слышалъ, какъсотскій безобразно оралъ пронзительнымъ начальническимъ фальцетомъ.

— Ты людей убивать, сукинъ сынъ! Я тебъ покажу, иродъ проклятый. Грицко, бъжи за веревками... Я т-тебъ покажу-у!..

на покоъ.



Когда единственный сынъ купца І-й гильдіи Нила Овсянникова, послъ долгихъ безпутныхъ скитаній изъ труппы въ труппу, умеръ отъ чахотки и пьянства въ наровчатской городской больницъ, то отецъ, не только отказывавшій сыну при его жизни въ помощи, но даже грозившій ему торжественнымъ проклятіемъ при отверстыхъ царскихъ вратахъ, основалъ въ годовщину его смерти «Убъжище для престарълыхъ и немошныхъ артистовъ, имени Алексъя Ниловича Овсянникова». Оттого ли, что учреждение это находилось въ глухомъ губернскомъ городъ, или по другимъ причинамъ, но жильцовъ въ немъ всегда бывало мало. Убъжище помъщалось въ опустъвшемъ барскомъ особнякъ, всъ комнаты котораго давнымъ-давно пришли въ ветхость, за исключеніемъ громадной залы съ паркетнымъ поломъ, венеціанскими окнами и бълыми, крашеными известкой, кривыми отъ времени колоннами. Въ этой залѣ и ютились осенью 1899-го года пятеро старыхъ, бездомныхъ актеровъ, загнанныхъ сюда нуждой и болфзнями.

Посрединъ залы стоялъ овальный объденный столъ, обтянутый желтой, подъ мраморъ, клеенкой, а у стънъ между колоннами размъщались кровати, и около каждой

по шкапчику, совершенно такъ же, какъ это заведено въ больницахъ и пансіонахъ. Венеціанскихъ оконъ никогда не отворяли, изъ боязни сквозняка, отъ этого въ комнатѣ прочно установился запахъ нечистоплотной, холостой старости, — запахъ застоявшагося табачнаго дыма, грязнаго бѣлья и больницы. Вверху, между стѣнами и потолкомъ, всегда висѣла сѣрая, пыльная бахрома прошлогодней паутины.

Лучшимъ мъстомъ считался уголъ около большой голландской печи, старинные изразцы которой были разрисованы синими тюльпанами. Здѣсь зимой бывало очень тепло, а широкая печь, отгораживая съ одной стороны кровать, придавала ей, до нѣкоторой степени, видъ отдъльнаго жилья. Въ этомъ привилегированномъ мѣстѣ устроился самый давній обитатель рованномъ мъстъ устроился самый давній обиватель; Овсянниковскаго дома, бывшій опереточный теноръ Лидинъ-Байдаровъ, слабоумный, тупой и необыкновенно спъсивый мужчина, съ трудомъ носившій на тонкихъ, изуродованныхъ подагрой ногахъ свое грузное и немощное тъло. Попавъ въ убъжище съ самаго дня его основанія, онъ держалъ себя въ немъ хозяиномъ и первый далъ тонъ сквернымъ анекдотамъ и циничнымъ ругательствамъ, никогда не прекращавшимся въ общихъ разговорахъ. Онъ же покрывалъ бълыя колонны залы и стънки уборной тъми гнусными рисунками и омерзительными изреченіями въ стихахъ и прозъ, на которые было неистощимо его бользненное воображение тайнаго эротомана.

По другую сторону печи, ближе къ окнамъ, помъщался бывшій суфлеръ Иванъ Степановичъ, — плѣшивый, беззубый, сморщенный старикашка. Въ былыя времена весь театральный міръ звалъ его фамильярно «Стаканычемъ»; это прозвище сохранилось за нимъ и въ убѣжищѣ. Стаканычъ былъ человѣкъ кроткій, на-

божный, сильно глуховатый на оба уха и, какъ всъ глухіе, застънчивый. Ежедневно, по нъскольку разъ, Лидинъ-Байдаровъ развлекался тъмъ, что, сохраняя на лицъ озабоченное выраженіе, говорилъ старому суфлеру издали всякія сальности, на что Стаканычъ улыбался ласковой смущенной улыбкой, торопливо кивалъ головой и отвъчалъ невпопадъ, къ великому удовольствію бывшаго опереточнаго премьера, которому эта шутка никогда не надоъдала.

Съ утра до вечера Стаканычъ мастерилъ изъ разноцвѣтныхъ бумажекъ, тонкой проволоки и бисера какіято удивительно хитрыя коробочки. Разъ или два въ годъ онъ отсылалъ ихъ партіями своему сыну Васѣ, служившему гдѣ-то въ уѣздномъ театрѣ, «на выходахъ». Если же онъ не клеилъ коробочекъ, то раскладывалъ на своей кровати пасьянсы, которыхъ зналъ чрезвычайно много.

По ту же сторону, но совсѣмъ у оконъ, обиталъ старый трагикъ Славяновъ-Райскій. Изо всѣхъ пятерыхъ онъ одинъ пользовался нѣкогда широкой и шумной извѣстностью. Въ продолженіе семи лѣтъ его имя, напечатанное въ афишахъ аршинными буквами, гремѣло по всѣмъ провинціальнымъ городамъ Россіи. Но черезъ годъ послѣ его угарнаго заката публика и печать сразу и совершенно позабыли о немъ. За кулисами, впрочемъ, старые актеры долго еще вспоминали о небывалыхъ и безумныхъ успѣхахъ его гастролей, о бѣшеныхъ деньгахъ, которыя онъ разбрасывалъ въ своихъ легендарныхъ кутежахъ, и о скандалахъ и дракахъ, которые онъ устраивалъ въ каждомъ городѣ.

Съ товарищами по общежитію Славяновъ-Райскій держался надменно и былъ презрительно неразговорчивъ. По цълымъ днямъ онъ лежалъ на кровати, молчалъ и безъ перерыва курилъ огромныя самодъльныя папиросы. Иногда же, внезапно вскочивъ, онъ прини-

мался ходить взадъ и впередъ по залѣ, отъ оконъ къ дверямъ и обратно, мелкими и быстрыми шагами. И во время этой лихорадочной бѣготни онъ дѣлалъ руками передъ лицомъ короткія негодующія движенія и отрывисто бормоталъ непонятныя фразы...

Напротивъ стояла кровать «дѣдушки», котораго, такъ же, какъ и Стаканыча, весь актерскій міръ зналъ больше по этому прозвищу, чъмъ по фамиліи. Уже цѣлыхъ три мѣсяца дѣдушка не вставалъ съ постели и. обросшій бълыми мягкими длинными волосами, лежалъ изсохшій и благообразный, напоминая въ своей бізлой рубашкѣ иконописное изображеніе отходящаго угодника. Онъ говорилъ мало, съ передышками, глухимъ и тонкимъ старческимъ голосомъ и съ такимъ трудомъ. какъ будто бы стоналъ на каждомъ словъ. У него болъла грудь, но кашлять по-настоящему ему было трудно, и онъ только кряхтълъ слабо и жалобно. Дъдушка былъ очень старъ, въроятно, старше всъхъ современныхъ русскихъ актеровъ. Въ прежнее же время онъ былъ извъстенъ во многихъ труппахъ, какъ хорошій актеръ на амплуа резонеровъ и дѣльный, грамотный режиссеръ.

Пятымъ и послъднимъ обитателемъ убъжища былъ комическій актеръ Михаленко, — раздутый водянкой, задыхающійся отъ астмы циникъ. Хрипя, еле переводя дыханіе, съ трудомъ выжимая изъ своей оплывшей груди слова, онъ, едва проснувшись, принимался браниться съ къмъ-нибудь изъ сосъдей и прекращалъ это занятіе, только ложась вечеромъ въ постель. Языкъ у него былъ острый, злой и безпощадно, по-актерски, грубый. Въ немъ въчно кипъла завистливая, истерическая злоба, заставлявшая его интриговать, сплетничать и писать на своихъ товарищей нелъпые анонимные доносы попечителямъ убъжища. Въ сквернословіи Михаленко состязался съ Лидинымъ-Байдаровымъ, уступая

опереточному тенору въ изумительной способности изобрѣтать и сплетать между собою самыя невѣроятныя гнусности, но превосходя его злой и мѣткой язвительностью. Живая память сохранила ему неизсякаемый запасъ мерзостей закулисной жизни: любовныхъ связей, скандаловъ, дракъ, неудачъ и преступленій. Ссорясь съ сосѣдями онъ умѣлъ извлекать изъ ихъ театральнаго прошлаго наиболѣе постыдныя, наиболѣе чувствительныя страницы и такъ разрисовывалъ ихъ своимъ беззастѣнчивымъ юморомъ, что за нимъ всегда оставалось послѣднее слово. Одинъ глазъ у него былъ вставной, тусклый, маленькій и слезливый, зато здоровый огромный голубымъ шаромъ вылѣзалъ изъ своей орбиты и всегда носилъ разгнѣванное выраженіе.

Жизнь въ убѣжищѣ текла однообразно и скучно. Просыпались актеры очень рано, зимою задолго до свѣта, и тотчасъ же, въ ожиданіи чая, еще не умывшись, принимались курить. Со сна всѣ чувствовали себя злыми и обезсилѣвшими и кашляли утреннимъ старческимъ, давящимся кашлемъ. И такъ какъ въ этой убогой жизни неизмѣнно повторялись не только дни, но и слова и жесты, то всякій заранѣе ждалъ, что Михаленко, задыхаясь и откашливаясь, непремѣнно скажетъ старую остроту:

— Вотъ это настоящій акцизный кашель!..

А дѣдушка, знавшій когда-то иностранные языки и до сихъ поръ не упускавшій случая хвастнуть этимъ, прибавлялъ своимъ стонущимъ фальцетомъ:

— Bierhusten. Это у нъмцевъ называется Bierhusten. Пивной кашель...

Потомъ служившій при убѣжищѣ отставной николаевскій солдатъ Тихонъ приносилъ кипятокъ и неизмѣнныя сайки. Актеры заваривали чайники и уносили ихъ къ своимъ столикамъ. Пили чай очень долго и по многу, пили съ кряхтѣньемъ и вздохами, но молча. Послѣ чая разсказывали сны и толковали ихъ: видѣть рѣку означало близкую дорогу, вши и грязь предвъщали неожиданныя деньги, мертвецъ — дурную погоду. Сновидѣнья Лидина-Байдарова всегда заключали въ себъ какую-нибудь сладострастную пакость. Затъмъ шло на цълый день лежанье на грязныхъ, всклоченныхъ постеляхъ съ неприбранными, засаленными одъядами. Отъ скуки и бездълья курили страшно много. Иногда посылали Тихона за газетой, но читали ее только двое: Михаленко, ревниво следившій до сихъ поръ за именами бывшихъ товарищей по сценъ, и Стаканычъ, котораго больше всего интересовали описанія грабежей, столкновеній потздовъ и военныхъ парадовъ. Дъдушка плохо видълъ и потому просилъ изръдка почитать себъ вслухъ. Но изъ этого мало выходило толку: беззубый суфлеръ шепелявилъ, брызгалъ слюной, и у него нельзя было разобрать ни слова, а Михаленко, читая, придълывалъ къ каждой фразъ такія непристойныя окончанія, что дъдушка въ концъ концовъ махалъ рукою и говорилъ сердито:

— Ну, пошелъ врать, дуракъ. Эка мелетъ мелево!.. Уходи, не хочу слушать.

Разговаривали рѣдко, но подолгу, и всегда кончали ссорой и уличали другъ друга въ лганьѣ. Въ большомъ ходу были анекдоты, при чемъ у каждаго обозначалась своя область... Стаканычъ, который происходилъ изъ духовнаго званія, умѣлъ разсказывать про семинаристовъ, поповъ и архіереевъ; Михаленко былъ неистощимъ въ закулисныхъ исторіяхъ и помнилъ наизусть безчисленное множество неприличныхъ стихотворныхъ эпиграммъ, приписываемыхъ Ленскому, Милославскому, Каратыгину и другимъ актерамъ; Байдаровъ говорилъ противоестественныя и совершенно нелѣпыя гадости о женщинахъ. Впрочемъ, на послѣднюю тему всѣ они, не исключая набожнаго Стаканыча и не встававшаго

съ постели дъдушки, любили поговорить, и ихъ собственное безсиліе, ихъ физическая и душевная немощь придавали этимъ разговорамъ уродливый и страшный характеръ. Ни разу, хотя бы случайно, ни одинъ изъ нихъ не помянулъ приличнымъ словомъ женщину, какъ мать, жену или сестру; женщина была въ ихъ представленіи исключительно самкой, — красивымъ, лукавымъ и безобразно-похотливымъ животнымъ.

Иногда актеры вспоминали и свои собственныя театральныя приключенія. Михаленко называль это кислыми разсказами изъ прежней жизни». И, сами не замѣчая, они передавали одинъ и тотъ же эпизодъ по нѣскольку разъ, въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ, съ одинаковыми жестами и интонаціями; даже цѣплялись у нихъ анекдоты и кислые разсказы одинъ за другой все въ гомъ же порядкѣ, по однѣмъ и тѣмъ же ассоціаціямъ мыслей. Отъ этого часто случалось, что проговоривъ часъ или два подъ рядъ, актеры вдругъ ощущали вмѣстѣ съ усталостью и скукой чувство нестерпимаго отвращенія къ самимъ себѣ и къ своимъ сожителямъ.

Для нихъ не было ничего святого. Всѣ они, не переставая, богохульствовали, и даже полумертвый дѣдушка любилъ разсказывать очень длинный и запутанный анекдотъ, гдѣ Авраамъ и три странника у дуба Мамврійскаго играли въ карты и совершали разныя неприличныя вещи. Но по ночамъ, во время тоскливой старческой безсонницы, когда такъ назойливо лѣзли въ голову мысли о безтолково прожженной жизни, о собственномъ немощномъ одиночествѣ, о близкой смерти, — актеры горячо и трусливо вѣровали въ Бога, и въ ангеловъ-хранителей, и въ святыхъ чудотворцевъ, и крестились тайкомъ подъ одѣяломъ и шептали дикія, импровизированныя молитвы. Утромъ вмѣстѣ съ ночными страхами проходила и вѣра. Одинъ только Ста-

канычъ былъ сдержаннѣе и послѣдовательнѣе другихъ. Онъ даже пробовалъ кое-когда, вставши съ постели, торопливо, украдкой, креститься на образъ, но каждый разъ ему мѣшалъ Михаленко, который, стоя за нимъ, шутовски кланялся, размахивалъ правой рукой, какъ будто въ ней было кадило, и хриплымъ дьячковскимъ басомъ вытягивалъ:

— Паки и паки, съъли попа собаки, если бы не дьячки, разорвали бы въ клочки...

Въ два часа актеры объдали и за объдомъ неизмѣнно ругали непечатной бранью основателя убѣжища, купца І-й гильдіи Овсянникова. Прислуживалъ имъ все тотъ же солдатъ Тихонъ; его огорчало, что господа говорятъ за столомъ гадости, и иногда онъ пробовалъ остановить Михаленку, который былъ на языкъ невоздержаннѣе прочихъ:

— Не выражались бы вы, господинъ Михаленко. Кажется, образованный человѣкъ, а такія послѣднія слова за хлѣбомъ-солью... Совсѣмъ даже некрасиво.

Послѣ обѣда актеры спали тяжелымъ, нездоровымъ сномъ, съ храпъньемъ и стонами, спали очень долго, часа по четыре, и просыпались только къ вечернему чаю, съ налитыми кровью глазами, со сквернымъ вкусомъ во рту, съ шумомъ въ ушахъ и съ вялымъ тѣломъ. Во время сна они отлеживали себъ руки, ноги и даже головы и, вставши съ кроватей, шатались, какъ пьяные, и долго не могли сообразить, утро теперь или вечеръ. Послъ чая опять лежали, курили и разсказывали анекдоты. Часто играли въ карты, - въ пикетъ и въ шестьдесятъ шесть, - и непремънно на деньги, а проигрышъ приписывали къ старымъ карточнымъ долгамъ, которые иногда достигали десятковъ тысячь рублей. Удивительные всего было то, что всы они не переставали върить въ свое будущее: пройдетъ сама собою бользнь, подвернется ангажементь, найдутся старые товарищи, и опять начнется веселая, пряная актерская жизнь. Поэтому-то они и хранили, какъ святыню, въ глубинъ своихъ спальныхъ шкапчиковъ старыя афиши и газетныя выръзки, на которыхъ стояли ихъ имена.

Въ 8 часовъ подавали ужинъ, состоявшій изъ разогрътыхъ остатковъ отъ объда. Тотчасъ же послъ ужина актеры разд'ввались и укладывались спать. Но засыпали не скоро. Долго всв пятеро ворочались на своихъ кроватяхъ, и это было самое мучительное время сутокъ. Сильнъе давали о себъ знать старыя, запущенныя болъзни, нельзя было отогнать печальныхъ и ядовитыхъ мыслей о прошломъ, оскорбительнъе чувствовалось убожество настоящей жизни. Но страшнъе всего было думать о томъ, что, быть-можетъ, одинъ изъ состдей тихо, незамттно ни для кого, уже умеръ среди этой ночи и будетъ лежать до самаго утра молчаливый, таинственный, ужасный. И актеры по нъскольку разъ въ ночь окликали другъ друга, спрашивая дрожащими и кроткими голосами, который часъ, или прося одолжить спичку. И долго, долго, до ранняго свъта, слышались въ большой комнатъ, вмъстъ съ трескомъ разсыхающагося паркета, старческіе вздохи, невнятный бредъ, глухое покашливаніе и торопливый шопотъ...

И такъ тянулось изо дня въ день сърое, мелочное существованіе этихъ людей, когда-то жадно объъдавшихся жизнью. Пріятно разнообразилось оно хожденіемъ въ городъ, но это удовольствіе было сравнительно очень ръдкимъ, потому что деньги почти никогда не водились въ убъжищъ, а безъ денегъ не стоило и выходить за ворота. Безъ денегъ нельзя было ни купить табаку, ни прокатиться на извозчикъ, ни зайти къ дешевой раскрашенной проституткъ, ни посидъть часокъ-другой въ излюбленномъ ресторанъ, который

болће всего притягиваетъ къ себћ бродяжническіе вкусы старыхъ актеровъ.

H.

14 сентября, въ праздникъ Воздвиженія, въ убъжищъ остались только двое жильцовъ: суфлеръ Стаканычъ и дѣдушка. Остальные ушли съ утра въ городъ. Михаленко принималъ участіе въ какомъ-то утреннемъ спектаклѣ (онъ время отъ времени добивался для себя такихъ приглашеній отъ бывшихъ товарищей по сценъ). Поэтому онъ еще за два дня началъ низко и безъ всякой мъры льстить Лидину-Байдарову, превознося его замѣчательный голосъ и поразительные успъхи у женщинъ, и въ концъ концовъ выпросилъ у опереточнаго премьера бумажный воротничокъ и манжеты, бывшіе всего разъ въ употребленіи, а также красный, заношенный до лоска галстукъ. Самъ Байдаровъ по большимъ праздникамъ ходилъ объдать въ знакомое купеческое семейство, гдъ его снабжали коекакимъ застираннымъ и перештопаннымъ бъльишкомъ, папиросами, мелкими деньгами и кирпичнымъ чаемъ. Впрочемъ, эти унизительныя подробности своихъ праздничныхъ визитовъ онъ скрывалъ отъ товарищей, отчасти изъ боязни насмѣшекъ, а отчасти изъ скупости, такъ какъ онъ очень не любилъ, если у него просили взаймы. Что касается Славянова-Райскаго, то онъ наканунъ получилъ субсидію изъ театральнаго фонда и теперь отправился въ городъ съ единственной цѣлью провести весь день въ излюбленномъ трактирчикъ, носившемъ библейское названіе «Капернаумъ», и вернуться въ убъжище совершенно пьянымъ.

Дѣдушка лежалъ, сложивъ на животѣ и сцѣпивъ одну съ другой большія исхудалыя руки съ коричневой кожей и рѣзко выступающими наружу костяжками. Весь бѣлый, съ бѣлыми волосами, неподвижный и благообразный, онъ теперь болѣе чѣмъ когда-либо походилъ на святого старца, готовящагося къ праведной кончинѣ. Его блѣдно-сѣрые, выцвѣтшіе глаза были упорно устремлены въ широкое венеціанское окно, гдѣ на густой осенней синевѣ неба медленно раскачивалась, вся озаренная солнцемъ, золотая круглая верхушка липы. Даже здѣсь, въ душной, пропитанной тяжелымъ запахомъ, комнатѣ, чувствовалось, что тамъ, за окномъ, стоитъ бодрый и холодный осенній день, сіяетъ яркое, но не грѣющее солнце и тянетъ крѣпкимъ ароматомъ увядающаго листа.

Стаканычъ, сидя на кровати по-турецки, раскладывалъ на одъялъ старыми, почернъвшими и распухшими отъ времени картами одинъ изъ самыхъ длинныхъ своихъ пасьянсовъ, — «двѣнадцать спящихъ дѣвъ», который онъ, изъ уваженія къ его сложности и числовому наименованію, раскладывалъ только по двунадесятымъпраздникамъ. Видъ у Стаканыча былъ сосредоточенный. Онъ то подымалъ вверхъ брови, морща дряблую кожу на лбу въ длинныя, волнообразныя складки, то опускалъихъ внизъ и сдвигалъ вмѣстѣ, отчего надъ переносьемъ появлялась короткая, прямая, озабоченная морщинка. Когда же онъ муслилъ во рту палецъ, чтобы взять съ колоды карту, отъ которой пахло стекольной замазкой, и въ то же время задумчиво пробѣгалъ прищуренными глазами пасьянсъ, то его губы круглились, какъ будто онъ собирался свистать.

[—] Иванъ Степанычъ, поди-ка, братецъ, ко мнѣ, — позвалъ вдругъ дѣдушка своимъ тонкимъ старческимъ голосомъ.

- A? Ты меня, что ли, дѣдушка? обернулся суфлеръ.
 - Поди, говорю, на минуточку. Поговорить хочу.
- Сейчасъ, сейчасъ, дѣдушка, дай только рядъ докончу. Ну вотъ, и вся недолга̀.

Стаканычъ перешелъ на кровать дѣдушки и усѣлся у него въ ногахъ. Старикъ опять посмотрѣлъ въ окно на густое, синее, спокойное небо, потомъ пошевелилъ сложенными на животѣ пальцами и длинно вздохнулъ.

- Ну, что, дъдушка, скажешь? осторожно спросилъ Стаканычъ, слегка похлопывая старика по большой ступнъ, которая горбомъ выпячивалась подъ одъяломъ.
- Вотъ что, Стаканычъ... Дъдушка перевелъ глаза на суфлера, но глядълъ на него такъ равнодушно, какъ будто бы разглядывалъ что-то сквозь него. Вотъ какую я тебъ исторію скажу. Видълъ я сегодня во снъ Машутку, свою внучку... Есть, братъ, у меня такая внучка въ Ростовъ-на-Дону, Марьей ее зовутъ. Она портниха...
- Портниха? озабоченно спросилъ Стаканычъ. Портнихъ видъть не знаю, что значитъ. А вотъ иголку съ ниткой или вообще шить что-нибудь, это непремънно къ дорогъ...
- Къ дорогѣ, такъ къ дорогѣ. Оно такъ, пожалуй, и выходитъ, что къ дальней дорогѣ... Но очень бы мнѣ хотѣлось ее еще разъ повидать передъ тѣмъ, какъ закончу земныя гастроли.
- Что кончу? переспросилъ Стаканычъ, приставивъ ладонь рупоромъ къ уху.
- Аберъ глупости... ничего. У дѣдушки было любимое словцо «аберъ», которое онъ безъ нужды соваль въ свою рѣчь. Потомъ глядѣлъ я все на небо. Осень теперь, Стаканычъ, и воздухъ на дворѣ, какъвино... Прежде, бывало, въ такіе ядреные дни все куда-то тянуло... на мѣстѣ не усидишь... Бывало,

нюхаешь-нюхаешь воздухъ, да ни съ того ни съ сего и закатишь изъ Ярославля въ Одессу.

- Изъ Вологды въ Керчь, подсказалъ Стаканычъ, вспомнивъ, по суфлерской привычкъ, слова изъ старой пьесы.
- Чушь! съ усиліемъ поморщился дѣдушка. Аберъ... я думалъ, что прошло ужъ это у меня. Но, какъ сегодня съ утра поглядѣлъ туда, дѣдушка медленно перевелъ глаза на окно: такъ и сталъ собираться. Выражаясь высокимъ штилемъ, вижу, что мое земное турне окончено. Но... все равно.
- Что за мысли, дъдушка! разсудительнымъ баскомъ перебилъ Стаканычъ и развелъ руки съ растопыренными пальцами. Просто напустилъ ты на себя мехлюзію. Еще на наши могилки пескомъ посыплешь.
- Нѣ-ѣтъ, братъ... Вижу, что довольно. Поигралъ пятакомъ, да и за щеку, какъ говорили у насъ въ Орлѣ уличные мальчишки. Аберъ ты постой, Стаканычъ, не егози, остановилъ онъ рукой суфлера. Мнѣ, братъ, это все равно...
- И не боишься, дъдушка? спросилъ вдругъ неожиданно для самого себя съ жаднымъ любопытствомъ Стаканычъ.
- Ни чуточки. Наплевать! .. Гнусно мы съ тобой, братецъ, нашу жизнь прошлепали! Это вотъ плохо. . . А бояться чего же? «Таковъ нашъ жребій, всѣхъ живущихъ умирать». Ты не думай, Стаканычъ, и тебѣ не долго ждать своей очереди.

Дѣдушка говорилъ эти страшныя слова со своими обычными передышками, такимъ слабымъ и безучастнымъ голосомъ, съ такимъ равнодушнымъ выраженіемъ усталыхъ, запавшихъ глазъ, что казалось, будто внутри его говорила старая, испорченная машина.

— Такъ-то вотъ, Стаканычъ. Рожденіе человъка — случайность, а смерть — законъ. Но ты былъ все-таки

добрый малый и самый замѣчательный изъ суфлеровъ, какихъ я только встрѣчалъ въ своей большой и дурацкой жизни. Знакомы мы съ тобой безъ малаго лѣтъ сто, и никогда ты не былъ противъ меня жуликомъ. Поэтому я хочу тебѣ сдѣлать презентъ. Возьми, братъ, себѣ на память портсигаръ... вотъ онъ на столикѣ... бери, бери, не стѣсняйся... Портсигаръ хорошій, черепаховый... теперь такихъ больше не дѣлаютъ. Антикъ. Была на немъ даже золотая монограмма, аберъ украли гдъ-то, а то, можетъ-быть, я и самъ ее потерялъ, или того... какъ его... продалъ. Возьми, Стаканычъ.

- Спасибо, дѣдушка. . . Только напрасно ты все это. . .
- Ну, ну, ну, чего тамъ!.. Въ немъ еще лежитъ мундштукъ пѣнковый. И мундштукъ возьми. Хорошій мундштукъ, обкуренный...

Стаканычъ вынулъ мундштукъ, повертѣлъ его и вздохнулъ.

- Спасибо, дѣдушка. Штучка великолѣпная. А у меня вотъ былъ тесть-брандмейстеръ, знаешь, стараго закала человѣкъ, изъ кантонистовъ. Такъ онъ давалъ пѣнки обкуривать своимъ пожарнымъ. Совсѣмъ черныя лѣлались.
- Очень просто, равнодушно согласился дѣдушка. Такъ бери, Стаканычъ, и мундштукъ. Всетаки когда-никогда вспомнишь товарища. А вотъ только о чемъ я тебя попрошу. Тутъ останется послѣ меня разная хурда-мурда... одѣялишко, подушки и изъплатья кое-что... Конечно, рухлядь, аберъ на худой конецъ все рублей пятнадцать дадутъ.
 - Да? выжидательно произнесъ суфлеръ.
- Жду я, видишь, не пріѣдеть ли внучка. Писала она мнѣ письмо. Такъ отдашь ей. Путь не близкій, большихъ денегъ стоитъ.

Оба помолчали. Дѣдушка поигралъ пальцами по одѣялу и протянулъ суфлеру руку.

- Ну, а теперь того... прощай, Стаканычь. Полежу, подумаю...
- Священника бы? неръшительно предложилъ Стаканычъ.
- Аберъ... оставь. Былъ у насъ въ Крыжополъ парикмахеръ Теофиль... изъ хохловъ. Такъ онъ все говорилъ: обойдется цыганское веселье безъ марцыпановъ. Чудакъ былъ человъкъ. Смъшно мнъ всегда это бывало, Стаканычъ, что какъ ни парикмахеръ, такъ самый строгій театральный критикъ... Эхъ, Стаканычъ, помнишь Тамбовъ? Конскія ярмарки? Смольскую? Гусаровъ? Много, братъ, мы съ тобой пережили, аберъ все впустую, и все это мнъ теперь кажется, точно старая-престарая повъсть... Ну, иди, иди, братъ...

Стаканычъ пожалъ его холодную, негнущуюся большую руку и, вернувшись на свою кровать, сълъ за прерванный пасьянсъ. И до самаго объда оба старика не произнесли больше ни слова, и въ комнатъ стояла такая, по-осеннему, ясная, задумчивая и грустная тишина, что обманутыя ею мыши; которыхъ пропасть водилось въ старомъ домъ, много разъ пугливо и нагло выбъгали изъ своего подполья на середину комнаты и, блестя черными глазенками, суетливо подбирали разсыпанныя вокругъ стола хлъбныя крошки.

Ш.

Передъ объдомъ пришли столкнувшіеся на подъъздъ Михаленко и Лидинъ-Байдаровъ. У опереточнаго премьера торчалъ подъ мышкой красный платочекъ, въ который были завязаны какіе-то припасы. Михаленко же вернулся въ убъжище злой и усталый. Ему не за-

275

платили объщанной за спектакль платы, а такъ какъ свои деньги онъ оставилъ въ театральномъ буфетъ, то ему и пришлось возвращаться черезъ весь городъ пъшкомъ. Войдя въ залу, онъ съ силою швырнулъ свою шляпу-котелокъ о полъ, цинично и длинно выругался и повалился на кровать. Онъ задыхался; его жирное лицо было блъдно, единственный глазъ выкатился наружу съ выраженіемъ ненависти, а отвисшія щеки блестъли отъ пота. Безпредметная злоба, сдавливавшая ему горло и разливавшаяся горечью во рту, искала какого-нибудь выхода. Онъ увидълъ на шкапчикъ у Лидина-Байдарова свою мъдную машинку для папиросъ и тотчасъ же придрался къ этому.

- Послушай ты, старый павіанъ, надо раньше спрашиваться, когда берешь чужую собственность. Подай сюда машинку, сказалъ Михаленко.
- Какую тамъ еще машинку? надменно и въ носъ спросилъ Лидинъ-Байдаровъ. Вотъ тебѣ твоя машинка, подавись!
- Прошу не швыряться чужими вещами, которыя вы украли! закричалъ Михаленко страшнымъ голосомъ и быстро сълъ на кровати. Глазъ его еще больше вылъзъ изъ орбиты, а дряблыя щеки запрыгали. Вы мерзавецъ! Я знаю васъ, вамъ не въ первый разъ присваивать чужое. Вы въ Перми свели изъ гостиницы чужую собаку и сидъли за это въ тюрьмъ. Арестантъ вы!

Отъ злости, болѣзни и усталости у него не хватало въ груди воздуха, и концы фразъ онъ выдавливалъ изъ груди хрипящимъ и кашляющимъ шопотомъ.

Байдаровъ обидълся. Обычная спъсивая манера покинула его, и онъ визгливо закричалъ, брызгая отъ торопливости слюнями:

— A я васъ попрошу, господинъ Михаленко, немедленно возвратить мнъ взятые у меня манжеты и галстукъ. И десять штукъ папиросъ, которыя вы мнѣ должны. X-ха! Нечего сказать, хорошъ драматическій актеръ: никогда своего табаку не имѣетъ. Потерянная личность!..

- Молчите, старый дуракъ. Я вамъ размозжу голову первымъ попавшимся предметомъ! захрипълъ Михаленко, хватаясь за спинку стула и тряся имъ. Я могу быть страшенъ, чортъ возъми!..
- Ак-теръ! язвилъ тономъ театральнаго презрѣнія Лидинъ-Байдаровъ. Вы на ярмаркахъ карликовъ представляли.
- А вы воръ! Вы въ Иркутскъ свистнули изъ уборной у Вилламова серебряный вънокъ и потомъ поднесли его сами себъ въ бенефисъ. Низкій, слюнявый субъектъ!

Они ругались долго и ожесточенно, ругались до тъхъ поръ, пока самыя безобразныя слова не потеряли своего смысла и перестали быть обидными. И самое нельпое въ этой руготнь было то, что они съ обычнаго актерскаго «ты» перешли для большей язвительности на «вы», и это въжливое и встоимъніе смъшно и дико звучало рядомъ съ бранными выраженіями кабаковъ и базаровъ. Потомъ, уставши, они стали браниться лѣнив ве, съ большими перерывами, подобно тому, какъ ворчатъ, постепенно затихая, но все-таки огрызаясь время отъ времени, окончившія драку собаки. Но изъ Михаленки не успъло еще выкипъть безсильное, старческое раздраженіе. Когда принесли объдъ, онъ сначала привязался къ Стаканычу за то, что тотъ взялъ стулъ, который Михаленко считалъ почему-то принадлежащимъ ему, а затъмъ напалъ на Тихона, разставлявшаго посуду.

— Ты, гарнизонная крыса, не мажь пальцами по тарелкъ. Ты думаешь, пріятно ъсть послъ твоихъ по-ганыхъ рукъ!

- Да развѣ я... Ахъ, Господи! обидѣлся Тихонъ. Откуда же у меня руки будутъ поганыя, когда я мылъ ихъ передъ обѣдомъ съ мыломъ?
- Знаю я тебя, кислая шерсть, продолжалъ ворчать Михаленко. Тоже подумаешь севастополецъ. Герой съ дырой... Севастополь-то вы свой за картошку продали... герои...

Тихонъ всегда довольно терпѣливо сносилъ крупную соль актерскихъ остротъ, но онъ никогда не прощалъ Михаленкѣ Севастополя и легендарной картошки. И теперь, побагровѣвъ отъ негодованія, съ дрожащими руками, онъ закричалъ плачущимъ и угрожающимъ голосомъ:

— А вы вотъ что, господинъ Михаленко! Если вы про Севастополь еще одно слово, я завтра же пойду къ смотрителю. Такъ и скажу, что житья мнѣ отъ васъ нѣтъ. Только пьянствуете и ругаетесь. Небось, какъ изъ богадѣльни васъ попросятъ, куда вы сунетесь? Одно останется: руку горсточкой протягивать.

Передъ объдомъ Стаканычъ готовилъ себъ салатъ изъ свеклы, огурцовъ и прованскаго масла. Всъ эти припасы принесъ ему Тихонъ, дружившій со старымъ суфлеромъ. Лидинъ-Байдаровъ жадно слъдилъ за стряпней Стаканыча и разговаривалъ о томъ, какой онъ замъчательный салатъ изобрълъ въ Екатеринбургъ.

- Стоялъ я тогда въ Европейской, говорилъ онъ, не отрывая глазъ отъ рукъ суфлера. Поваръ, понимаешь, французъ, шесть тысячъ жалованья въ годъ. Тамъ въдь на Уралъ, когда наъдутъ золотопромышленники, такіе кутежи идутъ... милліонами пахнетъ!..
- Все вы врете, актеръ Байдаровъ, вставилъ, прожевывая говядину, Михаленко.
- Убирайтесь къ чорту! Можете спросить кого угодно въ Екатеринбургъ, вамъ всякій подтвердитъ... Вотъ я этого француза и научилъ. Потомъ весь городъ

нарочно ѣздилъ въ гостиницу пробовать. Такъ и въменю стояло: салатъ а ла Лидинъ-Байдаровъ. Понимаешь: положить груздочковъ солененькихъ, нарѣзать тоненько крымское яблоко и одинъ помидорчикъ и накрошить туда головку лука, картофеля варенаго, свеклы и огурчиковъ. Потомъ все это, понимаешь, смѣшать, посолить, поперчить и полить уксусомъ съ прованскимъ масломъ, а сверху чуть-чуть посыпать мелкимъ сахаромъ. И къ этому еще подается въ соусникъ растопленное малороссійское сало; знаешь, чтобы въ немъ шкварки плавали и шипъли... Уд-дивительная вещь! — прошепталъ Байдаровъ, даже зажмурясь отъ удовольствія. — А ну-ка, Стаканычъ, дай-ка попробовать, что ты тамъ накулинарилъ?..

Дъдушка отказался отъ объда. Садясь за столъ, Михаленко и его задълъ ядовитымъ словомъ:

— Что, дѣдушка, помирать собрался? Пора бы ужъ, старикъ, пора; землей пахнешь. Тебѣ, чай, на томъ свѣтѣ давно провіантъ отпускаютъ.

Дѣдушка спокойно, безъ всякаго выраженія скользнулъ взглядомъ по Михаленкѣ, точно поглядѣлъ мимоходомъ на неодушевленный предметъ.

— Противный ты человѣкъ, Михаленко, — сказалъ онъ равнодушно.

Когда актеры кончили объдъ и Тихонъ принялся убирать со стола, дъдушка поманилъ его къ себъ рукой и спросилъ:

- А что, Тихонъ, обо мнв никто тамъ не справлялся?
- Гдѣ-съ, Николай Николаевичъ? изумился Тихонъ.
 - Говорю, не приходили ли ко мнъ?.. Дама одна...
 - Никакъ нѣтъ, никто не приходилъ.

Тихонъ отъ удивленія даже развелъ руками, нагруженными посудой.

— Аберъ... ты вотъ что, Тихонъ... Если я засну, или что, а тамъ придутъ ко мнъ, такъ ты меня того... разбуди. Барыня одна придетъ... внучка моя... Такъ ты разбуди...

Дъдушка слабо махнулъ рукой и отвернулся отъ Тихона. И до глубокой ночи онъ лежалъ молча, еле замътно двигая пальцами по одъялу и пристально, со строгой важностью глядя то въ противоположную стъну, то въ широкое венеціанское окно, за которымътихо и ярко горъла вечерняя заря.

А Михаленко съ Лидинымъ-Байдаровымъ послѣ обѣда, какъ ни въ чемъ не бывало, сѣли играть въ шестьдесятъ шесть. Но Михаленкѣ не везло и въ картахъ. Онъ проигралъ два съ полтиной, что вмѣстѣ со старымъ долгомъ составило круглую сумму въ двѣтысячи рублей. Это разсердило Михаленку. Онъ сталъпровѣрять записи партнера и кончилъ тѣмъ, что уличилъ его въ нечестной игрѣ. Актеры опять сцѣпились и въ продолженіе двухъ часовъ выдумывали другъ о другѣ самыя грязныя и неправдоподобныя исторіи.

IV.

Славяновъ-Райскій съ утра не покидалъ Капернаума. Стоя у прилавка, онъ держалъ рюмку двумя пальцами, оттопыривъ мизинецъ, и жирнымъ актерскимъ баритономъ благосклонно и въско бесъдовалъ съ козяиномъ о томъ, какъ идутъ дъла ресторана, и о старыхъ актерахъ, посъщавшихъ въ былыя времена изъ года въ годъ Кспернаумъ. Ресторанный воздухъ точно воскресилъ въ немъ ту наигранную, преувеличенную и манерную любезность, которой отличаются актеры внъ кулисъ, на глазахъ публики. Случалось, что кто-нибудь тянулся черезъ него къ стойкъ. Тогда

онъ учтиво и предупредительно отодвигался вбокъ, дълалъ свободной отъ рюмки рукой плавный, приглашающій жестъ и произносилъ великолъпнымъ тономъ театральнаго стараго барина:

— Тысячу извиненій... Пра-ашу васъ.

Уставъ стоять, онъ сълъ за ближайшій къ прилавку столикъ, облюбованный, по старой привычкъ, завсегдатаями Капернаума, и спросилъ газету. Ресторанъ быстро наполнялся. Сюда обыкновенно ходили, привлекаемые дешевизной и уютностью, студенты, мелкіе чиновники и приказчики. Скоро не осталось ни одного свободнаго мъста. Два запоздавшіе посътителя одинъ, постарше, хохластый, съ крючковатымъ носомъ, похожій на степеннаго попугая, а другой маленькій, подвижный, съ длинными маслеными волосами и въпенсня — не находили гдъ присъсть и, смъясь, озирались по сторонамъ. Райскій перехватилъ взглядъ длинноволосаго. Слегка приподнявшись, онъ произнесъ сънапыщенной въжливостью:

— Если васъ только не стѣснитъ... э-э... я позволю себѣ предложить вамъ мѣсто за своимъ столомъ...

Посътители разсыпались въ благодарностяхъ и ношли къ буфету пить водку. Оба они считались въ ресторанъ почетными гостями, «дававшими хорошо торговать». Они поздоровались съ хозяиномъ за руку и заговорили съ нимъ вполголоса. Славяновъ-Райскій понялъ, что рѣчь шла о немъ. Притворяясь углубленнымъ въ «Новое Время», онъ ловилъ привычнымъ ухомъ отрывки фразъ, которыя шопотомъ говорилъ хозяинъ, наклоняясь черезъ стойку.

— Ну да, тотъ самый... Помилуйте, пятьсоть за выходъ. Это въ тѣ-то времена! Талантище зам-мѣча-тельный... Только двое: онъ да Ивановъ-Козельскій... Что̀?... Ну, конечно, если бы не пилъ...

Гости, дававшіе торговать, были польщены. Прежде, чѣмъ сѣсть, тотъ, что былъ похожъ на попугая, сморщилъ лицо въ заискивающую улыбку и, кланяясь и потирая руки, сказалъ:

— Въ такомъ случаѣ... хе-хе-хе... нельзя ли ужъ намъ всѣмъ познакомиться... Знаете ли, въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ... Позвольте представиться...

Онъ оказался оцѣнщикомъ земельнаго банка, а его товарищъ — воскреснымъ фельетонистомъ мѣстнаго листка. Фельетонистъ встряхиваетъ маслеными волосами и бормоталъ:

— Мы оба съ вами представители искусства... Ваше громкое имя... Печать и сцена, какъ два полюса, всегда должны итти рука объ руку.

Славяновъ-Райскій, падкій на ресторанныя знакомства, пожималъ имъ руки, привѣтливо кивалъ головой и улыбался широкой, дѣланной актерской улыбкой, обнаруживавшей беззубый ротъ.

— Очень пріятно встрѣтиться... Въ теперешнее время забывають насъ, старыхъ артистовъ, и тѣмъ болѣе отрадно... Нѣтъ, нѣтъ, благодарствуйте, отъ завтрака я откажусь... Но если вы уже такъ наста-иваете, то развѣ одну только м-маленькую рюмочку водки... за компанію. Только уговоръ: расчетъ по-американски, каждый за себя... Мегçі. Ваше здоровье!.. Пожалуйста, не безпокойтесь, мнѣ отлично сидѣть. Благодарю васъ, коллега, благодарю, — говорилъ онъ покровительственнымъ баскомъ, пожимая съ фамильярной лаской руку фельетониста выше локтя.

Славяновъ и вправду не хотълъ ѣсть, потому что, какъ застарѣлый алкоголикъ, давно страдалъ отсутствіемъ аппетита. Водку же и пиво онъ пилъ благосклонно, но опьянѣлъ отъ четырехъ рюмокъ и сталъ врать. Поклонники ѣли порціонный завтракъ, а онъ критиковалъ кушанья и объяснялъ подробно, какъ вы-

кармливають въ Тамбовъ поросять, какъ отпаивають телятъ въ Суздалъ, и какую уху онъ ълъ у рыбаковъ на Волгъ. Потомъ онъ разсказывалъ о баснословныхъ кутежахъ, которые въ его честь задавалъ въ какомъ-то губернскомъ городъ директоръ банка, угодившій впоследствіи подъ судъ, и о торжественномъ обеде, устроенномъ ему въ Москвъ печатью. При этомъ онъ безъ затрудненія сыпаль фамиліями, выхватывая ихъ изъ старыхъ пьесъ или просто сочиняя, и всъхъ называлъ уменьшительными именами: — «Сашка Путята... сверхъестественный мужчина... двадцать четыре тысячи въ годъ, не считая суточныхъ!.. И съ нимъ вмъстъ Измаилка Александровскій... Измаилушка! Вотъ это были люди! Измаилъ на вытянутой рукъ подымалъ восемнадцать пудовъ... Пойми ты, огарокъ, восем-надцать пудовъ! — Онъ уже обращался къ своимъ новымъ знакомымъ на ты и, забывъ американскій расчетъ, безцеремонно распоряжался за столомъ.

Затъмъ онъ началъ читать монологи пьянымъ, хриплымъ голосомъ, съ воплями, завываніями и неожиданной икотой въ драматическихъ мъстахъ. Иногда онъ забывалъ слова и, съ трудомъ вспоминая ихъ, дълалъ видъ, что длинной паузой усиливаетъ смыслъ фразы; тогда онъ молча и безсильно раскачивался на стулъ съ рукой, застывшей въ трагическомъ жестъ, и со страшными, вращающимися глазами. Но такъ какъ оба его сосъда начинали чувствовать себя неловко, а многіе посътители, оставивъ свои мъста, собирались вокругъ почетнаго столика, то самъ хозяинъ подошелъ къ пьяному актеру и сталъ его уговаривать:

[—] Меркурій Иванычъ, не разоряйтесь, пожалуйста. Знаете ли, безобразно... и другіе гости обижаются. Ну развѣ нельзя честь-честью? Тихо, мирно, благородно...

— Уйди отъ меня, буржуй! — закричалъ Славяновъ, отмахиваясь отъ хозяина локтемъ и мѣряя его грознымъ взглядомъ. — Съ кѣмъ говоришь!..

И онъ принялся скандалить, какъ скандалилъ послѣ выпивки всю свою жизнь, во всѣхъ городахъ и во всѣхъ ресторанахъ. Сначала онъ обозвалъ скверными словами хозяина, потомъ своихъ собесѣдниковъ, пытавшихся его образумить, и наконецъ обрушился на всю глазѣвшую на него публику.

- Всъ вы свиньи, ненавидимыя мной! -- кричалъ онъ, качаясь взадъ и впередъ на стулъ и стуча кулаками по столу. -- Ненавижу васъ и презираю! . . Публика! Есть ли на свътъ слово, низменнъе этого? А-а! Вы сбъжались посмотръть на скандалъ? Ну, такъ вотъ вамъ, глядите! -- Славяновъ съ размаху хлопнулъ себя ладонью по груди. — Вотъ передъ вами первый въ Россіи трагическій актеръ, который влачитъ нищенское существованіе. Любопытно? И все-таки я презираю васъ, хамы, всъми фибрами своей души! Вы, кажется, сиветесь, молодой идіотъ въ розовомъ галстукъ? обратился онъ вдругъ къ кому-то за сосъднимъ столикомъ. — Кто вы такой? Вы приказчикъ? Камердинеръ? Бильярдный шулеръ? Парикмахеръ? Ага! Улыбка уже исчезла съ вашего лошадинаго лица. Вы - букашка, вы въ жизни жалкій статистъ, и ваши полосатыя панталоны переживутъ ваше ничтожное имя. Да, да, смотрите на меня, жвачныя животныя! Я былъ гордостью русской сцены, я оставилъ слъдъ въ исторіи русскаго театра, и если я палъ, то въ этомъ трагедія, болваны! А вы, — Славяновъ обвелъ широкимъ пьянымъ жестомъ всъхъ глазъвшихъ на него встревоженныхъ людей: - вы мелочь, соръ, инфузоріи!...
- Позвольте!.. Это скандалъ!.. Мы этого не потерпимъ! раздались негодующія восклицанія. Гдѣ

хозяинъ? Выкинуть этого субъекта! Послать за полиціей!..

Трактирный слуга бережно взялъ Славянова подъмышки и повлекъ къ выходу. Славяновъ не сопротивлялся, но и не переставалъ браниться. Когда же его просовывали въ двери, онъ разбилъ кулакомъ оконное стекло и окровянилъ себъ руку. Оцънщикъ банка и фельетонистъ ръшили вдругъ, что съ ихъ стороны будетъ постыдно бросить на произволъ судьбы пьянаго, больного старика. Съ большимъ трудомъ узнали они у перваго трагическаго актера его адресъ и при помощи дворника усадили его на пролетку. Но, отъъхавъ два шага, Славяновъ вдругъ остановилъ извозчика.

- Послушайте, какъ васъ? пьянымъ движеніемъ руки подозвалъ онъ къ себъ оцънщика. Это я съ вами, кажется, сидълъ? Дайте рубль.
- Ахъ, пожалуйста, любезно заторопился бухгалтеръ, вынимая изъ кармана портмоне.
- Давайте сюда... Отлично. Запишите этотъ день красными чернилами въ своемъ гроссбухѣ. Сегодня вы подали милостыню артисту Славянову-Райскому. Чортъ васъ побери!..

И всю дорогу, до самаго убъжища, онъ бранился скверными словами, раскачиваясь въ разныя стороны на пролеткъ.

V.

Въ убъжище онъ явился совершенно пьяный. Глаза у него остеклянъли, нижняя челюсть отвисла, изъ-подъ сидъвшей на затылкъ шляпы спускались на лобъ мокрыми сосульками волосы. Войдя въ общую комнату, онъ скрестилъ руки, свъсилъ низко на грудь голову и, глядя впередъ изъ-подъ грозно нахмуренныхъ бровей,

такъ что вмѣсто глазъ виднѣлись одни только бѣлки, началъ неистовымъ голосомъ гамлетовскій монологъ:

Для чего

Ты не растаешь, ты не распадешься праномъ, О, для чего ты кръпко, тъло человъка!

- Н-да-а, хоро-ошъ! сказалъ Стаканычъ, качая головой.
- Тихонъ, ввизгнулъ фистулой Михаленко: уберите немедленно этого пьянаго господина!

Но Славяновъ продолжалъ декламировать, не обращая на него вниманія. И, несмотря на сильное опьяненіе, несмотря на хрипоту и блеяніе въ голосѣ, онъ все-таки по безсознательной привычкѣ, читалъ очень хорошо, въ старинной благородной и утрированной манерѣ:

И если бы Всесильный намъ не запретилъ Самоубійства... Боже мой, великій Боже! Какъ гнусны, безполезны, какъ ничтожны Дъянья человъка на землъ!

- Эй, суфлеръ, что же ты не подаешь? Заснулъ! крикнулъ Славяновъ на Стаканыча, который смотрълъ на него, сидя на кровати и кривя ротъ въ довольную усмъшку.
- Меркурь Иванычъ, вы же знаете, что я по Полевому не могу. Я по Кронебергу.
 - Подавай, какъ тебъ велятъ...

Жизнь! Что ты? Садъ, заглохшій Подъ дикими безплодными травами!.. Едва лишь шесть недъль прошло...

— Прошу васъ, пьяный актеръ Райскій, прекратить вашу дурацкую декламацію! — опять закричалъ Михаленко. — Вы не въ кабакъ, гдъ вы привыкли кривляться за рюмку водки и бутербродъ съ килькой.

- Молчи, червякъ! бросилъ ему съ трагическимъ жестомъ Славяновъ. Съ къмъ говоришь?.. Подумай, съ къмъ ты говоришь... Ты, считавшій за честь подать калоши артисту Славянову-Райскому, когда онъ уходилъ съ репетиціи, ты, актеръ, игравшій толпу и голоса за сценой! Рабъ! Неодушевленная вещь!..
- У! Дуракъ пьяный! выдавилъ изъ себя вмъстъ съ припадкомъ кашля Михаленко.
- А-а! Ты забылъ разницу между нами? Негодный! Это цълая бездна. Во мнъ каждый вершокъ великій артистъ, вы же всъ гниль и паразиты сцены.
- Однако вы потише, господинъ Райскій, гордымъ тономъ вмѣшался Лидинъ-Байдаровъ. Если вы будете продолжать ваши пьяныя оскорбленія людей, которые васъ не трогають, то вы можете сильно за это поплатиться, чортъ возьми!..
- Ты... ты... ты!.. захлебнулся Славяновъ отъ негодованія. Какъ у тебя повернулся языкъ? Этотъ вотъ, онъ величественно указалъ на Миха-ленку: этотъ хоть ходилъ по сценъ, подавая стаканы, но онъ все-таки актеръ...
- Эоіопъ вы! болъе спокойнымъ тономъ огрызнулся Михаленко.
- А ты, кан-налья, ты вылѣзъ на сцену, не имѣя на это никакихъ правъ, кромѣ толстыхъ ляжекъ въ розовомъ трико. Ты пѣлъ козломъ и дѣлалъ гнусныя тѣлодвиженія. «О, сновидѣнье, о, наслажденье!», передразнилъ Славяновъ, сдѣлавъ непристойный жестъ. Ты попалъ въ храмъ искусства по недоразумѣнію, случайно, какъ могъ бы попасть въ распорядители кафешантана или открыть публичный домъ. Ты мѣдная голова, ты безстыдникъ! Вотъ, именно, без-стыдникъ! У тебя, какъ у мелкаго, гаденькаго и похотливаго звѣрюшки, никогда не было стыда за свой жестъ, за

свою мимику, не было стыда лица и тъла. Тебъ, съ твоей развязностью продажнаго мужчины, ничего не стоило бы голымъ выскочить предъ публику, если бы только на это далъ позволеніе околоточный надзиратель, котораго одного ты боялся и уважалъ во всю свою презрънную жизнь.

- Я не понимаю, что меня удерживаетъ отъ удовольствія вышвырнуть васъ въ окно! воскликнуль напыщенно Лидинъ-Байдаровъ.
- У-у, кретинъ! Въдь въ каждомъ звукъ твоего голоса слышна глупость, въ каждомъ твоемъ движеніи видно разжиженіе мозга. Но у тебя никогда нельзя было разобрать, гдѣ у тебя кончается глупость и гдѣ начинается подлость. Даже отъ твоего театральнаго имени вѣетъ пошлостью и нахальствомъ. «Лидинъ-Байдаровъ»! Скажите, пожалуйста!.. А ты просто шкловскій мѣщанинъ Мовша Розентулъ, сынъ старьевщика и самъ въ душѣ ростовщикъ.
 - Пропойца, скандалисть, дутая знаменитость!
- Пропойца! презрительнымъ басомъ и выпятивъ нижнюю губу, протянулъ Славяновъ. Соглашаюсь, былъ Славяновъ-Райскій пропойцей. Пилъ чрезмърно и много безобразничалъ, билъ портныхъ и реквизиторовъ, билъ антрепренеровъ и рецензятъ, іудино племя. Но спроси, кто помнитъ зло на Славяновъ-Райскомъ? Черезъ мои руки прошли сотни тысячъ денегъ, но спроси, гдѣ онѣ? Отъ меня ни одинъ бѣднякъ, ни одинъ маленькій актеришка не вышелъ безъ помощи. Шарманщики, уличные акробаты, слѣпые музыканты были моими друзьями. А сколько піявокъ питалось около меня!.. И такъ я жилъ!.. Широко жилъ, съ размахомъ. Вонъ Стаканычъ знаетъ меня пятнадцать лѣтъ, онъ скажетъ. Правду я говорю, Стаканычъ?

- Вы мнѣ, что ли, Меркурь Иванычъ? спросилъ суфлеръ, отрываясь отъ своихъ коробочекъ и дѣлая руку надъ глазами щиткомъ.
- Всегда первый номеръ въ самой дорогой гостинницъ. Прислугъ швырялъ золото, какъ индійскій принцъ. Лучшій экипажъ, лошади львы, кучеръ страшилище, идоломъ сидитъ на козлахъ. Свой собственный лакей былъ Мишка. Кто не знаетъ моего Мишку? Антрепренеры въ немъ заискивали, чтобы узнать, въ какомъ духъ я проснулся сегодня... за руку съ нимъ здоровались. А какъ я одъвался! Всегда фракъ и англійское бълье. Каждый день Мишка покупалъ для меня новую сорочку: стиранаго не носилъ, гнушался. Портные за честь считали шить для меня въ долгъ. Городскіе франты нарочно ходили въ театръ поучиться у меня, какъ надо носить платье.
- Вотъ, братъ, и проносился, ехидно вставилъ Лидинъ-Байдаровъ.
- О, тварь, ненавидимая мною! завопилъ Славяновъ. — Да, я проносился, пропился и палъ до того, что живу въ одной грязной клъткъ съ такой мерзкой обезьяной, какъ ты. Но я прожилъ огромную жизнь, я испыталъ сладость вдохновенія, и за мною шла сказочная, царственная слава. Я заставлялъ людей плакать и радоваться. О, что я дълаль съ толпой! Когда въ «Макбетъ» въ сценъ съ кинжаломъ я показывалъ рукой въ пространство, то полторы тысячи зрителей вставали со своихъ мъстъ, какъ одинъ человъкъ. А какимъ я былъ Коррадо! Въ Харьковъ полиція не дала мнъ доиграть послѣдняго акта, потому что тогда разрыдались всъ, — и мужчины и женщины, и даже на глазахъ у актеровъ, игравшихъ со мною, я видълъ слезы. Пойми же, орангутангъ, слезы!.. Ты, балаганный Петрушка, безчестилъ швеекъ, объщая сдълать изъ нихъ опереточныхъ примадоннъ въ тебя стръляли, какъ въ бъ-

шеную собаку, когда ты убъгалъ изъ опозоренныхъ тобою спаленъ, ты дрожалъ надъ каждой копейкой и отдавалъ тайкомъ деньги въ незаконный ростъ, и только потому не сдълался подъ старость содержателемъ ссудной кассы, что тебя, когда ты сталъ скорбенъ главою. обобрала первая попавшаяся судомойка. Ты въ каждомъ городъ оставлялъ грязные хвосты, и есть тысячи людей, которымъ ты, при всей своей наглости, не посмъешь поглядъть въ глаза. А я по всей Россіи, отъ Архангельска до Ялты и отъ Варшавы до Томска, прошелъ съ гордо поднятой головой, не чувствуя ни стыда ни страха. Со мною губернаторы считались! Когда на Волгъ описали за долги мой театръ и ко всъмъ дверямъ приложили печати, что я сдълаль? Я не тронулъ печатей, но снялъ съ петель всѣ двери и все-таки далъ спектакль. Кто бы могъ это сдълать, кромъ Славянова-Райскаго?.. Стой, Тихонъ! — остановилъ онъ солдата, который въ это время бережно несъ къ образу зажженную лампадку. — Дай закурить...

Славяновъ потянулся къ огню, но Тихонъ сурово посмотрълъ на актера и отвелъ руку съ лампадкой въ сторону.

- Стыдитесь, господинъ Райскій, сказалъ онъ внушительно. Пора бы ужъ и о смертномъ часѣ подумать, а вы святотатствуете. Гдѣ же это видно, чтобы отъ лампадки закуривали? Да еще въ такой праздникъ?
- Ну, ну, гарниза-пуза, пошелъ разговаривать! крикнулъ со своей кровати Михаленко. Вотъ, постой, я перебью всъ твои лампадки. Только вонь разводишь. Идолопоклонникъ!..
- Эхъ, ужъ вы-ы! безнадежно махнулъ рукой Тихонъ. Одно слово, безбожники вы, господинъ Михаленко. Вотъ господинъ Райскій... они хоть и вы-

питши, а я на нихъ никакъ не надъюсь, чтобы они такое слово сказали.

Обличительная рѣчь Тихона дала вдругъ новое направленіе пьянымъ мыслямъ Славянова. Онъ умилился и со слезами полѣзъ цѣловать солдата.

- Тихонъ, душа моя!.. Добрый, старый, върный Тихонъ! Понимаешь ты Славянова-Райскаго? Жалъешь? Дай, я поцълую твою честную, съдую голову.
- Господи, да какъ же намъ не понимать! расчувствовался въ свою очередь Тихонъ. Онъ утерся рукавомъ и съ готовностью подставилъ губы Славянову. Потомъ, съ кряхтѣньемъ установивъ лампадку и слѣзая съ табурета, онъ сказалъ, добродушно и укоризненно покачивая головой:
- А нѣтъ того, чтобы отставному севастопольцу пожертвовать на построеніе полдиковинки. Сами ку шаете водочку, а свою вѣрную слугу забываете.
- Тихонъ! Радость моя! Голубка! Все я растранжирилъ, старый крокодилъ... Впрочемъ, постой... Тамъ у меня, кажется, еще что-то осталось. Онъ пошарилъ въ карманъ и вытащилъ оттуда вмъстъ съ грязной ватой, обломками спичекъ, крошками табаку и другимъ соромъ, нъсколько мъдныхъ монетъ. На, получай, старый воинъ. И знай, Тихонъ, вдругъ съ павосомъ воскликнулъ Славяновъ, ударивъ себя въ грудь кулакомъ: знай, что тебя одного даритъ своей дружбой жалкая развалина того, что раньше называлось великимъ артистомъ Славяновымъ-Райскимъ!

И онъ расплакался обильными, пьяными, истерическими слезами. Оплакивалъ онъ свою погибшую шумную жизнь, и свою сиротливую старость, и то, что его никто не понимаетъ, и то, что его давеча такъ оскорбительно вывели изъ ресторана. Его сожители давно уже лежали подъ одъялами, а онъ все говорилъ и говорилъ, изръдка обращаясь къ своему сосъду Стаканычу, ко-

291

торый отвѣчалъ соннымъ, невнятнымъ мычаніемъ. И въ этомъ неясномъ бредѣ безобразно сплетались экипажи, фраки, губернаторы, серебряные сервизы, отрывки ролей и грязная ругань. И когда онъ наконецъ заснулъ, то все еще продолжалъ бормотать въ тяжеломъ, полномъ призраковъ, пьяномъ снѣ.

VI.

Къ часу ночи на дворъ поднялся упорный осенній вътеръ съ мелкимъ дождемъ. Липа подъ окномъ раскачивалась широко и шумно, а горъвшій на улицъ фонарь бросалъ сквозь ея вътви слабый, причудливый свътъ, который узорчатыми пятнами ходилъ взадъ и впередъ по потолку. Лампадка передъ образомъ теплилась розовымъ, кротко мерцающимъ сіяніемъ, и каждый разъ, когда длинный язычокъ огня съ легкимъ трескомъ вспыхивалъ сильнъе, то изъ угла вырисовывалось въ золоченой ризъ темное лицо Спасителя и Его благословляющая рука.

Вст актеры, кромт Славянова, бредившаго во снт, проснулись среди ночи и лежали молча, со страхомъ и тоскою въ душт. Лидинъ-Байдаровъ, у котораго отъ прежнихъ привычекъ осталась только жадная любовъ къ сладкому, то принесенную имъ днемъ ватрушку съ вареньемъ и старался дтать это какъ можно тише, чтобы не услыхали состали. Михаленко, покрывшись съ головой одтяломъ, пугливо прислушивался къ глухому и тревожному біенію своего сердца. Каждый разъ, когда вттеръ, напирая на стекла и потрясая ими, бросалъ въ нихъ съ яростной силой брызги дождя, Михаленко глубже прятался головой въ подушку и наивно, какъ это дтлаютъ въ темнотт боязливыя дти, закрещивалъ мелкими быстрыми крестами вст щелочки между

своимъ тѣломъ и одѣяломъ. Стаканычъ слѣзъ съ кровати и стоялъ на колѣняхъ. Въ темнотѣ слышались его глубокіе вздохи, однообразный, непрерывный и торопливый шопотъ и глухой стукъ его лба о полъ. Напротивъ его, все такъ же прямо и неподвижно вытянувшись, лежалъ дѣдушка. Глаза его медленно переходили съ чернаго окна на нѣжно-розовый мерцающій свѣтъ лампадки и на тѣни, качавшіяся по потолку. Лицо у него было важное, спокойное и задумчивое.

Позднѣе другихъ проснулся Славяновъ-Райскій. Онъ былъ въ тяжеломъ, грузномъ похмельѣ, съ оцѣпенѣвшими руками и ногами, съ отвратительнымъ вкусомъ во рту. Сознаніе возвращалось къ нему очень медленно, и каждое движеніе причиняло боль въ головѣ и тошноту. Ему съ трудомъ удалось вспомнить, гдѣ онъ былъ днемъ, какъ напился пьянымъ и какъ попалъ изъ ресторана въ убѣжище.

Онъ вспомнилъ также, что у него въ карманѣ пальто лежитъ полбутылка водки, которую онъ всегда, даже въ самомъ пьяномъ состояніи, запасалъ себѣ на утро. Это у него была своеобразная, пріобрѣтенная долгимъ пьянымъ опытомъ и обратившаяся въ инстинктъ привычка стараго алкоголика. Онъ всталъ и прошелъ босикомъ къ шкапу, гдѣ висѣло верхнее платье. Черезъ минуту оттуда послышалось, какъ задребезжало въ его дрожащихъ рукахъ, стуча о зубы, горлышко бутылки, какъ забулькала въ ней жидкость, и какъ самъ Славяновъ закряхтѣлъ и зафыркалъ губами отъ отвращенія.

— Райскій, душечка, одолжи и мнѣ, — молящимъ шопотомъ попросилъ Михаленко: — такая тоска... такая тоска...

Славяновъ поднялъ бутылку и неръшительно посмотрълъ сквозь нее на свътъ лампадки. Ему было

жаль водки, но онъ никогда не умъть отказать, если его о чемъ-нибудь просили.

— Эхъ, ну ужъ ладно, давай стаканъ, — сказалъ онъ, сморщившись.

Въ темнотъ опять заплескала жидкость и зазвеньло стекло о стаканъ.

- Ну, вотъ, спасибо, братикъ, спасибо, говорилъ Михаленко. Ффа-а-а, ожгло!.. Славный ты товарищъ, Меркурій Иванычъ...
- Ну ладно ужъ... чего ужъ тамъ... Давече я наговорилъ тебъ непріятностей, такъ ты ужъ того... не очень сердись.
- Вотъ глупости. Чай, мы съ гобой не чужіе. Свой братъ, Исакій. Ты мнѣ, я тебѣ, безъ этого не обойдешься.
- Върно, върно, милый... именно не обойдешься, со вздохомъ зашепталъ Славяновъ, усаживаясь на кровати Михаленки. Трудно безъ этого. Живемъ мы кучей, тъсно и все другъ о друга тремся. Видалъ ты, въ нъкоторыхъ домахъ ставятъ такія стеклянныя мухоловки съ пивомъ? Наберется туда мухъ видимоневидимо, и всъ онъ въ собственномъ соку киснутъ да киснутъ, пока не подохнутъ. Такъ и мы, братъ Саша, въ своей мухоловкъ закисли и обозлились... А кромъ того, я и особо сердитъ на этого идіота, Байдарова. Ну, скажи на милость, какой онъ намъ товарищъ? Какой онъ артистъ? Все равно, что изъ грязи пуля. Другое дъло, взять хоть бы насъ съ тобой, Сашуха... все-таки мы какъ-никакъ, а послужили театру.
- Что ужъ вы, Меркурій Иванычъ, ровняете меня съ собой. Вы, можно сказать китъ сцены, а я такъ... пескаришка маленькій...
- Оставь, Саша. Оставь это, братецъ мой. У тебя тоже талантище былъ: теплота, юморъ, свъжести сколько. У теперешнихъ механиковъ этого нътъ. Дру-

гой шерсти люди. Натура имъ вовсе не дадено отъ природы. А ты нутромъ игралъ.

- Гдѣ ужъ намъ, Меркурій Иванычъ! Наше дѣло маленькое. За васъ вотъ обидно.
- Нѣтъ, нѣтъ, ты не грѣши, Саша, ты этого не говори. Я вѣдь тебя хорошо помню въ «Женитьбѣ Бѣлугина». Весь театръ ты тогда морилъ со смѣху. Я стою за кулисами и злюсь: сейчасъ мой выходъ, сильное мѣсто, а ты публику въ лоскъ уложилъ хохотомъ. «Эка, думаю, переигрываетъ, прохвостъ! Весь мой выходъ обгадилъ». А самъ, понимаешь, не могу отъ смѣха удержаться, трясусь, прыскаю, и шабашъ. Вотъ ты какъ игралъ, Сашецъ! У нынѣшнихъ этого не сыщешь. Шалишь!.. Но не везло тебѣ, Михаленко, судьбы не было.
- Что жъ, Меркурій Иванычъ, согласился польщенный Михаленко: это върно, что и меня публика хорошо принимала. Только голосу у меня нътъ настоящаго, вотъ что скверно. Астма эта проклятая.
- Вотъ, вотъ, вотъ. . . я это самое и говорю. Астма, или тамъ, скажемъ, судьба, это все равно. Мнѣ вотъ повезло, и я покатилъ въ гору, а ты хоть и тарантливъ, и знаешь сцену, какъ никто, а тебѣ не поперло. Но это и не суть важно. Главное, что упали-то мы съ тобой все равно въ одно мѣсто, въ одну и ту же отравленную мухоловку, и тутъ намъ пришлось и сундукъ и крышка.
- Не пили бы, такъ и не падали бы, Меркурій Иванычъ, съ горькой насмъшкой вставилъ Михаленко.
- Молчи, молчи, Саша, испуганно и умоляюще зашепталъ Славяновъ: не смъйся надъ этимъ... Развъ легко падать-то? Погляди на меня. Я ли не былъ вознесенъ, а теперь что? Живу на иждивени купчишки, хожу по трактирамъ, норовлю выпить на чужой счетъ, кривляюсь... Бываетъ въдь и мнъ стыдно, Саша...

охъ, какъ стыдно!.. Въдь мнѣ, Саша, голубушка ты моя, шестьдесятъ пять лѣтъ въ декабрѣ стукнетъ. Шестьдесятъ пя-ать... Цифра!.. Въ дѣтствѣ, я помню, начну, бывало, считать свои года и все радуюсь, какой я большой, сколько времени на одинъ счетъ уходитъ. А ну-ка, посчитай теперь-то! — неудержимо зарыдалъ вдругъ Славяновъ. — Дѣдушка вѣдь я, маститый старецъ, патріархъ, а гдѣ мои внуки, гдѣ мои дѣти? Чортъ!

Темнота ночи все сильнъе взвинчивала нервы Славянова, разбитые тяжелымъ похмельемъ. Онъ билъ себя въ грудь кулаками, плакалъ, сморкался въ рубашку и, качаясь, точно отъ зубной боли, взадъ и впередъ на кровати Михаленки, говорилъ всхлипывающимъ, тоскливымъ шопотомъ:

— Мира я хочу, тишины, простого мъщанскаго счастья!.. Иду я иной разъ вечеромъ по улицѣ и — привычка у меня такая — все въ чужія окна гляжу. И вотъ, бывало, видишь: комната этакая мирная, лампа, круглый столъ, самоварчикъ... тепло, должно-быть, тамъ... пахнетъ жильемъ, домовитостью, геранью. А кругомъ народъ, молодой, бодрый, веселый, любящій... И старикашка тутъ же гдъ-нибудь пристроился, — съденькій, опрятненькій, благодушный. Сидитъ себъ съ черешневымъ чубукомъ, и всъ къ нему такъ ласково, съ почтеніемъ... А я, старый шутъ, стою на улицѣ и мерзну, и плачу, и все смотрю... Слыхалъ я и по пьесамъ знаю, что бываютъ милыя, върныя на всю жизнь женщины, сидълки въ бользни, добрые друзья въ старости. Гдъ онъ, эти женщины, Михаленко? Любили, братъ, и меня, — но какая это была любовь? Послъ бенефиса поъхали за городъ, тройки, галдежъ, пьяное вранье, закулисныя прибаутки, и тутъ же затрепанныя, загаженныя слова: «Люблю тебя свободною любовью! Возьми меня, я вся твоя!» Отдъльный кабинетъ, грязь, пьяная, угарная любовь, скитаніе вмѣстѣ по труппамъ, и вѣчно — старый, гнусный водевиль: «Ревнивый мужъ и храбрый любовникъ». И вотъ жизнь прошла, и нътъ у меня во всемъ міръ ни души. Н-ни души! Тоска, мерзость... Знаешь, Саша, — Славяновъ наклонился къ самому уху Михаленки, и въ его шопотъ послышался ужасъ: знаешь, вижу я теперь часто во снъ, будто меня кто-то все догоняеть. Бъгу я будто по комнатъ, и много-много этихъ комнатъ впереди, и всъ онъ заперты... И знаю я, что надо мнф успфть открыть двери, вытащить ключъ и запереться съ другой стороны. И тороплюсь я, тороплюсь, и страшно мнѣ до тошноты, до боли... Но ключи заржавъли, не слушаются, и руки у меня, какъ деревянныя. А «онъ» все ближе, все ближе... Едва успъю я запереться, а онъ ужъ тутъ, рядомъ, напираетъ на двери и гремить ключомъ въ замкъ... И знаю я, чувствую я, что не спастись мнъ отъ него, но бъгу изъ комнаты въ комнату, бъгу, бъгу, бъгу...

- Эхъ, не скулилъ бы ты, Меркурій Ивановичъ, съ безнадежнымъ уныніемъ перебилъ Михаленко.
- Но хуже всего, что гадокъ я себѣ самому, гадокъ! страстнымъ шопотомъ восклицалъ Славяновъ. Отвратителенъ!.. Милостыней вѣдь живу, Христа ради... И всѣ, всѣ мы такіе. Мертвецы ходячіе, рухлядь! Старая бутафорская рухлядь! О-о-о, гнусно, гнусно мнѣ!..

Онъ схватился объими руками за воротъ рубашки и разодралъ ее съ верху до низу. Въ груди у него что-то клокотало и взвизгивало, а плечи тряслись.

— Уйди ты, уйди, ради Бога, Меркурій Ивановичъ! — умолялъ Михаленко. — Не надо, родной... боюсь я... страшно мнѣ...

Шлепая по полу босыми ногами, съ мокрымъ лицомъ, шатаясь на ходу отъ рыданій, Славяновъ тяжело перевалился на свою кровать. Но онъ еще долго метался головой по подушкъ и всхлипывалъ, и горячо

шепталъ что-то, сморкаясь въ простыню. Не спалъ и Лидинъ-Байдаровъ. Крошки отъ ватрушки набились ему подъ одѣяло, прилипали къ тѣлу и царапались, а въ голову лѣзли все такія скучныя, ненужныя и позорныя мысли о прошломъ. Стаканычъ, намазавшій на ночь грудь и поясницу бобковой мазью, кряхтѣлъ и ворочался съ боку на бокъ. Его грызъ застарѣлый ревматизмъ, который всегда съ особенной силой разыгрывался въ непогоду. И вмѣстѣ со словами молитвъ и привычными мыслями о сынѣ въ его памяти назойливо вставали отрывки изъ старыхъ, забытыхъ всѣмъ міромъ пьесъ.

Одинъ дѣдушка лежалъ неподвижно. Его руки были сложены на груди, поверхъ одѣяла, и не шевелились больше, а глаза были устремлены впередъ съ такимъ строгимъ и глубокимъ выраженіемъ, какъ будто дѣдушка думалъ о чемъ-то громадномъ и неизмѣримо превышающемъ всѣ человѣческіе помыслы. И въ этихъ немигающихъ, полузакрытыхъ глазахъ, не проникая въ нихъ, отражался стекляннымъ блескомъ розовый свѣтъ лампадки.

А ночь тянулась нестерпимо долго и тоскливо. Было еще темно, когда Михаленко, охваченный внезапнымъ страхомъ, вдругъ сѣлъ на кровати и спросилъ громкимъ, дрожащимъ шопотомъ:

— Дъдушка, ты спишь?

Но дѣдушка не отвѣтилъ. Въ комнатѣ была грозная, точно стерегущая кого-то тишина, а за чернымъ окномъ бушевалъ вѣтеръ и бросалъ въ стекла брызги дождя.









